



# Тыне Янссон

путешествие  
налегке

АМФОРА  
2007

## Annotation

В книгу вошли новеллы Туве Янссон из авторских сборников «Умеющая слушать» (1971), «Игрушечный дом» (1978) и «Путешествие налегке» (1987). Впервые эти произведения писательницы представлены в переводе на русский язык в полном объеме.

- [Туве Янссон. ПУТЕШЕСТВИЕ НАЛЕГКЕ](#)
  - [Мама «МУМИ-ТРОЛЛЕЙ» пишет для взрослых](#)
  - [Умеющая слушать \(1971\)](#)
    - [Умеющая слушать {1}](#).
    - [Разгружать песок... {2}](#).
    - [День рождения {3}](#).
    - [Спящий {4}](#).
    - [Черное на белом {5}](#).
    - [Письмо идолу {6}](#).
    - [Любовная история {7}](#).
    - [Другой {8}](#).
    - [По весне {9}](#).
    - [Тихая комната {10}](#).
    - [Буря {11}](#).
    - [Серый шелк {12}](#).
    - [Проект предисловия {13}](#).
    - [Волк {14}](#).
    - [Дождь {15}](#).
    - [Взрыв {16}](#).
    - [Друзья, Лучо {17}](#).
    - [Белка {18}](#).
  - [Игрушечный дом \(1978\)](#)
    - [Обезьяна {19}](#).
    - [Игрушечный дом {20}](#).
    - [Понятие о времени {21}](#).
    - [Локомотив {22}](#).
    - [В городе Хило, штат Гавайи {23}](#).

- [В новом краю](#){24}.
- [Тот, кто иллюстрирует комиксы](#){25}.
- [White Lady](#)[46]{26}.
- [Искусство на природе](#){27}.
- [Главная роль](#){28}.
- [Дитя цветов](#){29}.
- [Великое путешествие](#){30}.
- [Путешествие налегке \(1987\)](#).
  - [Переписка](#){31}.
  - [Восьмидесятилетие](#){32}.
  - [Дачник](#){33}.
  - [Чужой город](#){34}.
  - [Женщина, одолжившая память](#){35}.
  - [Путешествие налегке](#){36}.
  - [Райский сад](#){37}.
  - [Shopping](#)[89]{38}.
  - [Лес](#){39}.
  - [Смерть учителя гимнастики](#){40}.
  - [Чайки](#){41}.
  - [Оранжерея](#){42}.
- [comments](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)

- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)

- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)

- [85](#)
  - [86](#)
  - [87](#)
  - [88](#)
  - [89](#)
  - [90](#)
  - [91](#)
  - [92](#)
  - [93](#)
  - [94](#)
-

**Тове Янссон. ПУТЕШЕСТВИЕ  
НАЛЕГКЕ  
Новеллы**



## **Мама «МУМИ-ТРОЛЛЕЙ» пишет для взрослых**

Тове Янссон, одну из самых великих женщин-писательниц и художниц XX века, прославившую свою родину, маленькую Финляндию, во всем мире, еще при жизни, как и ее шведскую современницу Астрид Линдгрэн, называли классиком. Как и Линдгрэн, она при жизни удостоилась на родине памятников — это музей в городе Тампере и Долина муми-троллей неподалеку от города Турку. Тове Янссон, однако, не объявляли женщиной века или женщиной страны, она не была названа номинантом на Нобелевскую премию. Она скромно и уединенно жила в своей квартире-мастерской на улице Ульрикиборгсгатан в центре Хельсингфорса и на принадлежавшем ей острове, писала книги, иллюстрировала их, рисовала и читала, много путешествовала, отвечала на многочисленные письма читателей — разумеется, не на все (их приходило около двух тысяч в год), получала национальные и международные премии, но ценила больше всего Международную золотую медаль Ханса Кристиана Андерсена («Малая Нобелевская премия» лучшему детскому писателю или художнику-иллюстратору), полученную ею из рук Астрид Линдгрэн, и орден Улыбки, присуждаемый самому любимому детскому писателю польскими детьми.

В одном из писем к автору статьи Янссон рассказала о том, как она узнала, что стала лауреатом Международной золотой медали Ханса Кристиана Андерсена...

«...Моторная лодка стремительно подходила к берегу небольшого скалистого островка в шхерах Финляндии. Сидевшие в лодке мужчина и женщина нетерпеливо вглядывались в берег. Издалека остров казался почти голым и необитаемым. Ни деревьев, ни кустарников, только скалы да кое-где яркие пятна цветов. И ни одной живой души. Пришвартовавшись у причала, мужчина и женщина стал и поспешно подниматься в гору.

— Тове! Тове! — кричали они.

На краю скалы появилась невысокая, коротко стриженная женщина.

Ты стала знаменитостью! — запыхавшись, выпалил гость. — Передавали по радио. Что произошло, мы толком не разобрали. Но случилось что-то необыкновенное! Поздравляем тебя!»

С тех пор Янссон, имя которой было четыре раза занесено в Почетный список Андерсена, удостоивалась и других наград. Но Международная золотая медаль Андерсена наполняла ее сердце особой радостью и гордостью.

«Стать лауреатом Международной золотой медали, носящей имя Ханса Кристиана Андерсена, — необычайно ответственно, — говорила она. — Но, как это ни странно, я не ощущаю привычного бремени, которое налагает чувство ответственности. Я просто счастлива».

При всей скромности Янссон созданные ее талантом сказочные повести о муми-троллях удостоились не только признания детей и взрослых в своей стране, но восхищения и любви во всем мире. «Янссон — писательница, что несла в своей маленькой руке наше сердце...» — писали о ней читатели и критики.

Смерть Туве Янссон в июне 2001 года потрясла ее сограждан. Она скончалась, не дожив шести недель до 87 лет. Над домом писательницы был вывешен флаг с черным траурным крестом. Флаг развевался и над зданием издательства «Шильдт» в Хельсингфорсе — издательства, гордого тем, что всемирно знаменитая писательница — их автор. На страницах журналов и газет Финляндии, Швеции, Германии, Франции и многих других стран запестрели заголовки: «Долина муми-троллей в трауре», «Туве Янссон нет больше с нами», «Значение Туве Янссон не переоценить...», «Великий писатель и художник». 12000 друзей и читателей писательницы расписались в траурной книге в магазине Академической торговли в Хельсингфорсе.

В чем же феномен великой финляндской писательницы, чем заслужила она прижизненную и посмертную славу?

Как ее преданный читатель, могу признаться, что первая же книга Туве Янссон, прочитанная мной, — «Шляпа волшебника» — привела меня в неопишуемый восторг. Я не могла опомниться... Поэзия таланта, тончайшей доброты, терпения и мудрости, удивительные рисунки ошеломляли. Как литературовед, я была

очарована необыкновенным языком книги. Я поняла, что это «моя литература», что это одна из лучших детских книг в мире. Я написала Янссон письмо, и она ответила мне! И прислала все свои книги, которые вышли до 1970-х годов, фотографии, рисунки и т. д. Так в 1970 году началась наша переписка, продолжавшаяся до 1990-х годов, когда Туве Янссон, по ее словам, «устала» писать, и наше общение заменили встречи. Но все годы я с нетерпением ждала замечательных, исполненных (именно так) каллиграфическим почерком писем (иногда на нескольких страницах), ее новых книг, рисунков и фотографий. На одной из книг, «Письма Клары» (ноябрь 1991-го), была такая надпись: «Как прекрасно иногда беседовать и строить планы...»

А беседы и планы заключались в том, что я залпом начала переводить «в стол» книги Янссон, и прежде всего повести-сказки «Шляпа волшебника», «Волшебная зима» и «Дитя-невидимка». Сейчас невозможно представить себе, что понадобилось столько лет и множество невероятных трудностей, чтобы напечатать в издательстве «Карелия» в 1986 году первые четыре повести-сказки на русском языке. А уже в 1990-х годах книги о муми-троллях стали выходить в издательствах «Северо-Запад», «Ангстрем», «Рудомино», «Азбука», а потом и книги для взрослых в издательстве «Амфора»...

В марте 1992 года мне посчастливилось впервые побывать в гостях у Туве Янссон.

В огромной, с высоким потолком мастерской — работы отца писательницы, известного скульптора, картины ее матери, художницы. И конечно, рисунки самой Туве и ее друзей.

На антресолях — множество стеллажей с книгами Янссон на ее родном шведском языке (шведский язык наряду с финским — государственный язык Финляндии). А еще — бесконечное множество переводов произведений сказочницы на разные языки мира. Книги Янссон переведены на финский, датский, английский, немецкий, русский, польский, японский и другие языки. Их читают дети и студенты, домохозяйки и профессора. По сюжетам книг Янссон ставят пьесы и оперы в театре, они экранизируются, а в Японии существует 32-серийный цветной телефильм о муми-троллях и их друзьях. Тут же архив — письма, рукописи, тут же игрушки, плакетки, чашки, фарфоровые статуэтки работы самой писательницы, изображающие

героев ее книг: муми-троллей, snorkов, хемулей и других сказочных персонажей.

В небольшой гостиной рядом с мастерской — модель дома муми-троллей. Другая модель — трехметровой высоты — была передана в музей Янссон в библиотеке финляндского города Тампере. В гостиной же росло необыкновенно красивое мандариновое деревце, все увешанное золотистыми плодами. И всюду картины, портреты...

Но самое интересное, самое прекрасное — хозяйка мастерской, всемирно знаменитая Туве Янссон — хрупкая, изящная, с гладкими седыми волосами и кротким проникновенно-мудрым взглядом светлых глаз. Беседу она вела голосом негромким, мелодичным, очень добрым. И когда говорила, хотелось записать каждое слово... И узнать про нее как можно больше...

\* \* \*

Туве Марика Янссон родилась в Финляндии 9 августа 1914 года. Ее мать — Сигне Хаммарстен — была родом из Швеции, отец — Виктор Янссон — из Финляндии.

С детских лет Туве обладала удивительной незаурядной фантазией ребенка, сочиняющего сказки. Наряду с волшебным миром фантазии, театра, игр и творчества — первых стихотворений, в которых проявился поэтический дар будущей писательницы, — существовал еще мир будней. Там жили ее родители, которые своим примером учили детей снисхождению к людям и их слабостям, точь-в-точь как мама и папа Муми-тролля в сказочных книгах писательницы. Там жила чудаковатая тетушка, прототип многих будущих персонажей Янссон.

Девочка, одаренная такой богатой фантазией, стала художницей и писательницей. Художником и писателем стал и ее брат Ларе, фотографом и художником — старший брат Пер Улоф. С четырнадцати лет Янссон иллюстрировала книги, а в пятнадцать, окончив среднюю школу, изучала искусство в Хельсингфорсе, Стокгольме, Париже...

Когда в 1930-х годах она поспорила о чем-то с Ларсом и, желая подразнить его, нарисовала на стене маленького бегемотика, никто и

не догадывался, что родился новый замечательный герой финляндской<sup>[1]</sup> и мировой детской литературы — Муми-тролль. Тогда он был еще довольно худеньким и одиноким, но со временем потолстел, обзавелся семьей, друзьями и поселился в благодатной Долине муми-троллей. Именно Муми-тролль и принес славу своей создательнице, и славу не только литературную: муми-троллей изготавливают из мыла, резины, стеарина, пластмассы, фарфора (последние по ее собственным рисункам, и их можно встретить во всех странах).

«Стеариновые муми-тролли казались публике особенно забавными, потому что, когда зажигали свечи, у муми-троллей капало из носа», — с грустью рассказывала Янссон.

В 1945 году она выступила не только как художница, но и как писательница. Еще раньше, в 1939 году, она сочинила и проиллюстрирована свое первое авторское произведение «Маленькие тролли и большое наводнение», издав его позднее. «Я почувствовала совершенно иную свободу, когда сама стала выполнять оба вида работы», — говорила впоследствии Янссон. Уже в первой повестисказке появились и основные персонажи ее последующего творчества, а также главные темы — страх перед катастрофой и стремление к надежности. А также доброта и любовь к маленьким и слабым.

С тех пор она создала еще двенадцать книг о муми-троллях: «Комета прилетает» (1946), «Шляпа волшебника» (1948), «Мемуары папы Муми-тролля» (1950), «А что было потом?» (1952), «Опасное лето» (1954), «Волшебная зима» (1957), «Кто утешит малютку» (1960)<sup>[2]</sup>, «Дитя-невидимка» (1962), «Папа и море» (1965), «В конце ноября» (1970), «Жуткое путешествие» (1977)<sup>[3]</sup>, «Разбойник в доме муми-троллей» (1980)<sup>[4]</sup>.

В сказочных произведениях Янссон объединены все миры ее творчества: мир природы и незримых создателей лодок и маяков, мир, оснащенный современной техникой и всеми предметами человеческого быта. И — своеобразный фантастический, отчасти мифологический мир, придуманный писательницей. Мир, где живут и действуют удивительные муми-тролли и их друзья, наделенные чертами животных, зверей и птиц; однако ведут они себя как люди. Мир этот соприкасается с миром людей и во всем подчиняется людским законам, этике и эстетике человеческого общества. И

наконец, мир волшебной сказки, куда привнесены отдельные элементы финского и шведского фольклора. И еще один мир — мир текста Янссон, непонятный без авторских рисунков. Ее миры не существуют каждый отдельно. Они дополняют и раскрывают друг друга.

А все это, вместе взятое, образует удивительный сплав сказки Туве Янссон. Астрид Линдгрэн однажды заметила:

«Я полагаю, что Янссон самая значительная сказочница современности».

Полюбившиеся детям и взрослым герои Янссон переживали невиданные приключения, открывали неведомые острова, постепенно от книги к книге взрослели...

А потом случилось невероятное! Еще не вышли в свет последние книжки-картинки о муми-троллях, как появился сборник ее новелл для взрослых «Умеющая слушать» (1971). За ним последовали и другие: «Игрушечный дом» (1978), «Путешествие налегке» (1987), «Честная игра» (1989), «Письма Клары» (1991), «Послания» (1998). Янссон — автор и ранее написанной автобиографической книги «Дочь скульптора» (1963), повестей «Летняя книга» (1972), «Честный обман» (1982), «Каменное поле» (1984), а также романа «Город солнца» (1974).

\* \* \*

Трудно найти в мировой литературе подобный феномен: прославленный детский автор стал писать для взрослых! Пожалуй, лишь Андерсен, величайший из предшественников Туве Янссон в области скандинавской литературной сказки, прошел тот же путь. В один прекрасный день великий датчанин, создавший сборники «Сказки, рассказанные детям» (1835), «Новые сказки» (1843–1848) и «Сказки» (1850), стал автором сборника «Истории» (1852), а затем — «Новые сказки и истории» (1858–1872), возрастной адресат которых уже значительно старше. А вместо сказок в сборниках этих зачастую появляются серьезные новеллы. Современники Андерсена гадали, что же произошло. Неужели великий писатель покончил со сказкой? И пожалуй, лишь один из друзей Андерсена, крупный датский

балетмейстер Август Бурнонвилль, написал сказочнику, что его истории взяты все из тех же трех старых источников: природы, человеческого сердца и таланта...

Что же произошло с Янссон? Как сама она оценила столь серьезный поворот в своем творчестве?

В марте 1992 года автору этих строк посчастливилось взять у писательницы интервью.

Л. Б.: Ваши первые произведения были написаны для детей. И только для детей. Это потом их полюбили и взрослые. Почему вы обратились в этих книгах именно к детям?

Т. Я.: Я начала писать даже не для детей, а для самой себя. Я ненавидела школу. Самое счастливое время для меня было до школы. Вся атмосфера моего дома, мои родители... Мне хотелось вернуться и хотя бы еще немного пожить в этом огромном чудесном мире...

Л. В.: Почему вы отошли от детской литературы? Ведь все-все дети, все ваши читатели мечтают о новых встречах с муми-троллями, снасками, хемулями...

Т. Я.: Мне и самой было трудно расстаться с Долиной... Но мои герои повзрослели. А писать книги для юношества я не умею — обманула бы и детей, и саму себя... Но хотела бы вернуться. Может быть, когда-нибудь...

И хотя многие читатели Янссон сожалели о том, что она все-таки покинула Долину муми-троллей, которой, по словам Линдгрэн, следовало бы остаться прибежищем детей, книги Янссон для взрослых завоевали любовь читателей, признание критиков и также переведены более чем на тридцать языков мира.

\* \* \*

В предлагаемую вниманию читателей книгу вошли три авторских сборника Туве Янссон, из которых ранее были опубликованы лишь избранные произведения писательницы в жанре «малой прозы». В настоящем же издании впервые в переводе на русский язык в полном составе представлены сборники новелл «Умеющая слушать» (1971), «Игрушечный дом» (1978) и «Путешествие налегке» (1987), последний из этих сборников дал название всей книге<sup>[5]</sup>.

Каждый из этих авторских сборников отмечен единством творческого замысла и стилистической манеры, каждый представляет собой цельное художественное произведение. Все шесть книг, следуя в определенном порядке одна за другой, создают общую картину творчества Янссон в жанре новеллы, показывают путь, пройденный писательницей за двадцать лет — от книги «Умеющая слушать» до сборника «Послания», объединившего лучшие новеллы из предыдущих книг и новые рассказы. Критики не случайно называют новеллы финляндской писательницы современными, добавляя, что эти маленькие шедевры напоминают о великих новеллистах, о Чехове, о Кафке. Это тонкие, глубоко психологичные, интереснейшие повествования о человеческих судьбах.

В них ощутим пронзительный интерес Янссон к каждому отдельному существу, к существу, даже не имеющему имени. И в этом — переключка повестей-сказок о муми-троллях с новеллами для взрослых, сохранившими лучшие черты ранних произведений писательницы: доброту, внимание к одиноким, порой странным, даже чудаковатым личностям, одержимым необычными идеями... Лейтмотивом проходит через ее книги призыв: «Умей слушать, прислушайся к каждому человеку, даже к самому слабому, даже обладающему странностями...»

«Хотя взгляд ее беспристрастен и воспринимает почти все, он мягок и нежен», — пишет о Туве Янссон один из крупнейших литературных критиков Швеции Маргарете Стрёмстедт.

Не собираясь воспитывать читателя, Янссон пишет лишь о том, что увлекает ее и пугает, о том, что она видит и вспоминает... (Современники писательницы часто узнавали в ее новеллах самих себя, хотя Туве утверждала, что описывала лишь свою мать и подругу Тууликке Пиетилэ, выступавшую в книгах о муми-троллях под именем Туу-тикки.)

Персонажи Янссон порой так же глубоки, мудры и поэтичны, как сама писательница. Ее личность угадывается во многих новеллах.

Туве Янссон по-настоящему влечет мир Искусства. Среди ее одержимых какой-либо миссией героев — большинство художники или писатели. Тема Искусства красной нитью проходит во всех ее сборниках, это прежде всего вопросы вдохновения художника, его



морали, его эгоизма, его глубинной психологии, в какой бы области искусства он ни работал.

Герои Янссон часто одиноки, и писательницу, по ее словам, «очень волнует проблема одиночества», связанная нередко с темами старости, изменения личности, с трудностями общения.

Но, полагает Туве Янссон, «когда ты благословлен любовью», награжден вниманием или когда ты в мире с людьми, ты спасен. Способность перевоплощаться, понимать другое существо, другого человека, жить его мыслями и желаниями — отличительная черта писательницы. В большинстве своем Янссон не дает разъяснения поступков своих героев или четкой информации о них и об обстоятельствах их жизни. Почему они так поступают? Что заставляет их совершать странные поступки? Писательница остается верна одному из своих принципов, провозглашенных в 1966 году в речи при получении Международной золотой медали Андерсена: оставить что-то недоговоренным, необъясненным, дать читателю возможность понять нечто самому, домыслить. Правда, тогда речь шла о детской литературе. Но этот свой постулат Туве привнесла и в поздние произведения для взрослых.

Ведь, по ее глубокому убеждению, есть тропинка, где писатель, высказав уважение к читателю, останавливается, и тот продолжает свой путь один...

Людмила Брауде

# Умеющая слушать (1971)

*Посвящается моему брату Перу Улофу Янссону*

## Умеющая слушать<sup>{1}</sup>

Когда это началось, тетушке Герде было пятьдесят лет, и первым предупреждением о том, что она изменилась, стали ее письма. Они сделались безликими.

Она была тихой, состоятельной женщиной с обыкновенной внешностью, ничто в ней не привлекало особого внимания, не приводило в волнение или в восторг, но никому и не мешало. Писала она хорошо. Не блестяще, конечно, не затейливо, но каждое слово из того, о чем сообщала в своих письмах тетушка Герда, было тщательно обдуманно и не содержало хлопотливых советов. Все привыкли, что на письма она отвечала немедленно, быть может, не всегда усердно, но серьезно и заинтересованно. Ее письма часто кончались пожеланием плодотворной работы осенью или приятных весенних дней. Такие широкие временные рамки, казалось, оставляли адресату полную свободу несколько задержаться со следующим письмом.

Читать ответные письма тетушки Герды было все равно что еще раз наиувлекательнейшим образом переживать свои собственные чувства и впечатления, но уже словно бы разыгранные на большой сцене, где хор плакальщиц внимательно следит за происходящим и комментирует его. И одновременно читать со спокойной уверенностью в том, что тетушка всегда остается достойной того доверия, которым ее столь часто вознаграждали.

Теперь же, с некоторых пор, тетушка Герда неделями и месяцами медлила с ответом, и, когда наконец отвечала, письма ее были исковерканы недостойными извинениями, стиль их стал высокопарен и изобиловал длиннотами; и писала она уже только на одной стороне бумаги. А подробные комментарии, некогда содержавшие искреннее сочувствие адресату, утратили свою теплоту.

Когда человек теряет то, что можно назвать его изюминкой, выражением самых прекрасных его качеств, подобное состояние вдруг обостряется, а затем с пугающей быстротой овладевает всей его личностью. Именно это и случилось с тетушкой Гердой. Очень скоро она позабыла все дни рождения. А также имена, лица и обещания. Она, которая обычно сидела в ожидании на ступеньках своей

лестницы и тем не менее всегда приходила первой, стала опаздывать. Ее запоздалые подарки были слишком дорогими, громоздкими, безликими и сопровождались мучительными извинениями. Никогда больше не приносила она с любовью приготовленные подарки, которые сама же и мастерила. Никогда больше не посылала красивые и трогательные рождественские открытки вместе с засушенными цветами, ангелами, а иногда — блесками; теперь она покупала дорогие плянцевые открытки с уже напечатанными пожеланиями радости и счастья.

Эти весточки от тетушки Герды горестно свидетельствовали о том, как она изменилась, а также об ужасном, удручающем недостатке внимания с ее стороны.

Ведь в душе своей люди всегда носят образы тех, кого любят, они живут в их сердце, и мир полон разных возможностей выказать им свою нежность, это не оценить деньгами, но это приносит столько радости. Все ее сестры, и братья, и внучатые племянники, и друзья думали про себя, что Герда изменила своим правилам, утратила чувство ответственности и что, живя лишь ради самой себя, стала эгоистична. А может, это просто беспомощная забывчивость, которую приносят с собой годы? Но в глубине души все знали, что изменения эти гораздо серьезнее, они необъяснимы и необратимы и связаны с таинственной сферой мозга, формирующей сущность человека и его достоинство.

Тетушка Герда знала: с ней что-то произошло, но она не понимала, что именно. Ее вынужденные поступки и взаимоотношения с близкими людьми, взаимоотношения, что стали всего лишь добровольным желанием приспособиться к обстоятельствам и уступкой с ее стороны, требовали невероятных усилий от нее. Тетушка Герда мучилась, постоянно упрекая в чем-то себя. А самым трудным становилось, пожалуй, время, удары часов — необходимость следить за временем.

Ее дни, прерывавшиеся или зачастую кончавшиеся приглашением в гости, обретали собственное времяисчисление, они были нескончаемы и внушали ей страх уже с самого утра. Можно сказать, эти дни как-то странно делились пополам. Сначала, охваченная чувством откровенного ожидания, тетушка Герда приводила в порядок те вещи, которые хотела взять с собой, когда уйдет из дому. Потом в

душе ее появлялась страшная неуверенность, касавшаяся имен, лиц и произносимых ею слов. Исчезало и ощущение взаимосвязи между отдельными людьми, и ощущение полноты чувств по отношению к тем, кого любишь. А хуже всего — то, что существовало враждебное ей время. Время, что неуклонно приближается — секунда за секундой, — и в одну из этих секунд кто-то уже ждет тебя у дверей... Секунды не хватит даже на вдох или выдох, а все, что потребует большего отрезка времени, может случиться, когда уже слишком поздно, увы, уже слишком и слишком поздно. Когда назначенное время ухода приближалось, беспокойство тетушки Герды становилось нестерпимым. Она совершала странные ошибки: неправильно определяла время на часах, начинала заниматься мелкими посторонними делами, ее одолевала усталость, и она засыпала в своем кресле. А заведя будильник, выходила на лестницу или на чердак вовсе безо всякой надобности именно в тот момент, когда будильник звонил. Когда же бедная женщина умудрялась наконец явиться в гости с опозданием, она не переставая мучила хозяев дома своими слишком обстоятельными, отчаянными извинениями.

Время шло, лучше ей не становилось. Как тяжело, когда тот, кого слишком высоко ценят, ведет себя неподобающе, столь абсолютно неподобающе, и происходит это так быстро, что никто не успевает вовремя прийти ему на помощь. Посреди какой-либо фразы тетушка Герда забывала, кто из ее внучатых племянников мальчик, а кто девочка, и панически замолкала, после чего, чрезвычайно понизив голос, говорила брату или сестре:

— Я хочу сказать, как поживает твой малютка?

Она говорила «Разрешите представиться!» людям, которых давно знала, и страх ее был при этом столь явным, что вызывал вокруг чувство подавленности.

Для того чтобы лучше понять манеру поведения тетушки Герды в период между зимой и весной тысяча девятьсот семидесятого года, требуется более подробное объяснение.

Возможно, мы недостаточно обращаем внимания на то, что непрерывно свершается с теми, кого мы любим, на тот кипучий, интенсивный процесс жизни, который, пожалуй, во всей его полноте могут охватить лишь такие личности, как, например, тетушка Герда, — разумеется, до всех тех изменений, которые с ней

произошли. «Они любили сдавать экзамены, а потом добиваться ученых степеней либо не добиваться их, они получают прибавку к заработной плате и стипендии либо ничего не получают, кроме детей или выкидышей и комплексов, у них трудности с прислугой, и с половыми сношениями, и с упрямыми детьми, выказывающими все возрастающую самостоятельность, и с ложными представлениями, и с деньгами, а возможно, с желудком, или зубами, или их верой, или профессией, или чувством собственного достоинства. Они запутываются в политике и в своих амбициях, и обманывают самих себя, и разочаровываются, на их долю выпадают измены, и похороны, и всякого рода ужасы, и постепенно у них появляются морщины и тысячи других вещей, о которых они и не помышляли, и все это есть и у меня, — печально думала тетушка Герда, — все ясно как день, и я не совершала никаких ошибок! Я никогда не ошибалась. Что же такое случилось?!»

Она часто просыпалась по ночам и долго не могла заснуть. Иногда она удивлялась, есть ли на свете спокойные и счастливые люди и существуют ли они вообще, а если они встретятся, посмеет ли она привлечь к себе их внимание. «Нет, — думала тетушка Герда. — Все-таки они носят нечто тайком в своей душе, они скрывают тяжесть, которой хотели бы поделиться. Письма, и подарки, и плящевые картинки, выражающие нежность, важны. Но еще важнее слушать друг друга лицом к лицу, это большое и редкостное искусство».

Тетушка Герда всегда умела слушать. Быть может, тут отчасти помогало присущее ей умение формулировать свои мысли, а также отсутствие любопытства. Она слушала всех своих родных с тех пор, как была молода, слушала, когда они говорили о самих себе и о других, включала их, как и саму себя, в огромную, придуманную ею замысловатую книгу жизни, где разные события пересекались и следовали одно за другим. Она вслушивалась как бы всем своим большим плоским лицом, неподвижно и слегка наклонившись вперед, а взгляд ее был удрученным, иногда она быстро поднимала глаза, и в них читалась откровенная боль. Она не дотрагивалась до своего кофе и не обращала внимания на то, что сигарета ее догорает. И лишь в короткие промежутки времени, которые далее трагедия предоставляет для пошлых, но необходимых объяснений, она позволяла себе жадно затянуться сигаретой, выпить кофе и осторожно, стараясь не звенеть,

поставить чашку на стол. Тетушка Герда была, собственно говоря, не чем иным, как воплощением тишины. А потом невозможно было вспомнить, что она говорила, может, всего лишь, затаив дыхание, спрашивала:

— Да? Да?..

Или же коротко вскрикивала в знак сочувствия. Между тем, пока годы шли, а желание осознать происходящее все возрастало в душе тетушки Герды, не нашлось ни единого человека, который побеспокоился бы о том, знает ли об этом ее желании она сама. Все они полагались на ее способность самозащиты, они позволяли ввести себя в заблуждение этой ее особенностью — простодушие сочеталось в ней с умением не вмешиваться. Рассказывать ей что-либо было все равно что рассказывать дереву или преданному животному. И никогда после этого ни малейшего чувства неудобства, которое обычно сопровождает тебя, когда разоткровенничаешься.

Теперь же, казалось, тетушка Герда утратила свою наивность. Ее большое лицо, полуоткрытые и ничего не выражающие глаза, ее короткие возгласы не изменились, но они потеряли какую-то часть присущей им робости и естественного желания узнать, чтобы понять и благодаря этому полюбить. В глазах ее затаилась уже совсем не та прежняя боль, и у нее появилось какое-то раздражающее, беспомощное движение руки, взывающее, казалось, о прощении.

В ту зиму и весну немногие звонили тетушке Герде, в ее квартире наступила тишина, совершенно мирная тишина, и прислушивалась тетушка лишь к шуму лифта, а иногда — дождя. Она часто сидела у своего окна, наблюдая за переменами времен года. У нее был эркер — в форме полукруга, довольно прохладный, окно было круглым и теперь, в марте месяце, украшено ажурной ледяной решеткой. Сосульки были толстые и изумительно отполированы проточной водой, вечерами они становились голубыми. Никто не звонил ей, и никто не приходил. Она думала, что окно — это огромный глаз, вззирающий на город, на гавань и на полоску моря подо льдом. Непривычные тишина и пустота в квартире были для нее не только утратой близких, но и своего рода облегчением. Тетушка Герда чувствовала себя воздушным шаром, выпущенным из рук и блуждающим по воле ветра. «Но, — думала она всерьез, — это воздушный шар, который забивается под крышу и не может двинуться

дальше». Она понимала, что так жить нельзя, человек не создан, чтобы бессмысленно парить в воздухе, он нуждается в земной точке опоры, в заботах и смысле жизни, чтобы не затеряться в ее сумятице. Однажды, когда началась капель, тетушка Герда решила потренировать свою память и вернуться к прежнему простому образу жизни. Она составила список преданных ей людей, которых смогла вспомнить, их детей и внуков, а также других родственников, и попыталась припомнить, когда они все родились. Лист бумаги оказался слишком мал. Тетушка Герда развернула на обеденном столе большой рулон бумаги, предназначенной для поздравлений, и укрепила его кнопками. Она написала имя и дату рождения каждого родственника, а против каждого имени нарисовала круглой линией голову, название же своей работы тетушка поместила в маленьком красивом овале, детей — совсем близко от родителей — и соединила с ними красными линиями. Все любовные связи она начертала розовым мелком, двойными же линиями — все незаконные и запретные отношения. Тетушка Герда почувствовала глубокую заинтересованность. На бумаге появились усложненные головы, окруженные обширным розовым ореолом, словно галактики, гигантские звездные системы, что внушают трепет и, однако же, вызывают почему-то сожаление.

Тетушке Герде впервые довелось испытать подобное переживание — составить картину родственных отношений и любовных связей, причем картину необычную. Она накупила мелков разных цветов. Она продолжала добросовестно рисовать: разводы обозначала она фиолетовым мелком, а ненависть — красным, как лак; линии верности — светлым. Умершие были серого цвета. Она оставляла место для описаний тех фактов и дат, которые составляют человеческую жизнь. Теперь у нее было время для воспоминаний. Время не представляло больше опасности: оно существовало параллельно с ней самой, поскольку ей нужно было запечатлеть его в маленьком красочном овале. Тетушка Герда отмечала кражи денег, кражи детей, кражи работы, а также кражи любви и доверия. Она вспоминала тех, кто, обладая нечистой совестью, причинял вред друг другу, или замалчивал достоинства других, или задерживал их продвижение по службе. Она соединяла их линиями, подчищала и делала поправки. Время больше не раздваивалось, и она



прислушивалась лишь к своему собственному внутреннему голосу. Из забвения рождались звуки, рождались голоса, рождались лица, которые сливались воедино и обнажались, выпячивая губы, люди, которые говорили и говорили без конца. Тетушка Герда собрала всех родственников вместе, она позаботилась обо всех. То, что попадало в овал, избавлялось от бремени страданий, но сохраняло свое внутреннее содержание. Память тетушки Герды открывалась, словно большая раковина, каждая линия была ясной и отчетливой; даже чрезвычайно отдаленное эхо постепенно приближалось, превращаясь в шепот.

Весна продолжалась, а тетушка Герда переносила свою большую карту жизни на пергамент. Ей немного мешало то, что там встречались повторы, которые могли показаться банальными, но ведь поведение людей диктуется определенными правилами. У нее на карте, помимо длительных и повторяющихся событий, отражались исключительные единичные поступки, например попытка убийства — ее она обозначила пурпурным цветом, ощутив легкий холодок напряженности, быть может подобный тому, какой испытывает коллекционер, наклеивая бесценную фальшивую марку на подобающее ей место в кляссере.

Иногда тетушка Герда сидела спокойно, не пытаясь вспоминать, погруженная в свою звездную систему минувшего и грядущего, она предчувствовала неизбежное изменение линий и овалов. У нее появилось желание предвосхитить то, что должно было произойти, обозначить эти новые линии, быть может, серебром или золотом, поскольку все другие цвета были уже использованы. Она тешилась шальной мыслью — заставить точки и овалы передвигаться, словно костяшки домино, менять взаимосвязи и создавать новые созвездия и запутанные цепи событий с непредсказуемыми последствиями.

Несколько раз звонили по телефону, но тетушка Герда говорила, что простужена и не принимает гостей.

К концу апреля она начала рисовать раму вокруг карты, — раму, состоящую из мелких удивительных орнаментов, несколько похожих на те фигуры, которые по рассеянности рисуют в телефонной книжке, пока разговаривают. Она вслушивалась в свой внутренний голос, в слова, кратко резюмирующие ее рассуждения.

Сын брата позвонил по телефону и спросил, может ли он подняться к ней, но тетушка Герда ответила, что у нее нет времени. Составление карты приближалось к своему завершению, это был чрезвычайно важный момент, и дело не терпело никакого постороннего вмешательства.

Крупные планеты крепко держат в своей орбите мелкие, спутники движутся своим, предначертанным им путем, а могучие линии усопших пересекают все остальные, все двойные, все подчеркнутые линии, а также все цепочки линий.

Сплошные просчеты, разочарования и потери. Тетушка Герда начертала все прекрасные человеческие взаимоотношения такими светлыми мелкими, что их затмили более яркие, а возможно, светлые линии стерлись в процессе работы. Теперь она шлифовала лишь слова, составляя краткие энергичные предложения, где каждое содержало ее выводы. Каждое слово было предназначено для кого-нибудь, кто очень внимательно слушал. «Ты знал, что виноват в его смерти? Ты знал, что ты не отец своей дочери? И что твой друг дурного мнения о тебе?» И карта, соответственно, менялась, а тетушка Герда проводила свою первую линию золотой краской. Это была ужасающая и упоительная игра мысли, а называлась она «Слова, которые убивают». В нее можно было играть только вечером у окна. Тетушка Герда полагала, что подобные слова должны ложиться на бумагу с длительными перерывами во времени, если они, конечно, в самом деле когда-нибудь будут произнесены. Восьми-девяти слов было бы достаточно для ощутимых изменений в этом огромном проекте, лежавшем на обеденном столе. А позднее, в свое время, — новые слова для кого-то нового, умеющего слушать, и снова картина изменится. Эффект возможно предусмотреть и рассчитать так же, как при игре в шахматы с самим собой... Тетушка Герда вспомнила несколько поэтических строк из любимого ею произведения, читанного в дни юности: «Бьёрн и Фритьоф за игрою перед шахматной доскою: блещет клетчатое поле жаром злата и серебра...»<sup>[6]</sup> Ей необходимо было чертить свои линии серебром и золотом и долго ждать, прежде чем начертить еще одну линию. Время у нее было, да и материал — неисчерпаем.

Это было в начале мая. Долго-долго, допоздна в светлые июньские ночи она сидела у своего окна и играла в великую опасную

игру. Она не зажигала ламп, ночь была ослепительно голубой, прозрачной и медленно меняла краски, которые приходят вместе с весной. Ей не надо было смотреть на карту, она знала ее наизусть. Как и раньше, слова ее превращались в фразы и обретали форму, линии и овалы менялись местами, а краски постоянно чередовались. Впервые в жизни тетушка Герда переживала сладостное и горестное осознание своей власти.

Когда потеплело, она открыла окно, надела плащ, накрыла шерстяным пледом ноги и, сидя в эркере, стала смотреть на город и полоску моря вдаль. Она слышала шаги и голоса внизу на улице, каждый звук был совершенно ясен и отчетлив. Все, проходившие мимо, казалось, держали путь в гавань. Тетушка Герда почувствовала, что комнаты, в которых она жила, больше не окружают ее, они отвернулись от нее, они повернулись к улице. Необычайно светлая ночь внезапно стала тревожной и овеяла ее грустью. Она думала о том неизвестном ей, что происходило в этот момент снаружи. Каждую минуту на улице что-то происходило. Тетушка Герда долгое время сидела совсем тихо, затем, отшвырнув плед, вышла в прихожую. Позвонив племяннику, она спросила, не хочет ли он ненадолго подняться к ней и поговорить немного о своей картине, но он был занят и не мог прийти.

— Живопись... — сказал он. — Это было так давно, тетушка Герда. Теперь я работаю у папы.

Положив трубку, она вошла в столовую. Карта была почти различима в полутьме, теперь она напоминала чрезвычайно древнее изображение земли, видимое с небес, нарисованное в те времена, когда исследованные острова были огромны, а неизведанные континенты ничтожно малы.

Тетушка Герда была перфекционистом, человеком, стремящимся к совершенству, возможно, она и сама об этом не знала или же ей было даже незнакомо это прекрасное и пронзительное слово; она сочла лишь, что дело, сотворенное лишь наполовину, не имеет никакого смысла. Время обмануло ее, это ужасное время, которое она снова упустила. Ее карта оказалась недействительной. Она медленно свернула ее, перетянула рулон тремя резинками и сверху написала; «Сжечь непрочитанным после моей смерти». «Это была прекрасная работа, — подумала тетушка Герда. — Собственно говоря, жаль, если

никто из родственников хотя бы не взглянет на нее». Она положила карту на самую верхнюю полку шкафа в прихожей и закрыла окно; шаги и голоса на улице исчезли. Затем она зажгла лампу над обеденным столом и вытащила коробку с глянцевыми картинками и засушенными цветами. По одной картинке, по одному цветку выкладывала она на стол и вспоминала, какими они казались ей прежде. Затем тетюшка Герда протянула свою большую ловкую руку и одним-единственным движением заставила все эти прекрасные картинки снова соскользнуть в коробку. Кое-какие блески упали на ковер и засветились там, голубоватые, как ночь за окном.

## Разгружать песок...{2}

Шаланда с песком причалила у подножия горы, и мешки с цементом перенесли на берег. Теперь команда разгружала песок. Они нашли сильного парня, способного толкать тачку. Раз за разом он переправлял ее к берегу, сначала медленно, а потом, грохоча и делая широкие шаги, заставлял дощатый настил качаться, затем подтаскивал тачку к подножию горы, приподнимал колесо на настил, довольно быстро взбегал вверх по склону и отпускал груз на свободу. Пока песок высыпался вниз, он поворачивался лицом к морю и почесывал голову с таким видом, будто все это его ни в малейшей степени не касалось и делалось лишь развлечения ради. Его спина и руки блестели на солнце. Брюки были туго натянуты, а маленькая засаленная шапчонка — едва ли больше листка, который угораздило, кружась в воздухе, упасть вниз ему на волосы. В конце концов он протягивал руку, вытряхивал песок из ящика тачки дочиста, одним резким движением поворачивал ее назад и, снова громыхая колесом, спускался вниз со склона горы к шаланде. Пока тачка катилась по настилу, слышались лишь легкие шаги его ног. Потом он сплевывал через перила с таким видом, словно он всему миру хозяин и начхать ему на это дело. Он позволял другим поднимать с помощью лебедки бочку с песком наверх и опустошать ее. Он был великолепен!

Она стояла, буквально прилипнув к мешкам с цементом, и смотрела. Ничего значительного с тех пор, как она научилась нырять, не происходило, а теперь все нахлынуло разом — и разгрузка песка, и это внезапное умение нырять. Она не могла быть в двух местах одновременно, это было невозможно. Вот так! Сначала ничего, ну просто ничегошеньки не случается, а потом приходится выбирать, и это нелегко.

Она встала в четыре часа утра, чтобы не терять времени и чтобы владеть всей виллой. Стены и пол поделены по-новому полосами солнечного света, который уже целый день не возвращался; спящий дом со всеми его по-летнему желтыми, покрытыми олифой стенами пронизывал насквозь свет раннего утра, и было абсолютно тихо. Она открыла окно на веранде, и гардина широко вздулась; воздух на воле

был холодный. В кладовой нашлось лишь два мясных биточка. Она сунула их в рот прямо из миски, быстро слизала застывший соус и взяла одну ковригу хлеба из металлической хлебницы.

В саду благоухало утро — прохладный и преисполненный ожидания аромат. С каждым шагом она, торопясь и жуя на ходу, удалялась от виллы, спускаясь вниз к берегу и дальше по камням; прыжок... и два шага — абсолютно точно! Она все время ела на ходу.

Теперь он разбежался для прыжка и, снова удерживая тачку на дощатом настиле, на четвертом шагу переступил на другую ногу и перешел к длинным упруго-гибким прыжкам, а позже к резким, прерывистым, жестким звукам, когда тачка пересекала горный склон. Новый поток песка, хлынув, присоединился к этим звукам, и парень повернулся лицом к морю.

Она стояла за мешками с цементом и жутко завидовала ему. Нужно было что-то предпринять — теперь или никогда! Она перепрыгнула через край шаланды и закричала в грузовой трюм:

— Могу я помочь?

Голос ее прозвучал отчаянно смело, и ей стало стыдно.

Внизу во мраке стояли двое стариков, они не ответили. Единственный раз глянули они вверх и продолжали сгребать лопатами песок. Бочка была почти полной. Девочка села на палубе и покорно ждала. Он вернулся назад со своей тачкой, и песок вновь подняли наверх. Два раза возвращался парень обратно, и она не осмеливалась глянуть на него. В третий раз ей дозволили спуститься в грузовой трюм.

Дневной свет исчез, словно скрылся за дверью, огромное помещение было овеяно глубокой и прохладной тенью. Бочка вновь спустилась вниз. Девочка схватила песок лопатой и что есть сил быстро подняла его вверх. Лопаты со звоном скрестились, а руки ее словно загорелись.

— Это надо делать спокойно и равномерно, — сказал один из стариков. — А как делает это она! Подумать только!..

Она послушно ждала, пока они наполняли бочку и поднимали ее наверх. Выгружать песок — словно бы прыгать по камням: надо внимательно и точно рассчитывать каждое движение и делать лишь крайне необходимое, а еще — никогда не промахиваться. Поступать точь-в-точь как парень с тачкой. Тачка снова спустилась вниз.

Девочка наполняла песком лопату и взмахивала ею в ту самую нужную минуту, что принадлежала ей одной. Она поднимала лопату и равномерно опустошала ее вместе с другими грузчиками. Все три лопаты сверкнули в сумрачном грузовом трюме, и разгрузка была завершена. Ноги глубоко скользнули вниз в рыжий влажный песок. Когда бочка наполнилась, все трое одновременно прекратили нагружать песок; они оперлись, отдыхая, на лопаты, и глядели, как там наверху бочка взмывается ввысь вместе с лебедкой. А он ходил взад-вперед, покачиваясь на досках настила, бочка же снова и снова спускалась вниз то с одной, то с другой стороны кия — по очереди.

Первый взрыв раздался в глубине залива. Мне бы следовало быть и там тоже! Мне хотелось быть всюду! Как я смогу дальше жить, если все время придется выбирать меж двумя делами!

— Пора завтракать! — сказал старик и сунул лопату в песок.

Когда девочка поднялась на палубу — ослепительно сияло солнце. Подойдя к перилам, она сплюнула в море, сплюнула очень спокойно. Тут раздался новый взрыв, столб воды поднялся над лесной опушкой — невероятно высоко — и, прежде чем опуститься, долгое время оставался в воздухе. Столб был совсем белый. И как раз в этот миг над берегом потянулась стая лебедей. Она никогда прежде не видела лебедей в полете... и они кликали, они пели! Новый столб воды поднялся к небу, соединился с летящими птицами крест-накрест, и долго длившийся миг гигантский белый крест виднелся на фоне голубого неба.

Она помчалась по дощатому настилу, легко и чуть шатаясь; вскинув голову, она отбежала в сторону, мимо мешков с цементом, и вниз, в лес. Лес был тих и преисполнен до краев летним теплом, весь июнь пылало низко на горизонте, словно великолепно раскаленный дождь, солнце, а над трясинной носился гонимый ветром туман. Она вбежала в прохладу тумана и снова выбежала в тепло, и опять нырнула в прохладу и пробежала сквозь заросли восковника<sup>[7]</sup>. Она растянулась во всю длину на мшистой топи, и восковник прогнулся под ней вплоть до самой болотной воды.

Сколь долгое время должно было минуть, прежде чем она стала взрослой и счастливой.

## День рождения<sup>{3}</sup>

В двадцать минут четвертого младшая из фрёкен<sup>[8]</sup> Хэгер зажгла свечи на праздничном торте в честь дня рождения; уже наступили сумерки. Ее сестра достала из холодильника мороженое и начала раскладывать его в вазочки на серебряном блюде.

— А ты не можешь заняться этим немного позднее? — спросила Вера Хэгер. — Они появятся с минуты на минуту, и мы, пожалуй, сможем принять всех гостей вместе. Я не привыкла...

Анья продолжала раскладывать мороженое.

— Прими их в гостиной, — сказала она. — Подай им сок. Я приду, как только закончу...

Вера вышла в прихожую. Она услышала шум поднимающегося вверх лифта, он остановился, и она открыла дверь. То был дворник, он кивнул ей, продолжая подниматься по лестнице на чердак.

— Извини, — сказала фрёкен Хэгер, — я думала, это к нам. Мы как раз ждем гостей...

Она снова закрыла дверь и продолжала стоять возле нее. Ей не понравилось, как дворник поздоровался с ней, но объяснять ему что-то бесполезно, и ей не следовало ничего говорить. Лифт вернулся. Она подождала, пока зазвонил звонок, и открыла дверь. То были трое детей, два мальчика и очень маленькая девочка в сопровождении гувернантки.

— Добро пожаловать! — сказала ей фрёкен Хэгер. — Дело в том, что нашей племяннице, дочери нашего брата, исполняется год, а ее родители в отъезде, и поэтому мы, моя сестра и я, подумали, что нам надо устроить небольшой праздник...

Дети сняли сапожки, плащики и шапочки и положили их на пол, а гувернантка ушла.

— Как вас зовут? — спросила фрёкен Хэгер. Мальчики, глядя мимо, не ответили, но девочка прошептала:

— Пиа!

В дверь снова позвонили. Пришли еще четверо детей, один из них с мамой. Все больше и больше детей входили в квартиру, снимали с



себя верхнюю одежду, а виновница торжества все не появлялась. В прихожей было ужасно жарко.

— Проходите!.. — пригласила гостей фрёкен Хэгер. — Будьте так любезны пройти в гостиную, чтобы всем хватило места в прихожей, не стойте в дверях, оставьте место для других.

Дети пошли в гостиную. Она захлопала в ладоши и воскликнула:

— Начинайте играть! В какую игру вы хотите?..

Они смотрели на нее, не отвечая. Вера Хэгер отправилась в кухню и сказала сестре:

— Тебе надо пойти туда, иди сейчас же. Ничего не получается.

Сестра подняла блюдо с разукрашенным мороженым и спросила:

— Что ты имеешь в виду? Что не получается?

— Праздник! Они просто молча стоят — думаю, я им не нравлюсь. И Даниэла не пришла!

— Возьми блюдо, — сказала Аня. — Пойди в гостиную и угости их мороженым. Я позвоню и спрошу...

Она подошла к телефону и набрала номер... Занято! Она попыталась снова. Сестра с блюдом в руках стояла за ее спиной и ждала.

— Поставь мороженое или отнеси его в гостиную! — посоветовала Аня.

— Забери его сама! — воскликнула Вера. — Будь так добра, забери его. Дай мне позвонить, я с удовольствием это сделаю; буду звонить до тех пор, пока не ответят.

Сестра взяла у нее из рук мороженое и пошла в гостиную. Теперь в прихожей было совершенно спокойно. Вера снова и снова набирала номер, телефон был занят.

Аня Хэгер разбросала серпантин над головками занятых мороженым детей. Бросать она умела. Спокойно и не торопясь она соткала многоцветные сети вокруг всей большой комнаты. Свечи быстро сгорали в тепле, собирая талые стеариновые озера меж розами из марципанов. Она погасила свечи. Затем разделила воздушные шары и сказала детям, где умывальная комната, после чего вышла в прихожую.

— Не отвечает, — сказала Вера. — Может ли быть, что мы перепутали день? Как ты думаешь, что-то случилось?

— Думаю, они забыли положить трубку, — ответила ее сестра.

— Дети играют? Им весело?

— Они едят, — ответила Аня. — Ты можешь зайти к ним и побыть с ними часок, а я собираюсь немного почитать.

И она прошла в спальню.

Вера Хэгер стояла в дверях гостиной и смотрела на детей. Они не были уже больше скованны, они толкались, нависали над столом, а одна девочка построила домик из апельсинов. Другая ела мороженое, сидя под столом. Вера медленно подошла ближе.

— Вам весело? — спросила она.

Дети перестали есть и уставились на нее. Они долго разглядывали друг друга сквозь занавес из многоцветного серпантина.

— Когда я была маленькая, — произнесла фрёкен Хэгер, — никто и слыхом не слыхал про мороженое. Мороженое, думается мне, появилось гораздо позднее... Не беспокойтесь о Даниэле, она, верно, скоро придет, может, с минуты на минуту...

Дети почти не шевелились. Домик из апельсинов распался, и фрукты упали на пол. Один из них подкатился к самым ногам Веры Хэгер, она повернулась и ушла в спальню. Ее сестра читала, лежа на своей кровати.

— Не понимаю, — сказала Вера. — Не понимаю. Почему с нашими праздниками вечно что-то не получается. Даже с детьми...

— Возьми и почитай что-нибудь, — посоветовала Аня.

Лампа на ночном столике была зеленой — мягкий свет над изголовьем. Внезапно они осознали, что часы тикают.

— Пожалуй, можно потолковать об этом, — предложила Вера.

Аня не ответила. Ее очки отражали свет, так что не было видно ее глаз.

Она разрежала страницы по одной, и всякий раз, когда она клала ножик обратно на стеклянную поверхность ночного столика, слышался звон. В квартире же было очень тихо.

Вера Хэгер встала и открыла дверь.

— Они погасили свет, — прошептала она.

И тут в гостиной раздался львиный рык.

— Они играют, — сказала Аня Хэгер, — они играют в диких зверей. Так что не присматривай за ними. Им весело.

Внезапно она почувствовала, как бесконечно устала от своей сестры.

— Дети играют, — резко продолжила она. — Они не такие, как мы.

Лицо Веры исказила гримаса, и она, бросившись на кровать, заплакала. Ее небольшая головка вся была в жидких локонах, которые она предположительно никогда не могла разглядеть в зеркало. «У нее нет затылка, — подумала Аня. — Абсолютно». Вера надела очки и сказала, уставившись в книгу:

— Прости меня. Я ведь только говорю, что им весело. Праздник удался, они едят и рычат друг на друга. Светская жизнь — это джунгли, где все улыбаются и скалят зубы...

Произнося эти слова, она выдвигала ящик ночного столика, а сестра ее автоматически потянулась к носовому платку, высморкалась и сказала:

— Спасибо! Что ты имеешь в виду, говоря «скалишь зубы», о чем ты?

Аня Хэгер села на кровати и, глядя в стенку, произнесла:

— Светская жизнь ужасна, если не любишь тех, кого приглашаешь к себе домой. Улыбаешься, скалишь зубы, потому что боишься, Дети правильно поступают. Они устраивают темные джунгли и рычат.

— Не понимаю, — ответила Вера.

— Есть ли кто-нибудь, — спросила Аня, — есть ли хоть один-единственный человек, которого мы захотели бы видеть?

— Пытаешься поссориться со мной? — спросила Вера.

Аня ответила:

— Возможно. Но как раз не теперь. Я спрашиваю, чтобы знать. Ведь можно поговорить друг с другом.

— Мы никогда не говорим, — сказала Вера. — Мы только живем. Они прислушались к звукам в гостиной, и Аня сказала:

— Это была гиена. Как ты думаешь, это гиена? Вера кивнула.

— Видно, что я плакала? — спросила она.

— Это видно всегда, — ответила ее сестра.

Она вышла из спальни и направилась в гостиную. Дети сняли обувь и заползли в темноте под стол, стулья, кресла и диван. Она слышала, как они рычали друг на друга. Двое затеяли драку, они катались, ворча, в неясной полосе света из прихожей.

Зазвенел дверной колокольчик, фрёкен Хэгер включила свет и открыла дверь. Дети вышли из гостиной и стали разыскивать свои плащики, сапожки и шапочки. Все время работал лифт, и в конце концов прихожая опустела, там висели лишь два длинных черных плаща. Пол гостиной был завален затоптанным серпантинном и остатками торта. Аня собрала тарелки и вынесла их в кухню. Вера сидела у кухонного стола и ждала. Она сказала:

— Тебе незачем говорить, что праздник удался. Я устала оттого, что ты вечно говоришь одно и то же.

— Вот как, ты устала? — спросила ее сестра. — И я вечно говорю одно и то же?

Она осторожно поставила тарелки в раковину и прислонилась к столу для мытья посуды — спиной к кухне. А потом спросила:

— Ты очень устала?

— Устала очень, — прошептала Вера. — Что ты хочешь, чтоб я сделала? Что-то неладно?

Аня Хэгер прошла мимо сестры, легко притронувшись к ее плечу.

— Ничего, — ответила она. — Пусть все остается как есть, уже слишком поздно. Слишком поздно для уборки. Мы пойдем и ляжем спать, а посуду вымоем завтра утром.

## Спящий {4}

Она втиснула телефон в шкаф и заговорила как можно тише:

— Ты с ума сошел, звонить среди ночи! Здесь люди!

— Послушай, что я скажу, — произнес он. Голос его прозвучал будто чужой из-за того, что он пытался оставаться спокойным и не мог. — Я не стану называть тебе никаких имен! Не спрашивай... Но кое-кто позвонил, что мне надо пойти и взять ключ у кого-то... ты понимаешь... Это один человек, о котором они беспокоятся, а пойти не могут, потому что сами далеко.

— Как ты полагаешь, — спросила она, — чей это ключ?

— Я же говорил, что ты не должна ни о чем спрашивать. Я хочу взять тебя с собой. Это ужасно важные дела.

— Снова ты что-то выдумал, — сказала Лейла. Но мальчик воскликнул:

— Нет! Нет! Это важно! Пойдем со мной, раз я прошу.

— Ну, если хочешь взять меня с собой, ладно, — ответила девочка.

\* \* \*

Они поднялись по незнакомой лестнице и открыли дверь чужим ключом. Прихожая была забита полуоткрытыми коробками, большое зеркало в золоченой раме стояло, прислоненное к стене. Комната была большая и безо всякой мебели, с неоновыми лампами на потолке. Человек лежал на полу, голова на вышитой подушке, и тяжело дышал. То был громадный парень с багровым лицом и копной каштановых волос. Он был старый. Самое малое, лет тридцати пяти.

— Кто это? — прошептала она. — Он убит?

— Я ведь говорил, что не знаю, — ответил мальчик. — Они позвонили. Я рассказывал тебе... По телефону.

— Он умирает? — спросила она. — Ты мог перебудить весь дом. И что нам в таком случае делать сейчас?

— Позвонить врачу. Куда звонить? Ты не знаешь, куда звонить ночью?

— Нет!

Она так замерзла, что вся дрожала.

Он вышел в прихожую, повернулся в дверях и сказал:

— Тебе совершенно нечего беспокоиться. Я все улажу. — Вскоре он воскликнул: — Ноль-ноль-восемь! Я отыскал в справочнике. Написано прямо на переплете.

Девочка не ответила. Она неотрывно смотрела на огромного спящего человека, его рот был открыт, и выглядел он ужасно. Она отошла как можно дальше от него. Никаких стульев не было, но ясно, сидеть было бы неуместно.

Ральф говорил в прихожей по телефону, он взял все на себя, он нашел врача. Она позволила себе впасть в состояние абсолютной усталости, в мягкое и приятное чувство зависимости. Когда он вернулся, она подошла к нему и взяла его руки в свои.

— Что это с тобой? — раздраженно спросил мальчик. — Дело сделано. Они приедут. Я открою им дверь через десять минут.

— Тогда я пойду с тобой, одна я тут не останусь.

— Не будь смешной. Вдвоем — это будет попросту выглядеть глупо. Назойливо!

— Ты всегда беспокоишься о том, как это будет выглядеть, — сказала она. — Ну и что же, если речь идет о жизни и смерти!

Он поднял брови и, стиснув зубы, открыл было рот... Grimаса омерзения и презрения. Лицо Лейлы побагровело.

— Ты сам сказал, что это важно. Зачем ты взял меня с собой сюда? Что у меня общего с этим толстым стариканом? Что мне с ним делать?

Подняв руки, он потряс ими у нее перед глазами.

— Ты что, не понимаешь?! — воскликнул он. — Чтобы хоть один-единственный раз сделать что-то серьезное вместе с тобой!

— Не ори! — сказала она. — Ты разбудишь его!

Он начал хохотать и, прислонившись к стене, все хохотал и хохотал. Девочка холодно разглядывала его, а потом спросила:

— Ты смотрел на часы, когда звонил?

Он перестал хохотать и вышел, входная дверь внезапно хлопнула. Теперь слышалось лишь тяжелое дыхание совсем рядом, иногда оно

становилось ближе, а иногда, казалось, совсем далеко.

«Подумать только, что, если он умрет, когда я одна! Почему они становятся такими ужасными, когда старятся, почему не могут устраивать свои собственные дела?» Она смотрела на него все время, пока выходила, пятясь, из комнаты. Тихонько открыла дверь комнаты и стала ждать. Вот они! Лифт остановился. Врач вошел, не здороваясь. Он был невысокого роста и казался рассерженным. Словно его потревожили совершенно напрасно. В прихожей запахло мастикой. Внимательно разглядывая узор на линолеуме, она пока тихо стояла в ожидании, когда все кончится. «Если на то пошло, я не хочу при этом присутствовать. Скверно, и непонятно, и ужасно, если так всегда и бывает, я не желаю... Все это меня не касается, это случается с другими по ночам...»

Они разговаривали в комнате. Внезапно раздался еще один голос, невнятный и зловещий, голос человека на полу. Голос, звучавший откуда-то издалека, из какого-то деревянного равнодушия. Потом вдруг он вскрикнул яростно и сердито. Девочка Лейла задрожала. «Пойду домой, — думала она. — Вот только открою дверь и уйду».

Она ждала. Они вернулись, и врач прошел мимо нее не поднимая глаз, по-прежнему с гневным видом.

— Он вызовет санитарную машину? — спросила Лейла.

Мальчик, усевшись на пол, сказал:

— Нам придется остаться здесь. Ему никак нельзя в больницу, но его будет утром тошнить.

— Ты хочешь сказать, мы останемся здесь?! — воскликнула девочка. — Я этого не сделаю.

Он сдвинул колени и обхватил их руками.

— Убирайся куда хочешь! — злобно выговорил он. — Я сделаю то, что мне велели сделать. А на все остальное мне наплевать.

Они сидели, молча прислушиваясь к дыханию человека в комнате.

— А что, если его сейчас стошнит? — сказала девочка. — Надо найти таз. Или ведро.

Мальчик, передернув плечами, положил голову на колени.

— Пойдешь со мной в кухню и посмотришь? — покорно спросила она.

— Нет! — ответил Ральф.

Она прошла в кухню и зажгла свет. Все шкафы и полки были пусты. Перед столиком для мытья посуды стояла коробка с надписью «Хозяйство», наклеенной поперек. Она вернулась обратно и проговорила:

— Там стоит запакованная коробка, но я не смею открыть ее посреди ночи.

— Вот как! — воскликнул Ральф. — Какого черта ты думаешь, что я посмею взять инструмент среди ночи!

Она посмотрела на него снисходительно и терпеливо и сказала:

Если они написали на коробке «Хозяйство», то наверняка написали «Инструмент» на другой. Может, она не заклеена.

Они нашли молоток. Поставили умывальный таз рядом со спящим. Нашли ему полотенце и одеяла.

— Как ты думаешь, может, надо погасить свет? — спросила Лейла. — Как будет лучше — светло или темно, когда он проснется?

— Не знаю! Я с ним не знаком. Этот неоновый свет — просто чудовищный, быть может, будет лучше, если темно.

— Это не так уж и обязательно, — сказала Лейла. — Если будет темно, он может подумать, что умер, или испугается, и вообще лучше все видеть.

— Послушай-ка! — произнес Ральф. — Время — четыре часа. Давай немного поспим.

Он расстелил одеяло на полу.

— Я буду спать в углу, здесь, — сказала Лейла.

— А почему ты не можешь лечь рядом со мной?

— Это неудобно.

— Это пришло тебе в голову только сейчас?

— Он! — горячо прошептала она. — Он, там, в комнате. Только представь себе: что, если он умрет!

Мальчик завернулся в одеяло и сел лицом к стене. Он сказал:

— Ты такая же, как твоя мама. — А немного спустя: — Лейла! Иди сюда, будет лучше!

Она сразу же подошла, и он накрыл их обоих одеялом. Свет в прихожей погасили, но из комнаты их окутывал голубой неоновый свет, лившийся словно из больничной палаты.

— Послушай, — сказала Лейла. — Почему ты вдруг подумал, что мы никогда ничего серьезного вместе не делаем?



— Ничего особенного. Что я сказал?! Мы не делаем ничего серьезного, только встречаемся друг с другом. Ничего нужного.

— А кому это нужно?

— Не знаю, — ответил Ральф. — Я думал, это прекрасно, что я захотел взять тебя с собой. А теперь не знаю. Давай попытаемся заснуть.

— Я не могу спать. — Она обвила его рукой и прошептала: — Быть может, ты полагаешь, что для тебя это утешение, когда я с тобой.

— Ха-ха! — произнес Ральф. — Да уж, утешение, сплошное утешение.

Она отняла руку, села и промолвила:

— Во всяком случае, это я догадалась об этом — ну, чтобы поставить ему таз.

Человек в комнате закричал во сне долгим криком, словно падал в пропасть и вот-вот должен был погибнуть. Они вскочили и вцепились друг в друга.

— Он умирает! — воскликнула Лейла. — Сделай же что-нибудь!

Мальчик оттолкнул ее от себя и зашагал оцепенело в комнату, там посмотрел на человека — тот отвернулся и подкатился к стене; одна его рука раз за разом ударяла по полу, и тут он снова закричал протяжно и жалобно.

Лейла вошла за Ральфом в комнату, она стояла в дверях и внимательно прислушивалась.

— Иди ложись, — сказал ей Ральф. — Ему всего-навсего снится сон.

Ее лицо было печально, она прошла в глубь комнаты и сказала:

— Он боится. Он страшно несчастлив. — Она села на корточки рядом со спящим и попыталась заглянуть ему в лицо. — Все будет хорошо, — сказала она ему. — Это не опасно.

Спящий человек перекатился, и его рука коснулась ее руки; внезапно он твердо схватил ее и крепко держал.

— Лейла! — разразился криком мальчик.

— Тихо! Не беспокойся! — прошептала она. — Он снова засыпает.

Человек на полу держал ее за руку, он больше не кричал и отвернулся.

— Видишь, — сказала она. — Я держу его за руку! Мало-помалу его хватка ослабла, пальцы разжались.

Она встала и посмотрела на Ральфа, сделала неприметное движение, то было приказание. Она приподняла голову спящего и положила ее на подушку, придвинула ближе таз и накрыла спящего одеялом.

— И немного воды, — попросила Лейла.

Ральф отправился за стаканом воды и поставил его на пол. Была почти половина пятого. Они лежали рядом на полу прихожей и прислушивались к тишине в чужом доме.

— Он боится, — объяснила Лейла. — Он ужасно боится.

Мальчик обнял ее.

— Разбуди меня пораньше, — сказал он. — Нам надо найти кофе.

## Черное на белом {5}

Его жену звали Стелла, она была дизайнером. Стелла, его прекрасная звезда. Он не раз пытался нарисовать ее лицо, всегда спокойное, открытое и в то же время непроницаемое, но это ему не удавалось. Руки у нее были белые и сильные, украшений она не носила, работала быстро и уверенно.

Они жили в доме, построенном по ее проекту, — большие пространства, разделенные стеклом и некрашеным деревом. Тяжелые доски с красивым узором были тщательно подобраны и скреплены большими медными винтами. Ни одна лишняя деталь не закрывала структуру материала. По вечерам в комнатах зажигались низкие, скрытые светильники, стеклянные стены отражали ночь, но держали ее на расстоянии. Они выходили на террасу, сад освещался спрятанными в кустах прожекторами. Тьма уползала прочь, а они стояли рука об руку, лишённые теней, и он думал про себя: «Это само совершенство. Здесь просто невозможно что-нибудь изменить».

Стелла не была кокеткой. Разговаривая, она смотрела собеседнику прямо в лицо. Дом походил на нее: такие же широко раскрытые глаза. Иногда у него возникало неприятное ощущение, будто кто-то смотрит на них из темноты. Но сад был окружен стеной, а ворота заперты. У них нередко бывало много гостей. Летними вечерами на деревьях зажигали фонари, и дом Стеллы походил на раковину, освещенную в ночи. Веселые люди в ярких одеждах прогуливались, стояли группами по двое, по трое, одни в комнатах за стеклянными стенами, другие снаружи. Это было красивое театральное зрелище.

Он был художник, делал иллюстрации для журналов, иногда — обложки для книг.

Единственное, что беспокоило его, — легкая, но постоянная боль в спине, возможно, причиной тому была слишком низкая мебель. Перед открытым очагом лежала большая черная шкура, иногда ему хотелось лечь на нее, раскинув руки и ноги, и кататься по ней, как собака, чтобы дать спине отдохнуть. Но он этого не делал. Ведь стены были стеклянные, а собак в доме не было.

Большой стол возле очага был тоже из стекла. Он раскладывал на нем свои рисунки, прежде чем нести их заказчику, и показывал Стелле. Эти минуты для него значили очень много.

Стелла приходила и смотрела на его работы.

— Хорошо, — говорила она. — Линии у тебя совершенны. По моему, не хватает лишь доминанты.

— Ты хочешь сказать, что это слишком серо? — спрашивал он.

А она отвечала:

— Да. Слишком мало белого, мало света.

Они стояли возле низкого стола, он отодвигался и разглядывал свои рисунки на расстоянии, они в самом деле были слишком серыми.

— А мне кажется, что здесь не хватает черного, — возражал он. — Впрочем, на них нужно смотреть вблизи.

Потом он долго думал о черной доминанте. На душе у него было беспокойно, спина болела все сильнее.

Этот заказ он получил в ноябре. Он пришел к жене и сказал:

— Стелла, мне дали интересную работу.

Он был рад, почти взволнован. Стелла отложила перо и посмотрела на него, она никогда не раздражалась, если ее отвлекали во время работы.

— Это антология страха, — объяснил он. — Пятнадцать черно-белых рисунков с виньетками. Я знаю, что справлюсь, мне это подходит. Это в моем стиле, не правда ли?

— Совершенно верно, — отвечала жена. — Работа срочная?

— Срочная! — засмеялся он. — Это не пустяк, а серьезная работа. Каждый рисунок на целую страницу. Это займет пару месяцев.

Он уперся руками в стол и наклонился вперед.

— Стелла, — сказал он серьезно, — в этот раз доминанта будет черной. Я хочу передать темноту. Понимаешь, серое передает лишь ощущение затаенного дыхания, предчувствие страха, ожидание его.

Она улыбнулась и ответила:

— Как приятно, что эта работа тебя радует.

Он взял тексты, лег в кровать и прочел три рассказа, только три. Ему хотелось работать с уверенностью, что самый интересный материал впереди, сохранять это чувство ожидания как можно дольше. Третий рассказ дал ему толчок, он сел за стол и начал резать

картон — толстые, белые как мел листы с рельефным гарантийным штампом в углу. В доме стояла тишина, гостей они не приглашали. Ему было трудно привыкнуть к этому толстому картону, он никак не мог забыть, как дорого он заплатил за него. Рисунки на дешевой бумаге выходили у него свободнее и лучше. Теперь же он восхищался благородной поверхностью картона, по которому перо с тушью выводило чистые линии, и все же бумага оказывала перу незаметное сопротивление, мешающее этим линиям оживать.

Дело было днем, он опустил шторы, зажег лампу и углубился в работу.

\* \* \*

Они ужинали вместе, он ел молча. Стелла ни о чем не спрашивала. Под конец он сказал:

— Ничего не получается. Здесь слишком светло.

— Почему же ты не опустил шторы?

— Опустил, — ответил он. — Все равно недостаточно темно. Вокруг все серое, а не черное!

Он подождал, пока кухарка уйдет.

— Здесь даже нет дверей! — воскликнул он. — Нельзя закрыть за собой дверь!

Стелла перестала есть и посмотрела на него.

— Ты хочешь сказать, что здесь у тебя ничего не получится? — спросила она.

— Да, не получится. Выйдет лишь нечто серое.

— Тогда тебе, по-моему, нужно поменять обстановку, — решила жена.

Они продолжали есть, напряженное Состояние исчезло. За кофе она сказала:

— Вилла моей тетки стоит пустая. Но мансарда, кажется, меблирована. Может, попробовать поработать там?

Она позвонила Янсону и попросила его принести в мансарду калорифер. Фру Янссон обещала ставить каждый день на лестнице кастрюльки с едой и прибираться в комнате, впрочем, он бы и сам мог

наводить там порядок и прихватить с собой электроплитку. В общем, вопрос решился за несколько минут.

Когда из-за угла показался автобус, он с серьезным видом сказал Стелле:

— Я поживу там лишь пару недель, а потом буду работать дома. Постараюсь сосредоточиться. Ведь ты понимаешь, писем я писать не буду, только работать.

— Разумеется, — ответила жена. — Береги себя. Если тебе что-нибудь понадобится, позвони мне из магазина.

Они поцеловались, и он поднялся в автобус. Дело было к вечеру, шел снег. Стелла не махала ему, но стояла, пока автобус не исчез за деревьями. Тогда она закрыла калитку и пошла к дому.

\* \* \*

Он узнал автобусную остановку и живую изгородь, которая стала высокая и какая-то серая. Он удивился, что холм такой крутой. Поднимавшаяся вверх дорога, обсаженная по обочинам густыми кустами с увядшей листвой, была изрезана желобками, по которым песок и мелкие камешки стекали вниз с потоками дождя. Вилла стояла прицепившись к вершине холма под каким-то немислимым углом. Казалось, что изгородям, пристройкам, елям и всему прочему стоило огромных усилий удержаться в вертикальном положении. Он остановился перед лестницей и поглядел на фасад. Дом был очень высокий и узкий, окна походили на бойницы. Снег стаял, в тишине слышалось лишь журчанье воды, стекавшей по склону между елями. Он обошел вокруг виллы. Со стороны двора был выстроен лишь один этаж, кухонный, он почти вплотную упирался в холм, его отделяла только огромная куча хвороста. Здесь, в тени елей, было свалено все, что старый дом выплюнул за всю свою жизнь, вещи, отслужившие свою службу и ненужные, которым было не место на виду. В сгущающихся зимних сумерках этот пейзаж казался всеми забытым, не имеющим значения ни для кого, кроме него самого. Ему он показался красивым. Он неторопливо вошел в дом, поднялся в мансарду и запер за собой дверь. Возле кровати горел красный квадрат — Янссон успел поставить калорифер. Он подошел к окну и

окинул взглядом склон холма. Ему показалось, что дом, устав цепляться за холм, наклонился вниз, вперед. С большой любовью и восхищением он подумал о жене, которая так легко все устроила и дала ему возможность поменять обстановку. Он почувствовал, что темнота близится к нему.

\* \* \*

После длинной ночи без сновидений он приступил к работе. Он обмакнул перо в тушь и начал спокойно рисовать маленькими, частыми, точными линиями. Теперь он знал, что серое — лишь терпеливые сумерки, предвестники ночи. Он умел ждать. Он больше не делал иллюстраций, просто рисовал, чтобы рисовать.

В сумерках он подошел к окну и увидел, что дом еще сильнее наклонился вперед. Он написал письмо: «Дорогая Стелла, я сделал первую страницу, кажется, мне она удалась. Здесь тепло и очень тихо. Янссоны привели комнату в порядок и вечером поставили на лестнице еду — баранину с капустой и молоко. Я варю кофе на электроплитке. Не волнуйся за меня, я прекрасно со всем справляюсь. Как бы то ни было, я прав, что доминировать должно черное. Я много думаю о тебе».

Вечером, когда стемнело, он пошел в магазин и опустил письмо в почтовый ящик. Когда он вернулся в дом, поднялся ветер, зашумел в ветвях сосен. Было по-прежнему тепло, стаявший снег стекал вниз по ложбинкам, увлекая за собой песок и щебень. Он решил, что писать нужно по-другому.

\* \* \*

Все дни были спокойны, и он работал без передышки. Маргиналии он делал нечеткими, а рисунок начинался в виде неопределенной серой тени и затем сгущался в поисках темноты.

Он прочел антологию и нашел ее банальной. Чувство страха вызывал лишь один рассказ, где действие происходило среди белого дня в обычной комнате, остальные рассказы давали ему возможность

изображать ночь или сумерки. В виньетках он мастерски, но без интереса рисовал фигуры и прочие детали, которые могли бы понравиться автору и читателям. Но непременно снова и снова возвращался к страницам, где пытался запечатлеть темноту. Спина у него не болела.

«Меня больше всего интересует недосказанное, — думал он. — Я рисовал слишком понятно, нельзя объяснять все на свете». Он написал Стелле: «Знаешь, я начинаю думать, что слишком долго делал иллюстрации. Теперь я хочу создать что-то новое, свое собственное. Намек гораздо важнее подробно высказанного. Я вижу свои образы на бумаге как кусок реальности или нечто нереальное, вырванное наугад из некоего нескончаемого и непостижимого процесса, темнота, которую я рисую, длится бесконечно. Она изрезана узкими и опасными лучами света... Стелла, я не хочу больше делать иллюстрации. Я создаю свои собственные образы, не связанные ни с каким текстом. Кто-нибудь сумеет дать им объяснение. Каждый раз, закончив рисунок, я подхожу к окну и думаю о тебе. Любящий тебя муж». Он пошел к магазину и отправил письмо. На обратном пути он встретил Янссона, и тот спросил его, много ли воды в подвале.

— Я не был в подвале, — ответил он.

— Надо бы поглядеть, уж больно дождливая нынче погода.

Он открыл дверь в подвал и зажег верхний свет. Электрическая лампочка отражалась в неподвижной воде, блестящей и черной, как нефть. Подвальная лестница спускалась к воде и исчезала в ней. Он стоял неподвижно и смотрел. Углубления стены, там, где отвалилась штукатурка, были заполнены глубокой тенью, куски камня и цемента были скрыты под водой, точно плавающие звери. Ему казалось, будто они шевелились, уползали туда, где подвал уходил глубже под дом. «Я должен нарисовать этот дом, — подумал он. — Как можно скорее, пока он еще стоит».

Он нарисовал подвал. Нарисовал задний двор: хаос причудливо нагроможденных предметов, выброшенных, никому не нужных, нагромождение непонятных, черных как уголь предметов на белом снегу. Получился образ спокойного и печального беспорядка. Он нарисовал гостиную и веранду. Никогда еще он не ощущал такой бодрости. Сон был глубок и ясен, как в детстве, просыпался он мгновенно, не ощущая тревожного, наполовину бессознательного



переходного состояния, нарушающего покой и отравляющего его. Иногда он спал днем, а работал ночью. Он жил в напряженном ожидании. Из-под его пера выходил один рисунок за другим, их было уже больше пятнадцати, больше, чем требовалось. Виньеток он уже больше не делал.

«Стелла, я нарисовал гостиную, это усталая, старая комната, совершенно пустая. Я не изобразил ничего, кроме стен и пола, истертого плюшевого ковра, бордюра на стене с бесчисленными повторениями одного и того же рисунка. Это образ шагов, звучащих здесь некогда, теней, падающих на стены, слов, оставшихся здесь, а может быть, молчания. Видишь ли. ничто не исчезает, и я стремлюсь это запечатлеть. И каждый раз, закончив рисунок, я подхожу к окну и думаю о тебе.

Стелла, думала ли ты когда-нибудь о том, как обои отстают от стены, разрываются и распаиваются? И это происходит по определенному строгому закону. Тот, кто не ощущал, не пережил сам пустоту и заброшенность, не сможет передать ее. Ненужное, отслужившее свой срок таит в себе невероятную красоту.

Стелла, можешь ли ты понять, что чувствует человек, видевший всю свою жизнь лишь нечто серое и осторожное, вечно пытавшийся сделать что-нибудь значительное, не познавший ничего, кроме усталости, и вдруг осознавший нечто с предельной ясностью? Что ты делаешь сейчас? Ты работаешь? Тебе весело? А может быть, ты устала?»

«Да, — подумал он. — Она целый день работала и немного устала. Она ходит по дому, а вот она раздевается на ночь. Она гасит лампы одну за другой, она бела, как чистый лист бумаги, белая на этом вызывающе невинном, пустом фоне. И вот сейчас светится лишь она одна, Стелла, моя звезда».

\* \* \*

Он был почти уверен, что дом продолжает наклоняться вперед. Глядя в окно, он мог видеть лишь четыре нижние ступеньки. Он воткнул в снег палочки, чтобы замерить, как изменяется угол наклона дома. Вода в подвале не поднималась. Впрочем, это не имело

никакого значения. Он нарисовал подвал и фасад, а сейчас изображал рваные обои в гостиной. Письма ему не приходили. Иногда он и сам не знал, какие письма отправил жене, а какие писал лишь в мыслях. Она была теперь где-то далеко, прекрасный, легкий набросок женского портрета. Иногда она легко двигалась, прохладная, обнаженная, в большом зале с белыми деревянными стенами. Ему никак не удавалось представить себе ее глаза.

Прошло много дней и ночей, много недель. Он все время работал. Когда рисунок был готов, он откладывал его и забывал о нем, тут же принимался за новый. Новый белый бумажный лист, пустая белая поверхность, новый вызов, снова безграничные возможности и полная изолированность от помощи извне. Каждый раз перед тем, как начать работу, он проверял, все ли двери в доме закрыты. Начались дожди, но дождь ему не мешал. Его ничто не тревожило, кроме десятого рассказа в антологии. Он все чаще думал об этом рассказе, в котором автор изображает орудием страха дневной свет и против всех правил помещает его в обыкновенную красивую комнату. Он подходил все ближе и ближе к десятому рассказу и под конец решил изобразить страх и тем самым убить его. Он взял новый лист белой бумаги и положил его на стол. Он знал, что должен сделать рисунок к этому единственному рассказу в антологии, действительно наполненному страхом, и был уверен, что проиллюстрировать его можно лишь одним способом. Это была комната Стеллы, великолепная комната, в которой они жили вдвоем. Он несколько удивился этому, но уверенность его не поколебалась. Он прошелся по комнате, зажег лампы, все до единой. Окна открыли глаза на освещенную террасу. Красивые незнакомые люди медленно двигались группами по двое, по трое, он изобразил их всех мастерскими серыми штрихами. Он нарисовал комнату, пугающую комнату без дверей, которую просто распирало от напряженной атмосферы, белые стены испещряли незаметные затененные трещинки, они ползли дальше и все больше расширялись. Он видел, что огромные оконные стекла готовы лопнуть от давления изнутри, и, торопясь изо всех сил, начал рисовать их и вдруг увидел пропасть, разверзшуюся перед ним в полу, она была черная. Он работал все быстрее и быстрее, но не успело его перо достичь этой черноты, как стены комнаты наклонились и рухнули вниз.

## Письмо идолу {6}

Это было ранней весной. Иногда по вечерам она стояла и смотрела на его окна с синими шторами, за которыми горел неяркий свет. Даже если окно было темным, она продолжала стоять и смотреть. Она ни на что не надеялась, она просто преклонялась перед ним. Безликая пустынность улицы, холод и долгий путь домой ее не смущали. Он никогда ее не видел. Она клеивала в синий альбом все газетные рецензии о его книгах и плакала, если они не были хвалебными. Фотографии на них часто были неотчетливыми и вовсе не льстили ему. Все его книги были о любви. Он писал, не принимая во внимание то, что времена изменились, и она гордилась этим. Он знал, что сокровенный смысл и привилегия любви — тоска, робость и мечта, а также терпение, умение ждать и прощать. Он издавал по книге каждый год, у нее были они все, даже его ранние юношеские произведения.

Она никогда не писала ему. Это давало ей тайное преимущество — возможность продолжать любить мечтательно, упорно, все более зрело. Ее действия не были рассчитаны на жалкую надежду быть замеченной, иногда она открывала телефонную книгу и смотрела на его номер, пока глаза ее не наполнялись слезами; она черпала силы в себе самой, в молчаливом терпении, составляющем достоинство и гордость женщины. Но она уже давно не была женщиной.

Когда начал таять снег, он издал свою лучшую книгу, но критики обошлись с ним жестоко. Статьи об этой книге были настолько ужасны, что она не могла наклеить их в альбом, она сжигала их и плакала. Это случилось в начале апреля, в последующие недели отношения между ними несколько изменились. Неспешно, все тщательно обдумав, она твердо решила, что он нуждается в ней. Она понимала его, она жила по сценарию его книг, все, что он говорил, было эхом ее собственных чувств, настолько согласным, словно они перекликались друг с другом. Она написала ему. Письмо получилось бесстрастным, почти без эпитетов, она сообщила ему, что считает критику его книги несправедливой, сдержанно и довольно неумело она объяснила, что его книги значат для нее, и с женской мудростью,

не свойственной ее возрасту, адреса своего не сообщила. «Он получает тысячи писем, — решила она, с гордостью за себя и за него, — я не хочу быть одним из адресатов, ждущих ответа. Хочу быть незнакомкой, о которой он невольно будет думать».

Отправив письмо, она почувствовала огромное облегчение, ей захотелось бегать, прыгать. Она стала бегать по парку, носилась от дерева к дереву — там, где ее никто не мог видеть, потопталась на мокром снегу у канавки и сунула руки в песок.

Много дней она почти не думала о нем и ни разу не пошла поглядеть на его окно. Для нее это было все равно что изменить ему в чем-то, и под конец она начала перечитывать одну за другой его книги в том порядке, как они выходили, словно доказывая ему свою верность. Но всех этих книгах — мужчина и женщина, они с робким обожанием приближались друг к другу сквозь сотни страниц, но их окончательное сближение так ни разу и не было описано.

Однажды ночью она проснулась, в страхе затаив дыхание, понимая, что ждала слишком долго, что он забыл ее. Она встала, чтобы написать еще одно письмо, в котором умоляла его продолжать творить, несмотря ни на что. «Не придавайте значения их пасквилям, — писала она, — они равным счетом ничего не понимают. Не понимают, что именно теперь, когда любовь так дешева, доступна и лишена тайны, защищать чистое и высокое — мужественный поступок, и кто-то должен совершить его». Она попыталась объяснить: то, что для других было всего лишь анатомией, он превратил в храм, но у нее это получилось неуклюже, она зачеркнула фразу и начала писать заново. Внизу маленькими буквами приписала свой адрес. Она побежала к почтовому ящику на углу, постояла, глядя на него. Крышка ящика была полуоткрыта, словно готовый укусить рот. Помедлив, она затем быстро опустила письмо, и крышка с шумом захлопнулась. И в ту же секунду она честно и без отчаяния поняла, что пути назад нет и что ее, скорее всего, ждет разочарование.

\* \* \*

Он сразу же ответил ей. Не дал ей времени подготовиться, ждать. Да, на коврике в прихожей лежало письмо от него. Она представляла

себе, что если он ответит, если в самом деле найдет время, если будет к этому расположен или решит поставить точку в своем произведении и напишет ей, она пойдет с этим письмом в какое-нибудь красивое место, например к морю, и откроет его там. Но вместо этого она торопливо вскрыла конверт прямо в прихожей и прочла целую страницу, написанную от руки, залпом, затаив дыхание. Он проявил себя рыцарем. Он писал письма так же, как книги.

Не считая за труд ответить ей, он, обращаясь именно к ней, заверял ее, что всегда будет смотреть на женщину как на нечто прекрасное и чистое.

Мир вокруг нее незаметно, но целиком и полностью изменился. Она даже ходила теперь как-то по-другому, неторопливо, рассеянно и пристально смотрела на себя в зеркала и стекла витрин, погружаясь в свою женственность, ни на что не рассчитывая, ничего не ожидая. «Какое важное событие, — с благодарностью думала она, — сколько перемен! Я не успела долго страдать». Работа сейчас мало значила для нее, она выполняла ее автоматически, словно в полусне. Ей приходили на ум изящные старинные слова, ей доставляло удовольствие делать красивые движения или просто сидеть молча, сложив руки на коленях. Это было счастливое медленное время, он снова дал ей возможность жить, наслаждаясь каждой минутой. Она не стала отвечать ему сразу, ей доставляло удовольствие отдалять желаемое. Она знала, что у ног ее лежит роза, но не торопилась поднять ее.

Наступило время дождей, долгих весенних дождей, смешанных со снегом. Лед на море тронулся. И наконец, однажды ночью, она написала ему, очень торопливо и лучше, чем писала когда-либо в своей жизни.

Он не ответил. Время шло, а он все не отвечал, нетрудно отличить молчание ожидания от молчания, предвещающего конец.

Лишь только теперь, испытывая жестокое разочарование, не дающее ей даже утешения скорби, она, казалось, поняла, на что прежде надеялась. Он написал ей только потому, что ему было тяжело, когда он не мог работать, когда сомневался в себе и был одинок. Это могла бы быть долгая переписка, обмен прекрасными письмами, прелесть и смысл которых приобретали особое значение, оттого что они никогда не встретятся, ни одного раза до самой смерти. Во все

времена существовала такая переписка между человеком искусства и женщиной, драгоценные, вдохновляющие письма представляли потомкам художника и его творения в совершенно новом свете. А возможно, и женщину, писавшую ему.

Она все разрушила. Сознать это ей было невыносимо. Она села в такси, взбежала по лестнице и нажала звонок его двери. Было восемь вечера. Она забыла привести себя в порядок, не думая ни о чем, вошла и с серьезным видом сказала:

— Это я писала вам.

Ее серьезность была почти вызывающей и придавала ей новое, какое-то особое достоинство. Она смотрела на него, и все расплывчатые газетные снимки смешались в одну кучу, быстро, как колода карт, он больше не походил на писателя.

— Весьма любезно с вашей стороны навестить меня, — сказал он, и она подала ему свое пальто.

Комната была большая. Синие шторы занавешивали окна от стены до стены и падали на темно-красный пол. Все цвета были глубокие и сдержанные, низко висящие лампы излучали мягкий свет, при котором лица становятся красивее. Комната была безликая, с претензией на высокопарную роскошь и уединенность. Единственной вещью, которая не вписывалась в общую обстановку, была большая пятнистая леопардовая шкура. Пасть зверя была широко раскрыта, словно ему не хватало воздуха. Обойдя шкуру, она подошла к дивану.

— Хотите выпить что-нибудь? — спросил он. Она села и ответила:

— Спасибо.

Диван был намного ниже, чем она рассчитывала. Она чуть не потеряла равновесие, почувствовала себя смешной и на секунду утратила свое достоинство — небольшое и весьма ранимое достоинство, которое только что было присуще ей. Она хихикнула и начала рыться в своей сумочке. Не спросив, что она будет пить, он смешал для нее вермут со льдом, а себе налил лимонный сок.

Мысли ускользали от нее, кусочки льда бряцали в стакане, она медленно потряхивала его, подбирая слова. Наконец она сказала то, о чем уже писала ему:

— Ваша последняя книга — лучшая из всех написанных вами.

Он ответил, что его радуют ее слова. Горло у нее снова сжалось, она стала трясти стакан с кусочками льда и с усилием сказала:

— Есть вещи, к которым можно подходить по-разному. Например, к чистоте чувств, к самому главному. Я хочу сказать, что бы ни случилось, какие бы ни были времена, если даже наступит полная свобода и можно будет говорить и показывать все на свете, я не сторонница таких новшеств. Это безобразно. И слова всегда имеют большое значение.

— Вы правы, — согласился он. — Слова имеют большое значение.

Он слушал ее очень внимательно. По правде говоря, глаза у него были ужасно маленькие, но ресницы очень черные. Она торопливо продолжала:

— То, что вы описываете в своих книгах, почти полностью исчезло. Это было в иную эпоху! А сейчас заболтали то хрупкое и нежное, что не терпит пустой болтовни, не правда ли?

Он задумчиво смотрел на нее, а она с горячностью добавила:

— Я хочу сказать, что это вызывает лишь обратное! Пропадает всякое желание, а жаль, не правда ли?

— Интересный ход мыслей, — медленно и отстраненно сказал он.

Он поднялся и спросил, не хочет ли она послушать музыку.

— Спасибо, хочу, — безразлично ответила она.

На вопрос, какую музыку, она ответила:

— Любую.

— Что ж, у меня есть всякая. Скажите, что вы предпочитаете. Выбирайте.

В этот момент ей ничего не приходило на ум, кроме Бетховена и «Битлз», и она ответила:

— Выбирайте сами. Так же, как выбрали, что мне пить.

Прозрачная, очень холодная и мягкая музыка, задумчивая и равнодушная, наполнила комнату. Она решила больше ничего не говорить, и лицо ее сразу изменилось, как-то сжалось, в нем появилось что-то детское. Ей больше не хотелось ублажать его.

— Вы обиделись на меня? — спросил он. — Действительно было глупо с моей стороны предложить вам вермут. Быть может, вы предпочитаете виски или коньяк? Или еще что-нибудь?

— Нет, нет, ни в коем случае! — торопливо ответила она, задыхаясь от смущения и раскаяния.

«Почему он говорит не так, как пишет? — промелькнуло у нее в голове. — Он любезен, но это холодная, ничего не значащая любезность. Так утешают того, с кем вовсе не считаются, кто вел себя скверно или еще не вышел из детского возраста».

— Эта шкура из Африки? — спросила она.

— Кажется, из Индии, — ответил он.

«Вот он снова отдалился. С писателем не болтают о том о сем. С ним говорят о значительном, а я думаю только о себе, вовсе не о нем».

Они оба начали говорить разом, потом оба замолчали и поглядели друг на друга.

— Извините, — сказал он, — вы что-то хотели сказать?..

— Нет, ничего особенного.

— Продолжайте, прошу вас...

— Я просто подумала, что делает человек, что делает писатель, если его не поняли, если у него скверно на душе и он не может писать? Должно быть, ужасно читать злые статьи. И много ли найдется людей, которые понимают, каково это и как важно не...

Его лицо помрачнело, и она смущенно замолчала, ее на мгновение охватил непонятный стыд, и музыка вдруг тоже умолкла.

Напряжение достигло предела, но тут писатель протянул руку, на мгновение коснулся ее руки и уважительно спросил, какие из его книг она читала. Она сделала долгий глубокий вдох, посмотрела ему в глаза с мрачным обожанием и ответила:

— Все. Все книги, которые вы написали. Они стоят на отдельной полке, их нельзя смешивать с обычными книгами. Я живу по ним, хотя это нелегко. Я верю в них. Я ваша ученица и последовательница.

Это странное и высокопарное слово «последовательница» соединило их так же явно и призывно, как молчание после его чужой и холодной музыки. «Мне не надо больше ничего говорить, — подумала она, — я сказала нужные слова, они ему понравились».

Наконец он стал говорить так же, как умел писать, и слова его были обращены именно к ней.

— Мой дорогой друг, — сказал он.

И эти драгоценные слова замерли, ожили и наполнили комнату. Продолжать разговор было уже невозможно, атмосфера была слишком



наэлектризована. Они одновременно поднялись и услышали, как кто-то открывает дверь и входит в прихожую. Он тихо и поспешно сказал:

— Вы моя защитница, я не забуду вас. Осторожно взяв свою гостью за локоть, он проводил ее в прихожую, подал ей пальто и открыл дверь. Она не разглядела того, кто вошел в квартиру, это был кто-то грузный и высокий, она заметила только его ботинки. Вот она оказалась уже на лестнице, потом на улице. Ночь была светлая и совсем теплая. Она шла по улицам и думала: «Мой друг. Моя защитница, я не забуду вас». Этими словами все сказано, о чем еще можно было говорить! И она совершенно искренне решила, что все прекрасно. Она пришла домой, легла в постель и спала всю ночь так спокойно, как спят после успешно законченной тяжелой работы.

Наступило воскресное утро. Она долго лежала в постели, вызывая в памяти каждую фразу и молчание после нее, движения, краски, освещение, холодную музыку... Но все слилось и стало уплывать прочь дальше и дальше, такое же нереальное, как и в его прекрасных книгах. Она свернулась калачиком, ласково обхватив руками плечи, и снова уснула, полная спокойного счастья и ожидания.

## Любовная история {7}

Он был художник, но в конце концов выставки ему надоели, они приводили его в уныние. Однако сейчас, войдя в маленькую проходную комнату биеннале, он резко остановился, словно внезапно пробудившись ото сна, и замер в немом восхищении перед почти натуралистической мраморной скульптурой в виде женского зада. Это была красивая работа из розового мрамора; изображенная часть тела начиналась чуть выше колен, как и классический торс, и заканчивалась над пупком. Скульптор поставил задачу передать лишь этот великолепный, совершенный зад. Без сомнения, ему знакома была Венера Каллипига<sup>[9]</sup>, Венера с прекрасным задом, приподнимающая свои одеяния и любующаяся самой красивой частью своего тела. Но тут был изображен лишь один зад без всяких реквизитов, округлый фрукт из розового мрамора, плод любви и восхищения мастера был прекрасен сам по себе.

Скульптура стояла на черном цоколе примерно метровой высоты, серые стены маленькой проходной комнаты освещались светом, падавшим из окна, выходящего на север. Стена напротив окна, единственное место для размещения экспозиций, была занята полотном, похожим на кусок коричневого обгорелого пластика, так что скульптуре ничто не мешало. На темном фоне, освещенная прохладным дневным светом, она казалась жемчужиной, отливающей розовым блеском, свет обволакивал и оттенял мрамор. Художнику этот прекрасный зад казался самым чувственным и почтенным символом женщины из всех, какие ему довелось видеть. Посетители иногда проходили через эту комнату, не останавливаясь, а художник стоял, погруженный в глубокую задумчивость, наконец-то околдованный произведением искусства. Ему всегда хотелось испытать это ощущение.

У этого зада были довольно пышные и в то же время сдержанно-строгие формы, половинки прилегали друг к другу, как закругляющийся у ложбинки персик, линии изгиба бедер были легкими и плавными, легкие тени ложились на них, как на щеки юной девы. Несмотря на явную чувственную радость, которую скульптор

выразил в этой работе, в ней ощущалась какая-то удивительная недостижимость. Этот зад мог бы служить символом вечности.

Художник не дотрагивался до мраморного изваяния. Он просто стоял и смотрел, как менялись ложившиеся на скульптуру тени, ему казалось, будто эта женщина незаметно двигалась, поворачиваясь к нему.

Внезапно художник вышел из комнаты, он решил узнать цену этого экспоната.

Ему сказали, что автор скульптуры — венгр и что работа эта очень дорогая.

У человека редко возникает безраздельное и всепоглощающее желание, заставляющее забыть все на свете, преодолевающее все остальное. Художник желал во что бы то ни стало завладеть этим мраморным задом и увезти его в Финляндию.

Он вернулся в гостиницу. Это была маленькая гостиница в одном из переулков возле площади Святого Марка. После ослепительного дневного света лестница показалась ему совсем темной, он поднимался медленно, думая о том, что сказать Айне. Было очень жарко, и Айна лежала на кровати нагишом.

— Ну и что ты там видел? — спросила она.

— Ничего особенного. Ты выходила на улицу?

Она протянула руку к столу и показала ему пригоршню украшений — раковин и блестящих разноцветных стекляшек, сказав, что они достались ей почти даром.

— Почти даром! — повторила она.

Айна разложила бусы на животе и игриво засмеялась.

Он посмотрел на нее огорченно.

— Но ведь они дешевые, — заверила его она. — Ты знаешь, я зря денег не трачу!

Она подошла к нему, и он, как всегда, обнял ее, коснулся руками ее теплого зада, не смея ни слова сказать про скульптуру из розового мрамора.

Когда вечером стало прохладнее, они вышли прогуляться, пошли, как всегда, к площади Святого Марка. Айна повторяла то, что слышала от него в первые дни их пребывания здесь, она говорила о старинном золоте, патине на мраморе, о том, как венецианцы

дерзнули всю эту красоту построить. Потом она повернулась к нему и в свойственной ей одной манере сказала:

— Как сильно, должно быть, они любили то, что говорили, и как сильно любили друг друга! Иначе как могло бы все это появиться?

Он поцеловал ее, и они пошли дальше. Зашли в свой любимый дешевый ресторанчик, заказали спагетти и красное вино. Здесь сидели несколько туристов, но все же это был настоящий итальянский кабачок. Синева за окном быстро сгущалась.

— Ты счастлив? — спросила Айна, и он откровенно ответил, что счастлив.

Он не смешивал благодарность за то, что имел, с тем, что хотел иметь. Для самых смелых желаний в его сердце была особая ниша. Но все это время, когда они проходили по узеньким улочкам, когда ели, говорили и смотрели друг на друга, — словом, весь вечер он складывал цифры, подсчитывая расходы, понимая, что они не смогут увидеть все намеченные города. Если он купит этот красивый зад, им придется тут же возвращаться домой.

— О чем ты думаешь? — спросила Айна.

— Да, собственно, ни о чем, — ответил он.

Они вышли из ресторанчика и побрели по тем же самым переулкам и мостам; улочки были кривые, и, блуждая по этим лабиринтам, они не раз возвращались к одному и тому же месту, не зная толком, куда попали.

— Смотри, дворцы отражаются в канале! — воскликнула слегка захмелевшая Айна. — Погляди на зеленые водоросли, поднимающиеся из глубины, они гниют. Вон тот дворец медленно-медленно опускается в воду, ряды окон один за другим потихоньку тонут. Ты любишь меня?

— Люблю, — ответил он.

— Но ты все время о чем-то думаешь.

— Да, думаю.

Она остановилась на мосту, чтобы рассмотреть, но ей было трудно сосредоточиться.

— Скажи, что тебя тревожит? — медленно и преувеличенно торжественно спросила она его.

Вид у нее был довольно комичный: туфли на высоких каблуках, икры ног неестественно напряжены, коленки торчат, на шее

туристские побрякушки, на лбу локончики штопором, закрученные на шпильках, в руке маленькая смешная сумочка. Он просто онемел, глядя на ее ошеломляющую женственность. По мосту мимо них в теплой темноте проходили люди. «Самое удивительное, — рассеянно подумал он, — что здесь нет никакого транспорта. Все ходят пешком, слышен лишь стук шагов».

— Айна, — сказал он, — я думаю о скульптуре, которую видел на биеннале. Это вещь из мрамора, мне хочется купить ее. Иметь ее. Ясно тебе? Увезти ее домой. Но стоит она дорого.

— Ты хочешь купить скульптуру? — ошеломленно спросила Айна. — Но разве это возможно?

— Она красивая, — сердито ответил он, — прекрасная работа.

— Господи боже мой! — воскликнула Айна и начала спускаться по ступенькам.

— Она стоит очень дорого, — с горячностью повторил он, — пришлось бы потратить всю стипендию! Если я куплю ее, нам придется возвращаться домой.

Они прошли мимо нескольких запертых дворцов, выроставших из воды. Мимо них проплывали гондолы с зажженными фонарями. Взошла яркая луна. Ощущение печальной, щемящей душу красоты смешалось с любовью к художнику, и она вдруг сказала, как нечто само собой разумеющееся:

— Раз уж тебе так ужасно хочется купить эту скульптуру, возьми и купи ее! Ведь иначе ты все время будешь думать о ней.

Айна остановилась, ожидая выражения благодарности, и, когда он обнял ее, закрыла глаза и подумала: «До чего же легко любить!»

— И что представляет собой эта скульптура? — прошептала она.

— Торс.

— Торс?

— Да, собственно говоря, только один зад. Из розового мрамора.

Она высвободилась из его объятий и повторила:

— Зад? Один зад, и больше ничего?

— Ты должна увидеть эту вещь, — объяснил он. — Иначе тебе меня не понять.

Он притянул ее к себе и попытался удержать, продолжая рассказывать, подыскивая нужные слова, но она не захотела слушать.

Они молча пошли в гостиницу. Подошли к площади, потом к своей улице. Луна ярко светила, но легче им от этого не было. «Какая банальная история: я знаю, что она сделает. Она разделется за ширмой и попятится к кровати так, чтобы я не смог увидеть ее зад. Как все это глупо».

Они вошли в гостиничный номер. По вечерам они обычно не включали электричество: красноватый полусвет, проникавший с пьядцы в переулок и наполнявший их комнату, был так красив. Внизу по переулку ходили люди и напевали: «Belissima, bellissima...»<sup>[10]</sup>

— Послушай, — сказал он, — это не туристы, а местные. Они не возвращаются с какого-то праздника. Им просто хочется петь...

Ему хотелось, чтобы ей понравились эти слова, для того он их и сказал. Но она ответила только:

— Да.

«Плохо дело, — подумал он, — худо будет, если я сейчас обниму ее в постели, а если не обниму, будет еще хуже. Я не могу сказать ей, что хочу купить скульптуру. Вообще ничего не могу».

Художнику все надоело, он сел на край кровати, он ужасно устал. Айна молча быстро разделась за ширмой. Потом она начала ходить по комнате, что-то делала, с чем-то возилась и наконец подошла к нему с двумя рюмками вина. На ней был пеньюар. Она дала ему одну рюмку, села напротив него на пол и сказала серьезно, почти строго:

— Я придумала.

— В самом деле? — ласково спросил он с облегчением.

Она наклонилась вперед и пристально посмотрела на него, сдвинув брови.

— Мы украдем ее, — заявила она. — Проберемся туда и просто-напросто украдем ее. Я не побоюсь.

Он взглянул на ее лицо, на которое падал свет с пьядцы, и понял, что она говорит серьезно. На мгновение он задумался, а потом спросил:

— Ты думаешь, мы сумеем это сделать?

— Ясное дело, сумеем! — воскликнула она. — Мы справимся с чем угодно. Ведь она стоит на первом этаже, я знаю. И окно выходит в парк. Мы вырежем стекло алмазом. Надо купить бриллиант, малюсенький. Ты сможешь унести скульптуру или придется раздобыть тележку?

— Прекрасно! — обрадовался художник.

Он встал с кровати, подошел к окну и стал прислушиваться к шагам на улице. Ему вдруг захотелось рассмеяться, выбежать на улицу и отправиться среди ночи вместе со своей любимой куда глаза глядят. Он повернулся к Айне и с серьезным видом сказал:

— Думаю, нам не следует этого делать. Мы должны отказаться от этой затеи. Подумай о скульпторе. Этот венгр даже не будет знать, что его работа находится в нашей мастерской, в Финляндии. К тому же ему, быть может, нужны деньги!

— Правда, — согласилась Айна. — Жаль его.

Она положила пеньюар на стул и легла в кровать. Они лежали рядом, и она спросила:

— О чем ты думаешь?

О скульптуре, — ответил он.

— Я тоже думаю о ней, — сказала Айна. — Завтра мы пойдем и вместе поглядим на нее.

В первый раз это случилось в молочной, пока он стоял, не спуская глаз с вереницы булочек к кофе под стеклом прилавка, стоял, совершенно не заинтересованный этой здешней выпечкой и только чтобы не смотреть на продавщицу. Внезапно и с подленькой остротой узрел он себя самого, но отнюдь не в зеркале, он и вправду встал на миг рядом с самим собой и спокойно подумал: «Вот стоит тощий, боязливый, сутулый парень и покупает сыр, молоко и ветчину». Феномен этот продолжался всего секунду.

После этого он почувствовал неприятное волнение и по дороге домой раздумывал, не перенапряг ли глаза, работая над последним текстом, буквы были совсем маленькими. Он положил свои покупки между оконными рамами, где было холодно, и сел за стол, чтобы закончить работу, — он открыл готовальню и обмакнул в тушь самое тоненькое перо.

Тут это снова охватило его; сильно, с напряжением всех чувств он опять стоял рядом с самим собой и разглядывал парня, который выводил тонкие, аккуратные параллельные линии, парня, который ему не нравился, но который пробудил его интерес. На этот раз это длилось чуточку дольше, быть может секунд пять.

Он начал мерзнуть, но руки его не дрожали, и он закончил работу, стер резинкой грязь и положил картон в конверт. Все время, пока он надписывал адрес и приклеивал почтовую марку, он был недалеко от того, чтобы снова ускользнуть от самого себя и встать рядом, наблюдая за человеком, который запаковывал бандероль совсем близко от него. Он надел пальто и шляпу, чтобы пойти на почту. Внизу, на улице, его охватила дрожь, и он крепко, до боли стиснул челюсти. На почте ничего не случилось. Он заполнил бланк и купил марки. Он решил прогуляться вдоль гавани, хотя было дождливо и довольно холодно... Ведь он — спокойный целеустремленный человек, совершающий недолгую прогулку, чтобы отвлечься, рассеяться и привести в порядок мысли. Существует феномен усталости, что абсолютно объяснимо, это проходит, когда прекращаешь рыться в этом и пугать самого себя.



Он старался не смотреть на встречных. С моря дул ветер, товарные склады вдоль набережной были закрыты; он все шел и шел, пытаясь занять свои мысли чем-то, что было ему интересно. Ему не пришло в голову ничего иного, кроме букв и шрифтов. Он попытался уловить и сохранить малейшие обрывки своих хоть на что-то пригодных мыслей, но единственным, что в самом деле беспокоило его, была его работа. В конце концов он позволил своему беспокойному уму отдохнуть на спокойной гладкой поверхности букв, из которых складывался текст безупречной красоты, тут необходимы были дистанция и равновесие. Так уж обстоят дела с буквами, воздух между ними — самое главное. Он имел обыкновение всегда обводить буквы тушью, начиная с нижнего угла — так ему удавалось не вникать в смысл слов.

Выйдя к мысу, он почувствовал себя спокойнее. Давным-давно, когда он еще был склонен к амбициозности и испытывал разочарование, кто-то сказал, что он не любит свои буквы и что это заметно. Это больно его задело. Текст, пусть даже с неловко начертанными, не обведенными тушью буквами, представлялся ему как нечто живое и значительное. Для него залогом успеха в работе служили деловитость и чистота. Текст способен так же достичь точной научной завершенности, как математика, ответ на этот вопрос может быть лишь одним-единственным.

Теперь ветер дул ему в спину. Он прошел мимо объявления у парома и мельком заметил, что буквы там топорны и уродливы. Его внимание внезапно рассеялось, и на миг возникло ощущение страха. Он попытался разглядывать шлюпки на набережной, железные кольца и швартовы, все равно что... Точь-в-точь как в первые минуты в чужой комнате ищешь тему для разговора, хоть что-то общее среди безразличных, безликих предметов обстановки. В конце концов он попытался думать о сегодняшней газете, о последних тревожных сообщениях, но перед глазами были лишь обрывки каких-то неудобочитаемых текстов с черными аляповатыми заголовками. Он побежал, и тогда это опять вернулось; он остановился и сделал широкий шаг в сторону, а потом дальше они пошли уже вместе. На сей раз это было уже совершенно очевидно и длилось, быть может, одну минуту. Одна минута — это долго. Он увидел, как собственное пальто развевается в его ног на ветру, и линию заостренного профиля

из-под шляпы, профиля господина, для которого ничто не имеет значения, господина, что вышел из дома и прогуливается, потому как не желает идти домой. Его интерес граничил с презрением, и ему было любопытно: испытывал ли страх, а также презрение тот другой, что шел рядом с ним. Он почувствовал, что ему стало тепло, им владело какое-то странное нетерпение. Усталость исчезла, и он видел лишь мокрый асфальт; он продолжал машинально идти, его сердце билось быстро и сурово. Никто никогда прежде не смотрел на него так прямо и заинтересованно. Он зашел в парк и сел на скамью так, как обычно делают в ожидании кого-то; сердце его все еще стучало, и он не осмеливался оторвать взгляд от земли. Ничего не случилось, он ждал долго, и ничего не случилось. Он не пытался понять, он только ждал. Когда дождь усилился, он разочарованно поднялся и отправился домой. Еще не вечер, однако же он тотчас в величайшей усталости заснул и крепко проспал до следующего утра.

\* \* \*

Он проснулся в каком-то необычном настроении, которое не признал как ожидание. С величайшей тщательностью оделся, побрился и привел комнату в порядок. Ему почудилось, что он как будто прислушивался к дверному колокольчику или телефонному звонку, и он отключил их оба. Сегодня он не работал. Он изо всех сил так тихо и так медленно двигался взад-вперед по комнате и, шагая, приводил в порядок те мелкие безделушки, что выставлены для того, чтобы всегда были под рукой и радовали глаз. Он переставлял их, возвращал обратно и непрерывно прислушивался, вынул из шкафа два красивых стакана и убрал их снова. День прошел.

Это случилось только в сумерках, когда он смотрел в окно. Они снова стояли рядом, совершенно молча, дабы не нарушить равновесие в этом странном смещении, путанице, или каком-то ином состоянии, — как еще можно назвать то, что произошло с ним?.. Он опять испытывал мучительное презрение, но в то же время сочувствие к тому, что его посетило, на душе у него потеплело. Человек он был сильный. Через несколько минут он снова остался один, но в те минуты он был очень счастлив.

Он был один и весь этот день, и всю эту неделю. Он приготовился к новой встрече, но ничего не произошло, он был словно одержим разочарованием, да и бесконечным ожиданием тоже, и не думал ни о чем другом, кроме как отойти в сторону, отстраниться. Он взывал к этому в своих мыслях — отойти в сторону... Он возвращался в те места, где они были вместе, и подолгу ждал. Он пытался вспомнить книги, где говорилось о двойниках и раздвоении личности, но уже не помнил имен персонажей и не подумал справиться об этом в книжной лавке или в библиотеке. Встреча, которую он готовил, была невероятно личной, тайной. Ее нельзя было ускорить и нельзя объяснить, единственное, что он мог сделать, это абсолютно трезво и отстраненно воспринимать самого себя. Он был абсолютно уверен, что он — получатель, от него не исходило ничего, кроме ожидания. И он ждал.

В конце концов ему удалось словно бы выступить из самого себя, не испытав даже презрения к тому, кого оставил, они стояли бок о бок, как прежде, и выпядывали в окно. Он дозволил любопытству и изумлению окутывать себя, словно теплой волне, что горела у него в руках, у него были уже совсем новые руки. Затем они оба скользнули назад друг в друга; это произошло в состоянии усталого сопротивления и оставило за собой ощущение разочарования, слабого и горького.

Он был один в комнате, он подбежал к двери, а потом назад к окну, он был вне себя от чувства всепокинутасти, брошенности. Стиснув зубы, он раз за разом думал: «Он больше не смотрит на меня, почему он не смотрит на меня?» Он вспомнил рассказ о двойнике, который убил самого себя. Он не мог работать.

Дождь прекратился, день был прохладным и ясным. Он отправился на чердак за сапогами и теплым пальто и, выйдя из дома, сел в автобус и поехал туда, где кончался город. Много дней бродил он вокруг по окрестностям, где застройка становилась реже и носила следы уродства и произвола. Каждое утро он возвращался туда, он непрерывно ходил, отдыхая иной раз на скамье, в каком-нибудь кафе у железнодорожного переезда или фабрики. Безличное и неопределенное окружение было, возможно, подготовкой ко встрече с другим... быть может, неким призывом. Весна, столь же неопрятная и меланхоличная, приближалась так же неспешно.

Он не знал, какие чувства он испытывал к тому, кого ждал, кому уделил место в своей душе и кому открылся; иногда тот был врагом, а иногда — другом. В кафе ему случалось заказать две чашки кофе; то было также призывом. Иногда кто-то пытался с ним заговорить, чаще здесь, в этих краях, нежели в городе. Тогда он тут же поднимался и уходил.

На этих необжитых, застроенных наполовину и брошенных выселках ему казалось, будто он видит гигантские отбросы города, ту волну грязной пены, что пробивается сквозь доски и остается там. Также выплескивались буквы, слова, они были во всех объявлениях, афишах, плакатах, на каждом дощатом заборе, а стены и деревья несли на себе черные слова, что преследовали его, но он их не читал. Мел, и нож, и смола выписывали слова, взывавшие к нему и гнавшие его все дальше в толкотню улиц, меж заборами, и стенами, и деревьями, что все носили след написанных слов, и где, проходя сквозь строй, он мог получить удар палкой по спине<sup>[11]</sup>. Он ходил кругами, нигде не находя возможности остаться в стороне и в пустоте, нигде не обретая равновесия. Он начал думать о себе в третьем лице: «он». Он бродит здесь в ожидании, он ждет, что я приду; блуждая среди этих кошмарных слов и бескрайних полей, окаймленных деревянными домишками и свалками, он быстро проходит мимо встречных и только и ждет, что я увижу его и позабочусь о нем. Длинные ряды картин все снова и снова проходят мимо него, бараки, и дороги, и перекрестки, и все они, непрерывно и скорбно повторяясь, будто потерянное время, схожи друг с другом.

Последний снег растаял. Однажды он проходил сквозь редкую березовую рощу где-то среди больших дорог. И тут наконец его осенило! В приступе бурного счастья он стоял, готовый идти дальше; ныне жили не только его руки, но и голова, живот, все... Его тело целиком горело от огромной нерастроченной силы. За рощей, у большой дороги, он увидел большие черные буквы, он хотел прочитать и понять их, он начал идти... именно тогда и я начал идти. Я хотел пойти дальше, я начал шагать все быстрее и быстрее, я не знал, что можно испытывать такие чувства. Я был вне себя от радости и нетерпения и знал, что времени мало, слишком многое надо было сделать. Один-единственный раз я оглянулся назад, и там бежал он, спотыкаясь на мокрой земле, сутулый и с разинутым ртом, словно

крича мне, чтоб я подождал. У меня времени на него не было, потому как он был один, но я смотрел на него. Я не протянул руку, этого я сделать не мог, но он бросился навстречу моей руке и схватил ее, и прежде чем меня успело охватить презрение к нему, было уже слишком поздно, мы были уже одним человеком, одним-единственным, стоявшим под березами в ожидании.

## По весне<sup>{2}</sup>.

По утрам, еще до рассвета, снегоочистители лихо объезжают квартал; широко и глухо скребя, прокладывают они дорожки на тротуарах. И ничто не делает отдых и тепло столь глубоким, как то, когда прислушиваешься к звукам уборки снега и, уже проснувшись, переворачиваешься на другой бок и снова засыпаешь. Иногда я лежу поперек на моей широкой кровати, иногда наискосок, мне нравится, когда вокруг много места.

Все больше и больше снега сбрасывается во мраке и непременно убирается прочь, а днем с моря пробирается туман, и снежные туманы стояли у нас нынче долгое время, и приходилось бродить в полумраке.

Ночью была гроза, возможно, то была гроза — несколько сильных толчков, не далеких ударов грома, а скорее сотрясений, случившихся прямо в нашем доме. Утром небо казалось совершенно прозрачным и было преисполнено переливающимся через край света, а позднее, днем, снег начал таять. Тяжелые мокрые груды снега падали с крыши вниз, а там шел непрерывный процесс сдвига и преобразования; капли, барабанившие по листовому железу, и текущая вода, и все время этот призывный побуждающий сильный свет. Я вышла на улицу. Звук низвергающейся воды был почти страшен, вода журчала и струилась по тротуару, и все время слышались шлепки падающего снега.

При этой обнаженности света все следы зимы виднеются не только на лицах, всё вокруг становится отчетливым и, пронизанное светом, выворачивается наизнанку. Все выходят из своих нор. Возможно, они пережили зиму в страхе или, быть может, в одиночестве, по желанию либо по принуждению, но теперь они выходят и пытаются обрести себя на берегу, у воды, так они поступают всегда.

Легче пройти мимо друг друга под покровом холода и мрака, мы же остановились и говорили о том, что настала весна. Я сказала:

— Посмотри когда-нибудь ввысь! — Но я вовсе не это имела в виду...

А он спросил:

— Как поживаешь? — И ничего особого не имел в виду.

Так я полагала.

Мы не могли избавиться друг от друга, так как шли одним и тем же путем — вниз, за угол, а там, по крайней мере, никаких переулков не было. Как течет и капает повсюду, а солнце светит и слепит глаза, все повторяется снова, подумать только, на что способна природа!.. Ведь абсолютно невероятно то, что всегда находится еще одна возможность... и я спросила:

— Есть у тебя кто-нибудь или ты один?

— Нет, у меня никого нет, — совершенно обыденно ответил он.

А я добавила: мол, это жаль, вот так по весне. Итак, мы обменялись сообщением, которое имело известный смысл, даже если было очень кратким, и расстались не без чувства собственного достоинства. Я пошла дальше, наискосок через площадь и наблюдая, как все струится и стекает; вода в водосточных канавах была почти чистая, а под причалами солнце буравило лед, что сгорал дотла, распадаясь на тонкие и острые как иглы пласты. Я слыхала, что именно грозовая погода заставляет лед вскрываться. Ему, кого я встретила, можно было позвонить по телефону. Он мог сопровождать меня вниз к берегу, но возможно, все-таки и не мог. Большие лужи были свободны от воды возле клоак, туда стекался весь мусор — ботва с полей, листья и прочие отходы, вся городская грязь и сор, что пузырились и сверкали в солнечном свете. Преисполненные надежд, они, качаясь на вольных волнах, плыли к берегу, но, быть может, что-то мало-помалу гнало их туда, а огромные волны разделяли их и помогали им, все возможно.

Я шла вдоль берега, окаймлявшего город, в котором жила, пока не оказалась у самого дальнего мыса. И там были они все, люди зимы, что казались черными в этот чудовищно ослепляющий весенний день. По одному, по двое, либо каждый сам по себе сидели они на ступеньках, ведущих в гору, с поднятыми вверх лицами, застывшие и торжественные, словно птицы. Быть может, все-таки ему должно было пойти со мной. Они стояли на причалах, только и делали, что стояли совершенно молча, каждый погруженный в самого себя. Лед был совсем темный, он казался мягким и податливым, а весь ландшафт покоился словно на пороге или, быть может, на волне, готовый двинуться, решиться на что-то, — примерно так думала я, думала быстро и неясно. Затем я решила позвонить ему завтра, сегодня.

Ночью я услышала: снова работают снегоочистители. Утро было пасмурным и очень холодным. Я не позвонила; что, собственно говоря, я могла бы сказать? Снова пошел снег, окутывал комнату, наполнял приятным полумраком; сугробы всё росли и росли, снег заглушил все звуки, кроме скрежета снегоочистителей внизу на улице... Вот так обстоят дела с этой долгой весной здесь, в нашей стране.



## Тихая комната<sup>{10}</sup>

Позже они поднялись наверх в квартиру, полиция уже побывала там, но сам он оставался еще в больнице. Он жил на третьем этаже, и табличка с его именем была такой же, как у соседей, а на двери красовался точно такой же рождественский венок, зеленый брусничник из пластика. Никакой почты на коврике в прихожей не было. Они вошли в большую общую комнату<sup>[12]</sup>, озаренную лучами южного солнца, с ковром, покрывающим целиком весь пол, и современными модными обоями, а вот мебель была получена по наследству. Все было очень опрятно и красиво, так же и ванная. У него был холодильник и стиральная машина на кухне, а шкафы сияли чистотой.

— Ты можешь понять? — сказала она. — Я вообще не понимаю, почему он сделал это. И кроме того, он же старый! Они ведь не делают этого в таком возрасте.

Она была крупная, в красивом наряде для прогулок, который сама и сшила. Ее брат пожал плечами и подошел к окну. Вид из окна был приятный, угол парка, а дальше в стороне открытый школьный двор. Комната очень тихая. «Тишина такого же рода, как и у меня дома, — подумала я. — Словно бы нетронутая».

Он подошел к шкафу, достал оттуда халат и положил его в сумку, которую принес с собой.

— «Домашние туфли, — прочитала в списке его сестра. — Туалетные принадлежности и пижама». Да, ведь он перешел потом в отдельную палату, и еще они сказали: он хочет, чтоб ему принесли его очки.

Глубоко в шкафу стоял большой ящик, полный каких-то картонок, и кожаных рулонов, и необычных инструментов.

— Что ты делаешь? — спросила она. — Что это?

— Думаю, это инструменты для того, чтобы переплестать книги. Они все новые, на них еще сохранились ценники.

Он поискал туфли под диваном, но там было лишь несколько плоских коробок и желтый деревянный ящик. Строительные детали для модели корабля «Катти Сарк». Каравелла. Он вытащил ящик.

— Что ты делаешь? — переспросила она. — Ты не нашел туфли?

Он откинул крючок: то был ларец с полным комплектом для столярных работ.

— Они тоже новые, — сказал он. — Он никогда не пользовался ими.

— Похоже на это, — ответила она. — Но мне нужно еще купить домой еду, прежде чем закроют магазин. И я не думаю, что нам стоит рыться в его коробках и ящиках больше, чем это необходимо.

Она пошла за туалетными принадлежностями и обнаружила очки на ночном столике; все было в таком же порядке и лежало на своем месте, верхнее и нижнее белье — ровными, аккуратно сложенными стопками. Она направилась обратно в общую комнату; ее брат открыл ящик письменного стола.

— А что ты ищешь тут? — спросила она.

— Я ничего не ищу, — ответил он. — Я только смотрю. — Ему хотелось сказать: «Я ищу его. Я пытаюсь понять...»

Но брат и сестра никогда друг с другом так не говорили.

Несколько конвертов, на одном написано: «Квитанции», на другом: «Страховка от пожара». Бланки. Рецепты.

— Здесь не так уж много, чтоб стоило на это смотреть, — спокойно сказала она. Она положила остальные вещи в сумку и закрыла ее вновь. — Ну, думаю, кажется, все. Теперь мне пора идти заняться обедом.

— Ну иди! — ответил он. — Я оставлю сумку в больнице. Нам все равно не по пути.

Она посмотрела на него, и он объяснил:

— Я чуточку устал. Я посижу теперь тут немного и полистаю какую-нибудь книжицу.

— Ты всегда усталый, — ответила сестра, — тебе надо пойти обследоваться. Ведь моложе точно не становишься. Тогда привет, и не забудь оставить ключи у дворника.

Теперь в комнате было снова так же тихо, стояла мягкая, глубокая тишина, сонная тишина. Возможно, то было из-за всех этих ковров, и драпировок, и мягкой мебели, ну и книг. Зачем ты просишь принести очки, если не хочешь, чтобы принесли книги? Но, быть может, эти очки для дали?

Он читал, лежа на спине. Книги по астрономии и подарочные издания. Унаследованные книги. Знаменитые книги. Он достал одну из них и увидел, что она не разрезана. Он доставал одну книгу за другой, почти все даже ни разу не открывались. За ними у стены стоял еще ряд книг, и книг совсем другого рода. Выращивание орхидей. Как сделать альпийскую горку в саду. Как построить корабль в бутылке. Книги по книжному делу, по столярному ремеслу, что требует тонкой, кропотливой работы, по графологии, по космосу. Они были спрятаны, потому что никто их никогда не читал.

Он поставил книги обратно; в комнате было слишком жарко. Солнце палило прямо в окно, и ни единая пылинка не шевелилась на световой дорожке над ковром. Он почувствовал ужасную усталость и подумал, что, пожалуй, было бы не так уж глупо пройти на всякий случай основательный осмотр и сделать выводы. Он сел на диван. Стало быть, оставалось еще четыре года, возможно, пять или шесть. Выращивание орхидей казалось делом долгим. Но деревья... деревья можно посадить. То есть в таком случае надо иметь землю, можно купить небольшой участок. Стремление владеть землей! Прививать растения — ведь это значит облагораживать фрукты или цветы, экспериментировать, вникать в суть дела. «Тоскую ли я по земле? — подумал он. — Я не знаю, о чем я тоскую».

В комнате было слишком жарко. Он попытался открыть окно, но не понял, как оно устроено, и отказался от этой мысли.

Если теперь достать книгу о деревьях и попытаться получить удовольствие... или что-то... Ведь на свете так много всего. Но, возможно, лучше всего деревья. И возможно, нужно было бы знать кое-что и по химии — о составе земли и о времени, когда приходит пора посева.

Чрезвычайно взволнованный, он ходил кругами по комнате, так, как обычно ходят по комнате, вперед к окну, вокруг стола... потом постоял на пороге спальни и снова пошел назад и остановился посреди ковра, там, где лежали отблески солнечного света, а затем направился обратно к окну. В конце концов он вызвал такси, взял сумку и по пути вниз занес ключи дворнику. «Мне интересно, как он выглядит, — подумал он уже в машине. — Мне не жаль его, мне не по душе жалеть его и трудно будет говорить с ним. Но я хочу поехать туда».

Во дворе больницы росло высокое дерево, неясно, был ли это клен или ясень, а может, вяз. С чувством внезапного облегчения он подумал, что, собственно говоря, это одно и то же. Если его хоть что-то вообще интересовало, то пусть бы это было фруктовое дерево...

## Буря {11}

Ее разбудило дребезжание форточки в окне, и она тихо лежала, прислушиваясь и наблюдая, как буря меняла светящиеся узоры на потолке. Тень от водопроводной трубы повисла крестом над ее изголовьем, но по потолку снова и снова бегали все новые и новые отражения раскачивающихся уличных фонарей, а порой то был свет автомобильных фар, редких в это время ночи. Слуховое окно было уже несколько недель покрыто снегом, и уже несколько недель он не звонил. Это означало, что он никогда больше не позвонит. Но тут дверь в умывальную начала стучать, и она встала, чтобы закрыть ее. Не зажигая света, она направилась в комнату, выходящую окнами на улицу.

Ветер налетал толчками и, шипя, жесткими ударами надувал снег за стеклом, однако снегопада не было.

Над бурей и где-то далеко в стороне раздался прерывистый и тяжелый, барабанный звук — она так и не поняла, что это, — иногда звук исчезал и снова возвращался... Быть может, тот звук издавали кровельные листы, шифер, быть может, что-то другое. Ночь была исполнена беспокойства и перемен; она прислушивалась и ждала в своей комнате; все было погружено в темный и зеленый свет, какой со всех сторон охватывает ныряльщика или водолаза в море. Она видела, как нанесенные ветром горки снега на крыше дома, кружа, взметались ввысь, будто дым, а снег и небо над городом светились одним и тем же темным светом. «Словно в стороне от всего, — подумала она, — что-то происходит, об этом весь день говорили по радио. Пускай происходит. Я так устала от своей усталости и вечного ожидания, а больше всего из-за того, что устала от самой себя».

В больнице светились те самые окна, что всегда светились в четыре часа по утрам, но лишь два из них. Рождественские лампочки на елях возле бензоколонки были зажжены, а ели встряхивали ветвями, словно испугавшись и пытаясь вырваться... Она долго разглядывала их, и когда они наконец упали, почти одновременно, и ветер, метя, поволок их по улице, где гасли фонари, она громко вскрикнула от облегчения. В комнате было холодно, буря не

унималась, ветер толчками задувал прямо в окна. Летая над городом, ветер давил его одним-единственным слитым воедино грохотом; то было всевозрастающее и неотвратимое множество звуков. «Сила, — думала она, — как я люблю силу!» Атака была столь яростной, что она отступила от окна. Такова ночь в бурю! Что такое ночь... спать до следующего дня, попытаться отоспать свою усталость, чтобы быть в силах справиться с тем, что не желаешь больше продолжать, укрыться в объятиях осторожной маленькой смерти, которой ты не противишься на столько-то и столько-то много часов, а если просыпаешься — то лишь на считанные секунды. Она ходила взад-вперед от окна к окну и думала: «Позвони, позвони мне и спроси, не страшно ли мне!» Она видела, как шторм взметает спиралью снежные сугробы на улице и прижимает снег к стенам домов, будто белые оберегающие руки; зеленый свет потемнел. А сны... что они такое? Они выводят наружу твой страх и являют его с преувеличенной жестокостью, сон — это вовсе никакой не отдых, никакое это не утешение.

Что-то огромное пролетело мимо ее окна, ударившись о стену и разбив стекла на мелкие осколки, осколки, тут же унесенные прочь; все равно что это было, все равно куда унеслось. Ветер был словно громкий стон, он кричал и выл. Над городом горели неоновые огни, словно слабые цветные отсветы, стертые резинкой, но снег поднимался с земли ввысь повсюду и со всех улиц, как гигантский театральный занавес, и вот уже было не различить, горят ли где-либо окна, и ничего не оставалось, кроме как прислушиваться и ожидать. «Вот так, — думала она, — так бывает иногда, когда все рушится и трещит по швам, и нечего вспомнить, и не к чему прислониться, и тебе должно с самого начала подумать, успеешь ли ты хоть что-нибудь... Безразлично — ощущаешь ты силу или слабость, и ничто уже не может удивить... Все лишь будто стерто резинкой или погашено».

Город был пуст, ни людей, ни автомобилей. Похолодало. Ее окно превратилось в кружащуюся зеленую стену из снега, она отступила назад, отступила медленно в глубь комнаты. Шторм был за пределом приемлемого и мыслимого. Только сильная и безостановочная вибрация. Эта вибрация ощущалась повсюду, в оконных рамах и в стенах, защищавших ее, в воздухе вокруг нее, у нее в зубах и в животе.

Она пошла назад, вплотную к стене. «Как раз теперь, — думала она, — как раз теперь я понимаю, что все — абсолютно просто. Я знаю, чего хочу». Вот так стоят они в своих комнатах ночью все вместе и не смеют подойти близко к окнам, они не смеют пойти и лечь спать. Они вдруг понимают, что это не просто вопрос жизни или выдержки, а нечто совсем другое, и они не знают, что это.

Как может буря тропической силы отыскать путь в заснеженную страну, в надежную грустную страну, где зажигают свечи на елке, чтобы умиловить мрак? Оконные стекла в благоустроенных каменных домах треснули и разбились за несколько кратких часов от подобного испытания, а металлическую крышу унесло на много кварталов отсюда, и та оказалась близ гавани. Буря влетела в широко открытую комнату, как вспышка ледяного воздуха, более плотного, чем материя, и, придавив ее глаза и барабанные перепонки, отбросила ее к стене, а вокруг, словно стрекоза взмахивала крыльями, распадалась на части комната. Ничего не имело значения и ничего не имело названия, которое можно было бы произнести и ощутить вновь. Она поползла на четвереньках в свою спальню, и единственным, что имело значение, была кровать, кровать, плотно прижатая к стене под водопроводной трубой, и возможность укрыться там. Она ощутила под руками порог комнаты, пол был завален осколками, обломками и снегом, и когда буря поволокла ее, она упала навзничь, и ей показалось, что она вот-вот лопнет от ветра, не оказав ему ни малейшего сопротивления. Она поползла дальше, она приблизилась к кровати и нырнула под одеяло, натянув его на себя и прижавшись поджатыми коленями к стене. Теперь она снова услышала грохот бури и почувствовала: она замерзла, и знала: ее постигло что-то важное, нечто, казавшееся значительным и простым.

Звонок! Звонили долго, прежде чем она поняла: это телефон — и подняла в темноте трубку.

— Это я, — сказала она. — Нет, я не сплю.

Она внимательно слушала, и пока слушала, смотрела вверх на потолок, что был не дальше обычного. Створки окна образовали нечеткий геометрический узор на черном фоне. Она лежала под решеткой оборванных потолочных балок, а над ними висело темное небо, что все поднималось и поднималось в непрерывных вихрях снега.

— Не объясняй! — сказала она. — Не повторяй все снова и снова одно и то же, это неважно.

Она выпрямилась в кровати, медленно и надменно сознавая свое превосходство, и, вытянув ноги, подумала: «Вовсе не трудно быть сильной».

— Это неважно, — повторила она. — Если ты что-то узнал и снова утратил, это ровно ничего не значит, это неважно. Ты найдешь это утром.

Подложив руку под голову, она повернулась на бок, легкое тепло подступило ближе.

— Да! — произнесла она. — Конечно же, я боюсь. Сделай это, позвони завтра.

Они пожелали друг другу спокойной ночи, она положила трубку и заснула.

Около семи часов утра ветер стих, а снег падал вниз над городом, навстречу улицам и крышам домов, и над ее спальней, что была совершенно бела и очень красива, когда она проснулась.



## Серый шелк<sup>{12}</sup>.

Марта приехала из селения в Эстерботтене, и была она ясновидящая. Не только потому, что ее посещали вещие сны; она обладала также редчайшей способностью чувствовать, что где-то поблизости витает смерть, и определять, кому она грозит. Она охотно сохранила бы свои видения при себе, но чей-то безжалостный голос приказывал ей возвещать о том, что должно случиться.

Поэтому вскоре она осталась в полном одиночестве и в конце концов уехала в город и стала зарабатывать себе на хлеб вышиванием. Все устроилось на удивление легко. Марта пошла в самый большой салон мод, показала несколько своих работ и была тотчас же принята на службу. Вначале речь шла о том, чтобы вышивать нижнее и постельное белье, а позднее — вечерние платья. Вскоре ей разрешили самой составлять узоры и выбирать цвета, а потом она перебралась уже за стеклянную стену, где стоял ее личный стол.

Марта почти никогда не разговаривала. Здороваясь, она не улыбалась; это может показаться мелочью, но на самом деле внушает ужас. Ведь к обоюдным улыбкам, которыми обмениваются при встречах, привыкают. Это так естественно — улыбаться, независимо от того, нравится ли тебе тот, кому улыбаешься, или нет. Кроме того, она не смотрела людям в глаза, а устремляла взгляд в пол, где-то поблизости от их ног.

Молчаливость и серьезность Марты, ее неоспоримая талантливость и чувство цвета, а также отделявшая ее от всех стеклянная стена погружали ее в свой, совершенно своеобразный мир. Те, кто оставался за этой стеной, боялись ее, непонятную и угрюмую; но и они не могли обнаружить в этой высокой темноволосой женщине со сросшимися бровями даже следа чувства собственного превосходства или недоброжелательности. Когда Марта приходила по утрам в ателье, она снимала плащ, косынку (она и в самом деле покрывала голову косынкой) и тихо здоровалась. Стоило ей войти, и сразу же наступала тишина. Все видели, как она длинными медленными шагами идет к своей стеклянной клетке — она двигалась, словно длинноногое животное. Когда она закрывала за

собой стеклянную дверь, они переводили взгляд на мятую черную косынку и плащ из скверной ткани, висевшие на вешалке, словно забытые кем-то вещи. Ее одежда никому не казалась ни нелепой, ни трогательной, она производила почти угрожающее впечатление.

Сидя за стеклянной стеной, Марта вообще ни о чем не думала. Ей нравилось вышивать. А Мадам очень нравились и ее узоры, и сочетания цветов. Марта обычно делала эскиз пастелью, потом входила в конторку и клала на стол еще едва обозначенный беглый набросок. Мадам одобряла эскиз, и Марта уходила обратно, даже не захватив с собой листок бумаги. Узоры и цвета менялись во время работы, совершенно произвольно. Эскиз был всего-навсего данью обычным предписаниям, и ничем иным; они обе это хорошо понимали.

В то время Марте не снились никакие сны, потому что она не знала окружающих ее людей и ей не было до них дела. Спокойные ночи приносили ей такой великий отдых и такое облегчение, они дарили ей такую радость. Ей не нужны были даже ее дни; она уединялась и только и делала, что вышивала. Она вытягивала свои длинные сильные ноги и, откинувшись на спинку стула, вышивала, зорко следя своими острыми и пронизательными глазами за собственной работой. Рука ее спокойно водила иглой, а иногда прекрасная ткань, лежавшая у нее на коленях, потрескивала. Был разгар сезона, непрестанно приходили и уходили дамы, но она их не замечала. И ничего бы не случилось, если бы не шелковое платье, вышитое жемчугом. Вещь была вполне заурядная, ярко-розового цвета, обыкновенный заказ, который Марта спасла, украсив вышивкой, выполненной серым шелком. Но дама осталась недовольна и захотела поговорить с вышивальщицей. Марта заявила, что не хочет беседовать с заказчицей. Мадам сказала:

— Милая Марта, заказ этот очень важный, мы не можем передать его кому-либо другому, он слишком дорогой.

— Это платье принесет несчастье, — сказала Марта. — Я не хочу.

Но в конце концов она все-таки вышла.

Худая, нервная дама что-то быстро говорила, и возражая, и объясняя одновременно. У нее было обиженное лицо, и она была совершенно вне себя из-за вышивки серым шелком. Марта смотрела

на нее, зная, что эта женщина очень скоро умрет, хотя сама об этом не подозревает. В то же время внутренний голос приказывал ей сказать о том, что она увидела. Марта почувствовала, что заболевает; она широко шагнула, отворив двери. Втроем они стояли в очень маленькой примерочной, было жарко, женщина повернулась и, взявшись за ручку двери, воскликнула:

— Я хочу объясниться. В таком виде носить это платье я не смогу!

— Вам не придется носить это платье, — ответила Марта.

Губы ее так одеревенели, что ей трудно было говорить, но она добавила:

— Это платье вам не понадобится, потому что вы очень скоро умрете.

Выйдя из примерочной, Марта вошла в свою стеклянную клетку. Взяв мелки, она нарисовала новый неожиданный узор: очень яркие, броские цвета — горчично-желтые и желто-зеленые, лиловые и ярко-синие, оранжевые и белые. Наглые, беззастенчивые цвета, что сначала словно бы громко кричали, однако потом спокойно прильнули друг к другу и только светились и сияли. Вскоре она уже забыла испуганную женщину, которой предстояло умереть.

Вошла Мадам, села и только и сказала:

— Какая вас муха укусила? Почему, ради бога, вы сказали ей такое?

— Мне очень жаль, — тихо ответила Марта. — Я увидела, что она скоро умрет, и должна была об этом ей сказать. Это было нехорошо с моей стороны.

Мадам бросила взгляд на цветной эскиз; поднявшись через некоторое время, она устало сказала:

— Чтобы это больше не повторялось!

— Нет. Больше никогда, — ответила Марта.

Назавтра, когда женщина умерла, — а погибла она в автомобильной катастрофе, — Марта прошла в свою стеклянную клетку, и никто даже не посмел сказать ей: «Доброе утро!» Она работала до самого обеда и передала уже готовый эскиз с курьершей, а потом получила его обратно одобренным. Она начала вышивать белое вечернее платье и оставалась в ателье до тех пор, пока все не ушли домой. Тогда она надела плащ, косынку и направилась в город.

Она не спешила домой, в свою комнату, а очень медленно бродила по улицам, наблюдая за всеми, кого встречала. Она осмелилась разглядывать всех и каждого и увидела, что среди них много таких, кому суждено было очень скоро умереть. Внутренний голос непрерывно взывал к ней, но люди быстро проходили мимо, они торопились, и много-много было среди них таких, кому суждено было очень скоро умереть. Их было слишком много, и голос взывал к ней все слабее и слабее. Она продолжала идти, глядя на всех тех, кто встречался ей на пути, проходил мимо и исчезал час за часом. Под конец стало совсем тихо, а все вокруг стали похожи друг на друга.

Марта пошла домой, она очень устала. Она взяла мелки, чтобы нарисовать новый придуманный ею узор, показавшийся ей красивым, но внезапно твердо поняла, что не знает, какие ей выбрать мелки и почему вообще цвета должны сочетаться друг с другом.

## Проект предисловия {13}

Она сняла накидку, свернула ее и положила на стул, зажгла ночник и погасила верхний свет. Затем открыла внутреннюю раму и достала бутылку воды «Виши», снова закрыла окно и, заткнув бутылку резиновой пробкой, поставила ее на ночной столик рядом с двумя таблетками снотворного, очками и тремя книгами. Потом задернула занавески и разделась, начиная снизу: положила одежду на стул и надела ночную рубашку и домашние туфли. Она почистила зубы над кухонной раковиной, вытащила часы и, увидев, что уже одиннадцать, положила часы на ночной столик, включила радио и выключила его снова, посидела десять минут на кровати, сняла туфли и легла в постель. Надев очки, она начала читать первую главу в той книге, что лежала сверху. Одолев четыре страницы, она взяла вторую книгу и некоторое время читала ее с середины, затем, отложив в сторону, открыла третью. Иногда она перечитывала одну фразу множество раз, а иногда перескакивала через одну или пару страниц. Было очень тихо, тишь время от времени — слабый шум в батарее центрального отопления. В половине первого ночи глаза ее устали и сон подступил ближе, начиная с ног. Она быстро сняла очки, положила их на ночной столик, погасила ночник и повернулась лицом к стене. Она тут же, впервые в эту ночь, начала перебирать все, что она говорила и что оставила недосказанным, и все, что сделала, и все, что не сделала. Она снова зажгла ночник и взяла одну из таблеток, открыла бутылку и проглотила таблетку, запив ее минеральной водой, потом погасила ночник и села лицом к стене. Через полчаса она снова зажгла свет, надела очки, открыла книгу и дочитала главу до конца. Положив книгу и очки на пол, она погасила лампу и натянула одеяло на голову. Через двадцать минут она вновь зажгла свет и встала, открыла внутреннюю раму, вытащила пакет, завернутый в плотную бумагу, и развернула его. В пакете были хлеб, колбаса и сыр. Она поела, стоя у окна. Снег лежал довольно высоко на рамах, и на улице шел снег. Поев, она проглотила вторую таблетку и запила ее водой «Виши», но не закрыла внутреннюю раму, поскольку в комнате было очень жарко. Она легла и погасила лампу. Через час она снова зажгла

ее, сняла ночную рубашку и начала ходить по комнате. Она подошла к кухонной раковине, налила воды в эмалированную кружку и полила свои комнатные цветы, затем, взяв губку и вытерев воду, что вытекла на подоконник, оставила губку на окне. Она легла и погасила свет. Примерно часом позже она встала, не зажигая света, и включила радио и выключила его вновь. Она услышала, как поднимается вверх лифт, и тут же через дверную щелку в прихожей упала на пол газета. Она зажгла лампу и открыла верхний ящик комода, вытащила писчую бумагу и ручку и села на кровати. Через десять минут она положила бумагу и ручку на пол, подошла к окну и увидела, что снегопад прекратился. Она погасила свет и легла в постель. Лифт снова поднялся, но батареи больше не шумели. Сон напал на нее, и тело ее отяжелело, она просто рухнула и, перестав думать, уснула. Полчаса спустя она зажгла ночник и посмотрела на часы. Поднявшись, она подошла к кухонной раковине и почистила зубы, затем оделась, начиная сверху, и поставила кипятить чай, потом посмотрела на часы и заметила, что ошиблась во времени, поскольку не надевала очки. Выключив чайник, она подошла к кухонной раковине, наполнила водой эмалированную кружку и вспомнила, что цветы уже поливала. За окном было темно, она надела плащ, и шапку, и перчатки, взяла свою сумку и сунула ключи в карман. После этого она отворила дверь прихожей, вышла и тихонько закрыла ее за собой, затем спустилась вниз по лестнице, вышла через парадную дверь и увидела, что начался снегопад. Она обошла кругом квартал, а приблизившись к парадной, снова отправилась дальше вокруг квартала, потом вошла в дом, поднялась по лестнице наверх так, что все можно было снова начать с самого начала.

Молчание слишком затянулось. Она собралась с духом, чтобы что-нибудь сказать или проявить вежливый интерес, который помог бы им скрасить несколько предстоящих минут. Повернувшись к своим гостям, она спросила, пишет ли господин Симомура также и для детей.

Переводчик серьезно прислушался, затем легко поклонился, а господин Симомура повторил его поклон. Они тихо говорили между собой, быстро и почти шепотом, еле заметно шевеля губами. Она смотрела на их руки, чрезвычайно маленькие, с тонкими светло-коричневыми пальцами, на их маленькие красивые лапки и ощущала себя огромной лошадью.

— Сожалеем, — ответил переводчик. — Господин Симомура не писатель. Он совсем не пишет. Нет, нет!

Он растянул губы в улыбке, они оба улыбнулись, мягко и соболезнующе склонив голову и неотрывно разглядывая ее; глаза Симомуры были абсолютно черными.

— Господин Симомура рисует, — добавил переводчик. — Господин Симомура хотел бы видеть диких зверей, очень опасных, if you please<sup>[13]</sup>.

— Понимаю, — ответила она. — Рисунки животных для детей. Но у нас диких животных немного. И они только на севере.

Переводчик, улыбаясь, кивал головой. «Yes, yes, — повторял он. — Очень любезно... Господин Симомура рад!»

— У нас есть медведи, — неуверенно сказала она, вдруг забыв, как будет по-английски «волк». — Похожи на собак, — продолжала она. — Большие и серые. На севере.

Внимательно глядя на нее, они ждали. Она попыталась завывать, словно волк. Ее гости вежливо улыбнулись и продолжали разглядывать ее.

Она угрюмо повторяла:

— Никаких животных на юге нет, есть только на севере.

— Yes, yes, — отвечал переводчик.

Они снова зашептались, и внезапно она добавила:

— Змеи. У нас есть змеи.

Она устала. Повысив голос, она еще раз сказала:

— Змеи. — И, волнообразно проведя рукой в воздухе, будто кто-то ползет, зашипела.

Господин Симомура больше не улыбался, он беззвучно смеялся, откинув назад голову.

— Анаконда, — сказал он. — Змея. Very good<sup>[14]</sup>.

И тут же с быстротою молнии прекратил смеяться. Жирная кошка, спрыгнув со стула, прошлась по полу.

— Я очень стара, — озабоченно, со все растущей паникой в голосе сказала она, — но я, собственно говоря, ничего не знаю ни о людях, ни о животных.

Быть может, существовала возможность что-то спросить или проникнуть самой в тот мир, где он искал свой путь и рисовал своих животных, может, она могла бы узнать тогда что-то новое и важное.

Даже вполне вероятно, что они искали примерно то же самое — мрачное, дикое и пугливое и, может, утраченную надежность детства... Что ей было известно... она подняла кофейник и спросила:

Please?<sup>[15]</sup>

Оба, слегка пританцовывая, поклонились, наполовину приподнявшись, законченным движением, означавшим благодарный отказ.

Переводчик сказал:

— Господин Симомура считает, что вы красиво пишете. У него для вас подарок.

Он развязал шелковые ленты; под несколькими слоями хрупкой рисовой бумаги лежала тоненькая коробка из дерева. Ее смастерили с изысканной тщательностью.

Под крышкой лежал веер с рисунком, изображавшим топающего ногами и оскалившего зубы воителя.

— Как красиво! — вырвалось у нее. — Thank you, ever so much, спасибо, это, право, слишком!.. Я всегда восхищалась рисунками, которые... И коробка тоже удивительная...

— Ей нравится шкатулка, — объяснил переводчик.

Господин Симомура глубоко поклонился. Она обмахивала веером кошку, та, выгнув назад уши, удалилась.



— Жирная кошка, — выговорил на своем своеобразном английском языке господин Симомура и доброжелательно рассмеялся.

— Да, — ответила она. — Очень жирная.

Переводчик поднялся и сказал:

— Было очень интересно. А сейчас господин Симомура хотел бы увидеть диких зверей. Please. Мы знаем, что вы так любезны.

Он открыл перед ней дверь, и они прошли в прохладную тишь мимо высоких коричневых шкафов со стеклянными дверцами. Тощий изнуренный лис, стоя на своем шкафу, разглядывал потолок.

— Wild?<sup>[16]</sup> — спросил господин Симомура.

Она ответила:

— No.

Господин Симомура, очень серьезный, долго смотрел на лиса. Господин в белом халате поспешно шел по коридору. Преградив ему путь, она сказала:

— Извините, но здесь иностранец, он интересуется животными...

Остановившись и глядя в пол, он ответил:

— Ага! Животными! А каким образом могу я?..

— Здешними животными, — пояснила она. — Не могли бы вы?..

Он сказал:

— Я на энтомологическом отделении.

— Конечно, — воскликнула она. — Как глупо с моей стороны!

Насекомые ведь абсолютно... они слишком малы!

Посмотрев на нее, он продолжил:

— Это зависит от... Я, собственно, ничего об этом деле не знаю.

— Нет, — поспешила ответить она. — Это меняет все дело. Я понимаю.

Она улыбнулась и, слегка поклонившись человеку в белом халате, снова пошла по коридору. Господин Симомура достал альбом для эскизов и широко открытыми щелочками глаз разглядывал лиса.

Профиль лиса был чрезвычайно скуден, даже не изваян, а всего лишь намечен одной сдержанной линией. Небольшая морда. Только шерсть выделяла лиса, покрывая его тело в живом и буйном изобилии, словно жесткая черная трава. Повернувшись к ней, господин Симомура сказал:

— No, no!

Закрыв альбом, он ждал...

Они поднялись по изогнутой лестнице, этаж за этажом, и на самом последнем вошли в зал, битком набитый скелетами. Некоторые из них — огромные — были подвешены к потолку и ужасающе скалили свои черные зубы. Над ними возвышался скелет слона; лишенный хобота и клыков, он обрел покорное, чрезмерно человеческое лицо.

— No, — произнес господин Симомура.

— Yes! No! — воскликнула она. — Я так огорчена...

Подойдя к стеклянному ящику с большим светло-желтым крабом, она надела очки и громко, чтобы скрыть свою растерянность и тень непонимания, пробежавшую между ними, прочитала надпись: «Японский гигантский краб. Обитает обычно так глубоко в воде, что волны не затрудняют его движений».

— You see! — сказала она. — Japanese!<sup>[17]</sup>

Он улыбнулся и поклонился. Они начали спускаться вниз по лестнице. «Так глубоко, — думала она, — так глубоко, что волны не чувствуются; а он ходит на своих десяти длинных ногах, и ничто не может преградить ему путь, потому что все вокруг такое невысказанно огромное!»

На следующем этаже они увидели сотни животных, воссозданных с великим искусством и бесконечным терпением в самой типичной для них позе. Их шерсть была мертвенно-тусклой, пасть залита гипсом, но они соответственно своей природе шагали по болоту или пескам либо переваливали через горы, и ни одно из них не считалось диким животным.

— Мне очень жаль, — произнесла она.

— Please, — заверил ее господин Симомура, коснувшись на миг ее пальцев. Его руки красивым жестом обозначили то фатальное, чему ничем не поможешь, даже любезностью. И они отправились дальше.

И вот они подошли к волку. Он был так же изъеден молью, так же жалок, как лис, но выглядел куда более свирепым. Господин Симомура открыл свой альбом с эскизами, а она встала за колонной, чтобы не мешать ему.

Они стояли одни, большой зал был залит ровным белым светом, исходившим от снега за окном. Похоже, никаких медведей здесь не было, было лишь множество круглых тюленей с глазами, прикрытыми

ватой, а дальше, за окостеневшими тенями стеклянных ящиков на высоких узких ножках, располагались, вероятно, олени.

Она подумала: «Он не любит чучела животных. А завтра он уезжает. Если бы только так не онемели сегодня колени».

И вот господин Симомура стоит рядом с ней, он двигается так же тихо, как разговаривает. Жестом, выражающим глубокое сожаление, он протягивает ей альбом с эскизами.

Он нарисовал волка с помощью всего лишь нескольких линий, продуманных, грубых и неслыханно выразительных. Рисунок был очень хороший! Внезапно ее охватило желание показать ему живого волка.

\* \* \*

Они ожидали паром. Она очень страшилась молчания, но господин Симомура, казалось, больше не обращал на нее внимания. Он бродил по узкой береговой полоске под причалом, собирал мелкие камешки, кусочки угля и внимательно их изучал. «Неужели он не мерзнет в этом тоненьком пальтишке, — думала она. — И без шапки». Рисунок волка внушил ей робкое чувство уважения к нему, гораздо более сильное, нежели то, что обычно испытываешь к чужому человеку. К ее неуверенности прибавилось беспокойство о том, что он мерз.

Очень маленькая юркая спортивная лодка с мотором на борту причалила у мостков. Называлась она «Высокогорье».

— Разве паром туда больше не ходит? — спросила она.

— Только частные лодки, — ответил лодочник. — И ходим мы туда лишь три раза в день.

Она повернулась к господину Симомура и сказала:

— Please!

Они спустились в лодку.

— Это иностранец, — возразил лодочник. — Мы возим только персонал. Зимой все закрыто.

Она внезапно разволновалась из-за того, что господин Симомура не увидит волка. Она объяснила:

— Но он завтра уезжает, вы понимаете, он уезжает завтра в Японию, и тогда уже будет поздно. Это очень важно для него!

— Хорошо, хорошо, — ответил лодочник. — Но у меня нет никаких билетов.

Он прошел на корму.

Они были единственными пассажирами на борту. Моторная лодка направилась обратно к острову, высокому и черно-белому там, где на горе местами лежал снег. Она пыталась вспомнить, где находятся клетки, но это было так давно! Ей припомнилась лама, которая плюнула в нее, и то, как симпатичны были обезьяны, потому что не выглядели запертыми в клетки.

Господин Симомура не произнес ни слова, пока они не вышли на берег, тогда он снова вернул на лицо свою улыбку, отошел в сторону, чтобы пропустить ее вперед, и все время повторял:

— Please... please!

Он ждал, что она покажет ему диких животных. Она шла впереди в плубь острова. Снег был рыхлым и талым, а следов виднелось немного, то тут, то там стояли заколоченные дома и пустые клетки, почти все таблички были убраны.

Посреди острова она все вспомнила. Вот здесь стоял большой павильон в старинном стиле с выпиленными лобзиком узорами на фронтонах и ажурными окнами с тонкими рамами. Там пили кофе, сок и слушали оркестр. Через окно виднелись горы стоявших на полу и перевернутых стульев, нетронутый снег лежал на крыльце. Разумеется, сейчас здесь не было ни единого места, где можно было бы выпить кофе в это время, и ни единой скамейки, где можно было бы сесть и вытянуть ноги, да и согреться тоже было негде. Внезапно она разозлилась и, резко повернувшись, направилась к птичьим клеткам, где птицы, словно темно-бурые плоды, висели на своих деревьях высоко-высоко под самым потолком. «А медведи, верно, спят в своей берлоге, — подумала она. — И пройдет еще несколько часов, прежде чем мы снова поплывем домой».

Господин Симомура шел по ее следам в снегу, его ноги были гораздо меньше, чем у нее. Беспкойные стада коз разглядывали их, пока они пересекали остров. Животные не поворачивали головы им вслед, они перемещали всю свою тушу разом, с абсолютной точностью, и лес из толстых изогнутых рогов снова замирал. Вся

округа была погружена в тишину, и ни единой души не видно было между клетками. Снег таял, вокруг текли ручьи. Остановившись, она прочитала на табличке: «Вместе с диким ослом, прибывшим из Ростка 05.04.1970 г., в клетке находится старая ручная ослица Кайса (серая)». Это показалось ей забавным. Никаких ослов там вовсе не было. Ее заинтересовало, где живут белые медведи.

Они спустились вниз к берегу, он назывался «Кошачья долина». Снежный барс без всякого любопытства смотрел на нее. Он был серо-желтым, с очень длинным хвостом. Она повернулась следом за господином Симомура, который направился прямо вниз, к воде, кошачьи его не волновали. Его черное пальто мелькало меж берез, он быстро двигался, вот он уже оказался в зарослях желтого тростника. «Может, у него какая-нибудь личная нужда», — подумала она, снова глядя на снежного барса. Некоторое время спустя она медленно двинулась дальше, иногда останавливаясь, чтобы подождать, но господин Симомура не возвращался. Тогда она с трудом спустилась вниз по береговому склону, не смея окликнуть его. На острове было слишком тихо, может, все животные начинали реветь и кричать одновременно, и вообще у нее нет никакого права здесь находиться.

Господин Симомура шел по кромке воды мимо портовых отбросов из пластика, бумаги и фруктовой кожуры, он собирал обломки дерева, которые море смыло на берег. «Ну конечно, — подумала она, вздохнув с облегчением, оттого что догадалась, — он собирает удивительной формы ветки. Они так делают, я читала...»

Они уже долго не разговаривали, это был отдых. Он показал ей свои находки, и она ничего на это не сказала. Одинокое странствие на фоне замкнутого со всех сторон ландшафта кое-что упростило. Мало-помалу они вернулись назад к пустым клеткам. И вот появились медведи. Она быстро взглянула на него: да, он явно заинтересовался, и не бурыми медведями, а белыми. Один из них лежал на спине, подняв лапы, большой и бесформенный, грязно-желтый на фоне белого снега. Глаза — черные как уголь. Глядя через плечо на господина Симомура, он тяжело поднялся. Движения его были похожи на жесты усталого человека, который собирается вылезти из кровати, медведь неотрывно глядел вниз, в снег возле собственных лап. Господин Симомура не стал доставать свой альбом с эскизами, он лишь внимательно разглядывал медведя.

Сырость и холод поднимались по ее ногам, ведь этот остров таил опасность и был невыразимо печален. Он отрезал от нее все, что было настоящим и живым, он пугал ее. Почему он не начал рисовать — ждал, что медведь поднимется? Она ничего не сказала, только обмотала шляпу шарфом и ждала.

Наконец господин Симомура повернулся к ней с поклоном и, улыбнувшись, дал понять, что видел медведя. Они прошли мимо бизона и норки. На заднем дворе стояли в затоптанном снегу ведра и пара лыж, все-таки люди жили здесь и работали. Но за все время им не встретился ни один человек.

Когда она наконец нашла волков, ландшафт в наступивших первых сумерках уже помрачнел.

— Господин Симомура, — тихо позвала она.

Почти застенчиво улыбнувшись, она показала ему волков. Их было трое, и каждый сидел в своей клетке.

Все трое ходили взад-вперед вдоль решетки какой-то скользящей рысцой, не поднимая головы. Господин Симомура подошел ближе и посмотрел на волков.

Беспокойное движение волков показалось ей опасным. Они жили вне времени; неделю за неделей, год за годом бегали они вдоль решетки, и если они ненавидят нас, то эта ненависть, должно быть, гигантская! Она мерзла, внезапно ей стало неудержимо холодно, и она заплакала. У нее болели ноги, ей хотелось домой, ничего общего с волками и господином Симомура у нее не было.

Трудно сказать, сколько времени господин Симомура разглядывал волков, но, когда он от них оторвался, сумерки сгустились. Вытерев лицо рукавичкой, она последовала за ним. Когда они проходили мимо пустых обезьяньих вольеров, он повернулся и начал что-то объяснять. Положив руку на альбом с эскизами, он улыбнулся, покачал головой. Жестом поднесенной ко лбу руки он объяснил, что запечатлел в своей памяти волка, да, он сделал это. Мол, будьте абсолютно спокойны.

Они продолжали подниматься в гору. Она следовала за ним в состоянии усталости, измождения и странного спокойствия, которое наступает после того, как ты плакал. Она просто шла, утопая в снегу и чувствуя, что теперь от нее ничего больше не требуется.

Наблюдательная вышка была заколочена, но в самом низу нашлась круглая открытая веранда, вся испещренная именами,

написанными карандашом и чернилами. Господин Симомура стряхнул снег со скамьи и сел. Он положил удивительной формы ветви рядом и погрузился в неподвижность. Сумерки уже давно наступили. Остров под ними казался темным, но по круглой линии горизонта все гуще и гуще зажигались огни. Она различила связный вой сирены «скорой помощи», который мало-помалу становился все слабее и наконец затих. Она думала, может, львы не рычат зимой. Они сидят где-нибудь в этих домиках без окон, где держится нужная им температура. Может, все животные, обитающие в клетках, замолкают зимой. Ее мысли стали какими-то путанными, неопределенными, на какой-то миг они задержались на гигантском японском крабе, что живет в самой глубине на дне морском, чтобы волны не повредили его десять ног. И она тут же погрузилась в сон.

Она проснулась, когда господин Симомура коснулся ее руки, пора было в путь. Она все так же мерзла. Спустившись вниз с горы, они прошли мимо павильона. Она не смотрела на клетки и не пыталась сказать что-либо по-английски. Во всяком случае, несмотря ни на что, он видел волка. Когда-нибудь, бог его знает, в каком-нибудь удивительном месте господин Симомура сядет и несколькими твердыми линиями набросает волка, грубо и выразительно, нарисует самого живого волка, которого когда-либо рисовали.

Маленькая моторная лодка приняла их, лодочник не произнес ни слова.

«Единственное, что мне хотелось бы знать, какого волка он нарисует, — подумала она. — Того, что видел, или того, что он себе представляет».

Три моторные лодки, выстроившись в ряд, стремительно неслись по морской глади, светило солнце, и встречные катера приветствовали их, думая, что они плывут наперегонки.

В лодке, что была посередине, с широкой нижней палубой, лежала на носилках очень старая женщина. В носилки был превращен красный палубный стул, разложенный для отдыха и снабженный веслами. Он был достаточно узок, чтобы пройти в дверь. Она лежала, отвернув голову, ее волосы были совсем седыми, а черты лица внезапно и резко обострились.

Вплоть до самой пристани, где останавливались автобусы, лодки не снижали скорости: они замедлили ход и причалили возле затоптанного берега, куда приходили и откуда уходили лодки, где все было как обычно, пока не прибыла «скорая помощь». Тогда все поставили свои сумки и коробки и подумали: «Боже мой, посреди всего этого...» — и удерживали своих детей, не подпуская их ближе, чтобы не смотрели. Пожилая дама в шляпе с полями наклонилась вперед, пытаясь заглянуть в лицо отвернувшейся незнакомки. Она вовсе не была любопытна; она узнала ее и сказала самой себе:

— Бедная малютка!

В санитарной автомашине было жарко, тот, что сидел за рулем, желая выяснить обстоятельства, спросил:

— У вас есть нитроглицерин?

Вероятно, тот, кто водит санитарную машину, должен кое-что знать, возможно, тут необходимо специальное образование. Помощник, сидевший рядом с женщиной, был очень юн и лишь ехал молча, серьезно... с таким видом, будто ему, собственно говоря, но вполне естественному праву надлежало быть где-то совсем в другом месте.

Дорога извивалась и поворачивала в этой жаркой безжизненной местности; возможно, она некогда была лишь тропинкой, что сторонилась, уступая место домикам, камням и небольшим пашням. А позднее она стала шире, и никому не было дела до того, что она



расширялась и, закаляясь, становилась проселочной дорогой, потому что всегда уступала, сторонясь одних и тех же препятствий.

В лавке они попытались выяснить, что им может понадобиться в санитарной машине, и купили минеральную воду, карамельки и носовые платки.

День был ужасно жаркий, и ночью разразилась гроза. Больницу — приземистую и длинную — с одного конца до другого перерезал коридор. Он был совсем темный, но теперь, летом, никакого света не требовалось. Все двери стояли открытыми настежь, и те, кто обитал в этих стенах, были совершенно молчаливы, возможно, они прислушивались к грозе. Гроза была великолепна. Архитектор, строивший больницу, соорудил огромный балкон в конце коридора. Оттуда можно было видеть задумчивые сады, обнесенные асфальтовыми стенами, почерневшими от дождя. Ночные автомобили проезжали время от времени мимо. Весь ландшафт был наполнен до краев зеленым светом ненастья, схожим с холодными бенгальскими огнями, деревья же, каждое само по себе, казались неподвижными кулисами, раскинутыми далеко друг от друга. Над садами, вспыхивая белыми и прохладно-голубыми бликами, шествовала гроза, но молнии терялись в летней ночи.

Больница расположилась неподалеку от побережья, и ныне, пред самым рассветом, чайки кричали над берегом. Их, возможно, было много сотен, и все они, поднимаясь вверх и падая вниз, кричали... то было сильнее грозы. Тем, кто прислушивался, крик их казался тяжким дыханием, тревожным биением пульса, пронизывавшим ночь.

Чайки смолкли, когда просветлело, и дождь был совсем недолгим.

Коридор был так узок, что казалось, его завершал клин, сгусток темноты. Но все время этот пустой коридор светился тем же зеленым светом, что на воле пронизывал ночь и вливался сюда через открытые двери.

Она любила грозу, но, возможно, непогода была слишком бесшумной, она не добиралась до нее. Как назвать то, что перемежает те бездыханные, краткие периоды сна, во время которых смертельно усталый человек умирает? Это не может быть лишь мука из-за нехватки воздуха, воды, потому что все затихает, и останавливается, и взывает к освобождению, к неумолимому и совершенно чуждому

жизни преображению. Старой женщиной овладевали картины, события, происшествия из пережитой ею или пригрезившейся ей в мечтах жизни, все были с ней, быть может, не только те, кто любил ее и жил рядом с ней, но также и те, кто ускользнул от нее, все утраченные возможности... Ведь ты не знаешь, ведь ты ничего не знаешь, но пытаешься найти объяснение в улыбке и нескольких словах, что являются издали, из мира иного, мира более истинного, нежели тот, что существует на самом деле.

Смерть — это ведь всего лишь то, что обрывает все нити, что заставляет тебя умолкнуть. Если долго-долго прислушиваться к дыханию, услышишь вдохи и выдохи — звуки тягостной жизни, которая борется за то, чтобы продолжаться... Вынужденная жизнь продолжает двигаться дальше, протекать среди лекарств и инъекций. Но вдруг все это — вместе взятое — становится ненужным, и подвешивается во всяких склянках и пакетиках, и увозится прочь на резиновых колесиках. Тот, кто умирает, абсолютно чист, абсолютно тих, а потом из серых губ, с изменившегося лица раздается громкий крик, его принято называть «хрип», но это крик усталого тела, которому уже достаточно всего: жизни и ожиданий, достаточно всех этих попыток продолжить то, что кончено, достаточно всех этих подбадриваний и тревожных боязливых забот и хлопот, всей неловкости, всей нежности, всей боли с ее решительностью не показывать всего этого и не пугать того, кого любишь. Смерть во всех ее проявлениях многолика, но она может быть еще и смертью долгой и очень усталой жизни, единственным возгласом, точным завершением того окончательного... подобно тому, как художник на последней странице книги оставляет, придавая ей завершенность, свою виньетку.

Гроза подарила засушливой земле только быстро проходящий ливень.

Много дней спустя хлынул настоящий проливень. Дождь начался как раз до рассвета, над материком и над островами. Колодцы и бочки наполнились водой, а над всеми крышами шуршало, шелестело и шумело, дождь все продолжался. Земля была такой сухой, что ее прорезали трещины, а мох виднелся на склонах горы лишь плоскими жесткими островками. Ныне водой заполнилась вся земля, весь мох, все корни растений. Дождь в благословенном избытке струился вниз

над всей землей, а в домах лежали люди, и прислушивались, и думали:  
«Это хорошо!» — и, переворачиваясь на другой бок, засыпали.

У мальчонки Нурдмана были сутулые плечи и большие нервные руки, а запястья — неестественно узкие. Он почти ничего не говорил, да и сам Нурдман был не очень-то разговорчив. Неприятным в мальчишке было то, что он не мог держать свой рот смирно: маленький, совершенно несдержанный ротик, который он пытался спрятать, закрыв рукой. Глаза были слишком велики и вызывали удивление: огромные, византийского разреза глаза на испуганном лице; он пытался спрятать и их тоже, но не получалось.

Всякий раз, когда Нурдман выезжал на взрывные работы, мальчик, стоя за ольшаником, глядел, как они загружали судно.

— А ты не возьмешь его как-нибудь с собой? — спрашивал Векстрём, но Нурдман полагал, что мальчик еще слишком мал.

Нынче, по осени, взрывные работы случались у них довольно далеко. Было ветрено, и поездки домой могли бы отнять много времени. Взвесив все «за» и «против», Нурдман решил закончить работу без перерыва и переночевать в доме Охраны морских границ на Песчаной шхере... Это могло занять несколько дней, так что мальчишка пришлось взять с собой, чтоб он не оставался дома один.

Они загрузили лодку и пустились в путь около восьми утра, но когда обогнули мыс, началось волнение на море. Мальчик сидел на скамье; на нем было столько одежек, что виден был один нос. Ребенок никогда прежде не бывал на судне. Над ним хлопал брезент, прикрепленный большими, небрежно вбитыми гвоздями, а рубку сорвало с места, и она косо висела, как обычно во время качки, когда море подступало сбоку. По нижней палубе взад-вперед катался дятел, а посреди судна, чернея и дребезжа, поднимался мотор, переделанный из старых железяк. Он работал на жарком и текучем масле, вихрем крутились шкивы, дрожали приводные ремни, а из глубины его поднималась кривая металлическая труба, извергавшая копоть во все стороны.

Механизм мог показаться ненадежным, но таковым он не был. Он был результатом терпения, сложной работы мысли и преданности делу, Нурдман трудился над ним почти всю весну по вечерам.

Волнение на море усиливалось, коробки на корме лопнули от качки, и множество мелких красных яблочек плавало вокруг в трюме. Подшипники по-прежнему лежали, надежно упакованные в пластик, в трюме. Мальчик смотрел на все это, но думал только о ящике со взрывчатым веществом, что был еще надежнее защищен, чем корпуса подшипников, и где-то упрятан в кормовой части судна.

Нурдман рулил в средней части судна, а Векстрём сидел рядом. Длинные неприветливые берега пробегали мимо, изредка попадались пустые дачные виллы. За Господской шхерой они повернули прямо на юг. Тогда Нурдман, широко шагнув через банки, подошел к сыну и, перекивая шум мотора, произнес:

— Он весит пятнадцать тонн!

Он протянул руку в сторону каменного утеса. Утес можно было разглядеть ничуть не лучше, нежели все остальное, чьи неясные контуры смутно вырисовывались на горизонте, но мальчик понял и кивнул в ответ.

— Как его звать? — закричал Векстрём, когда Нурдман вернулся назад.

*— Хольгер! — крикнул Нурдман.*

\* \* \*

Представить себе, что такое взрыв, ужаснее всего другого. Кто-то кричит... никаких слов, один лишь рев, мычание, громкий плач, а потом топот бегущих сапог, хруст гравия, и затем — тишина, подавленная ужасом, что растет, и коробится, и лопается во время страшного взрыва. Гром гремит из земли, и вздымается ввысь гора... отпущенная на свободу взрывником Нурдманом, мечтательно и плавно вздымается к небу гора. Но вот она падает вниз. Колоссы Судного дня<sup>[18]</sup> и острые осколки, обломки, похожие на зубы акулы и челюсть огромной глубоководной рыбы-пилы, — все это падает дождем вниз, в вечность, и никогда не узнаешь, низвергается ли среди этого потока, совсем незаметно, рука взрывника.

На фоне этой мрачной картины, несомый взрывными волнами, Нурдман бесчисленное множество раз взлетал в воздух, но он этого ведать не ведал.

Когда они плыли, ветер настолько усилился, что стоило бы остановиться на ночь и пуститься в путь ранним утром следующего дня. У островка была неплохая гавань. Никаких следов на песке не виднелось. Хольгер пошел за мужчинами и стоял, ожидая, когда они найдут ключ и откроют дверь.

Лачуга оказалась очень маленькой, темной внутри, и пахло там заброшенностью. Внутри были очаг, две железные кровати с промокшими матрацами и накрытый клеенкой стол с лампой на столешнице. Прежние ночлежники после себя убрали, но дров оставалось не так уж много.

Когда огонь в очаге загорелся, мужчины спустились вниз к берегу за бензопилой. Вскоре мальчик услышал, как она свистит высоким детским голосом на другой стороне островка; пила вскрикивала всякий раз, когда обрезала конец бревна, затем некоторое время было тихо, а потом пила начинала кричать снова. Бензопила проходит сквозь дубовую тесину за шесть секунд, а обыкновенное деревянное бревно она режет как масло. Когда дерево распилено, раздается толчок, и пила подается в руки.

Хольгер не снимал пальтишко и шапку и вовсе не думал о выгоревшем огне, он был ребенком, ребенком непредприимчивым. Облокотившись на подоконник, он смотрел на волны, те были очень высокими и обходили островок вокруг так, что ты не знал, где наветренная сторона, а где подветренная.

Пока мама еще могла беспокоиться о Нурдмане, она обычно сидела наверху, и ждала, и говорила о Библейской горе<sup>[19]</sup> и о том, как грешно раскалывать то, что сотворил Бог. Только молнии Небесной должно это раскалывать, а когда настанет время и земля разверзнется под ногами, могилы откроются для тех, кто вел праведную жизнь и умер своей смертью. «Тебе ведомо, как это бывает», — горестно произнесла она Нурдману перед самой смертью.

Он защищался, говоря, что его все-таки никогда ничего худшего, нежели инфлюэнца<sup>[20]</sup>, не постигало... Потом она умерла, а он продолжал взрывать.

\* \* \*

Он вошел в лачугу и, не глядя на мальчика, опустил дрова перед очагом, но в том, как он бросал дрова в огонь, чувствовалось какое-то нетерпение. Он взял ведро и снова вышел.

Нурдман и Векстрём могли делать все что угодно. Спокойно и неустанно ступали их огромные сапожищи там, где они по-своему изменяли мир и преодолевали трудности, где прилаживали и раздробляли. Они умертвляли тюленей и дичь, они освеживали, и варили, и ели, и редко разговаривали друг с другом. Хольгер так боялся их и так сильно восхищался ими, что не было ни малейшей возможности заслужить их одобрение. Жалко, что он не догадался положить дрова в очаг. Это было легко.

Но вот Нурдман вернулся с ведром, наполненным водой, он сварил кашу. Векстрём открыл корзину с провизией, вынул оттуда брюкву, салаку и сказал:

— Выйди на двор и поиграй, покуда ждешь.

— Он не играет, — пояснил Нурдман.

После еды мужчины легли спать, ветер был слишком сильный, чтобы брат на лесу лосося.

\* \* \*

Камень весом в пятнадцать тонн, должно быть, был огромен. Разорвется ли он поперек на куски, будто от удара молнии, или распадется на части, как расколотое яблоко? Упадут ли осколки в образовавшуюся глубокую яму или камень будет разрезан в иглистые колючие плитки, в острые ножи, что кружатся в воздухе и отрезают голову взрывника? Что случится, коли Нурдман помрет, а голова его будет покоиться в траве? Никто не сможет больше им восхищаться, и никто не сможет бояться за него.

Хольгер вышел из лачуги и направился вниз к их суденышку. Оно стояло пришвартованным неподалеку от берега, а пластиковую волокушу<sup>[21]</sup> вместе с нагруженной на нее бензопилой повалили набок на носу судна. Небо покрылось тучами, и он огорченно подумал

было о дожде: дождь не в жилу, коли надо взрывать. Он сел на песок и начал рыть землю руками. Ямка вскоре наполнилась водой. Он попытался сделать ее глубже, но песок обваливался по краям, тогда он сунул вниз сапоги и стал зарывать их; теперь он не мог шевельнуться. Он крепко застрял в земле. Он был растением с очень длинными корнями и ничего вообще не мог с этим поделать.

\* \* \*

Вечером стало весело. Лампа горела на столе, они ели колбасу с картошкой и пили пиво. Векстрём завесил окошко брезентом, оттуда уже не дуло, и в лачуге становилось все теплее и теплее, а сама лачуга — все меньше и меньше. Но Нурдман и Векстрём все росли и росли, они стали такими огромными, что почти доставали до потолка. После еды они ничего не делали, даже не спали. Их огромность и мощь заполняли горницу покоем и добротой. В какой-то миг Нурдман поднялся и вбил гвоздь в дверной косяк.

— Это для твоего пальто и шапки, — сказал он, и Хольгер повесил их туда сам.

Дым от табачных трубок заполнил весь потолок. Когда Хольгеру захотелось спать, он лег на кровать, которую Нурдман привел в порядок; от одеяла пахло моторным маслом. Машина сама по себе была не так уж важна, как думал его отец. Она была теперь одинока там, на море, и пока она работала, никому до нее дела не было.

Море шумело снаружи, окружая островок, и лачугу, и их — всех троих, и мало-помалу наступила глубокая ночь.

\* \* \*

В шесть утра по-прежнему дул ветер, но они решили все-таки двинуться в путь. В лачуге было страшно холодно. Он лежал, закутанный в одеяло, и смотрел, что они делали. Термос стоял на столе, и они пили стоя, затем отставили чашки в сторону и начали собираться. Их огромные тени шевелились туда-сюда на стенах в свете лампы. Он оделся и снял пальтишко и шапку с гвоздя. Векстрём



стянул с окошка брезент и постоял недолго, держа руки на подоконнике и наблюдая, как дует ветер. Было еще темно, и море непрерывно грохотало.

Когда они вышли, ветер ударил дверь о стену. Снаружи было светлее, серый мрак сгущался там, где шли мужчины, мальчик последовал за ними вниз к берегу и ждал, пока они вытаскивали волокушу.

Они забрались на судно, а он устроился на скамье, втянул голову в плечи и замер в ожидании. Мотор стартовал медленно, он пыхтел и делал разбег; тяжело дыша, судно пустилось в ход и круто вывернулось из залива. Как только нос суденышка оказался за мысом, на них обрушилось все это серое море; оно стремительно и своевольно катило волны... движение, которое было пугающе беспомощным, пока суденышко и море привыкали друг к другу.

Нурдман и Векстрём сидели каждый на своей стороне у края рядом с Хольгером, они были крепки, как горный утес, и от них пахло мокрой шерстью. Постепенно судно начало следовать за волнами. Море плыло им навстречу, и волны, содрогаясь, отступали назад. Волны, возвышаясь и образуя свод, проплывали мимо, а порой суденышко на какое-то время застывало, содрогаясь от носа до кормы, но потом мотор упрямо начинал работать снова. Проблески света над морем стали заметнее. Судно приблизилось к шхере с каменным утесом, что был береговым знаком, вехой в пути на восток.

\* \* \*

Он прибывает, чтобы взорвать утес. Он зажигает бикфордов шнур, и огонь ползет вперед, ползет быстро. Нурдман стоит и смотрит на него, и поворачивается, и бежит! Берегового знака больше нет! Небо и земля рушатся — в разные стороны, каждое само по себе. А позднее на шхеру являются люди, и качают головой, и говорят:

— Это было здесь!

\* \* \*

Судно пришвартовалось не очень удачно у входа в гавань, но где-то же оно должно было причалить. Во всяком случае, здесь был напротив стальной трос, и кормовой фалинь<sup>[22]</sup> должен был выдержать. Нурдман привязал кошку<sup>[23]</sup> к стальному тросу, что опустился вниз и слегка дернулся в такт мелкой зыби. Затем он сказал сыну:

— Ты можешь приглядеть за кошкой! Коли она начнет вертеться, это худо! А коли взметнется прямо вверх, нам надобно плыть обратно.

Они взяли вагу<sup>[24]</sup> и ящик со взрывчатыми веществами и пошли в глубь шхеры. Хольгер сел у подножия горы и стал сторожить кошку. Встречное течение толкало моторную лодку с подветренной стороны вперед, и увлекало обратно, и било по фалиню; кошка поднималась и снова окуналась глубоко в воду, но вверх она не взметалась. Хольгер все время приглядывал за ней.

Каменный утес отсюда снизу не был виден. «Они позовут или попросту убегут? Откуда мне знать, когда это будет».

Теперь пустили в ход бур. Он заглушал шум ветра и волн, он работал как бешеный вместе с Нурдманом. Тот держал тяжелый, наполовину поднятый бур, косо приставленный к горе, лицо его было сковано напряжением, и он скалил зубы. Каменная пыль летала перед глазами, а бур отскакивал и искал себе опору, он подвывал меж его руками. Нурдман точно знал, что бур мог, а что он терпел.

Векстрём сидел, сплетая вместе взрывные заряды.

\* \* \*

Может статься, что все это, вместе взятое, было одной-единственной глупой ошибкой. Если огромный в мире камень лежит далеко в глубине моря, то, вероятно, Бог в своем непостижимом добросердии положил его там. «А потом, — думал мальчик, — потом является Нурдман. Ему плевать на то, что решил Бог, он глядит на камень и говорит: — Его надо убрать!»

Стало спокойнее, кошка все меньше и меньше металась из стороны в сторону, но он все время не спускал с нее глаз.

После восьми Нурдман забрал с собой мальчика на другую сторону шхеры и указал ему часть нависающей скалы, где он должен

стоять.

— Залезешь туда, — сказал он. — И не шевелись. У нас — другое место. Понял теперь?

Мальчик кивнул, закрыв рот рукой. Он забрался под нависающую часть скалы и стал ждать.

«Он не понимает, он думает, что я боюсь. Дело вовсе не в том, что тебя самого разорвет на клочки взрыв или ты упадешь в глубокую серую воду. Это касается того, кого ты ждешь и кто никогда не вернется домой».

Звук был краток и приглушен: казалось, огромное животное ворчит во сне.

Мальчик громко закричал и взбежал прямо на склон горы; там он и ждал камнепада после взрыва. И камни стали падать... вокруг него низвергались осколки, наяву все было точь-в-точь так же, как он себе представлял. Там летали они, зазубренные и острые, тяжелые куски древней горы докембрийской породы, и узкие, будто дротики, осколки, но они имели отношение к нему, касались его — его, и никого другого. Невозмутимо рассматривал он камни, что ложились на покой вокруг него в том порядке, какой определил им Нурдман.

## Друзья, Лучо<sup>{17}</sup>

Собственно говоря, нет в нем иного недостатка, кроме того, что он так ужасающе добр. Возможно, это естественно для огромного нескладного парня, такого как Лучо, но полагаю, что подобная безграничная, почти сокрушающая доброта свойственна человеку, на долю которого выпало множество разочарований. Мне довелось услышать об этом окольными путями, не от него самого, он избегает всего того, что касается личных обстоятельств. Я в самом деле думаю, что никто никогда не слышал, чтоб он хотя бы один-единственный раз по доброй воле высказался о ком-то из тех людей, кого он знает или с кем был когда-нибудь знаком. Это рождает пустоту вокруг него.

Само собой, мы любим Лучо. Но это привязанность, что граничит с отчаянием и даже переходит в раздражение.

Ведь благодаря своей работе в институте он встречается множество людей, и большинство из них полагает себя его друзьями после одной или двух встреч. Это неудивительно! Лучо по всем статьям соответствует тому, чего ты ожидаешь, нет, надеюсь, тому, чего ожидаешь от друга, а эта его манера говорить и слушать, смотреть на тебя и улыбаться обещает абсолютное доверие. И поверь мне, можно в самом деле положиться на Лучо, он неизменно снисходителен, отзывчив и всегда готов прийти на помощь. Но бывают случаи, когда он полностью отдаляется. Собственно говоря, всегда и всюду случается, что друзья обсуждают своих друзей и часто с юмором и нежностью говорят о трудностях характера друг друга, о всяких типичных чертах... И абсолютно запросто о том, что именно произошло и кто что говорил; такое случается в нашей жизни то и дело. Ничего плохого тут нет. Правда, не стоит обсуждать подобные вещи в присутствии посторонних — это было бы неприлично. В таких случаях Лучо отступает, он растерянно погружается в молчание и смотрит вниз, в стол, при этом улыбаясь, дабы показать, что его поведение никоим образом не содержит упрека. Во всяком случае, получается так, будто ты сам виноват в сплетнях. Когда же ты

переходишь к другим темам, лицо его светлеет в порыве благодарности, которая, если присмотреться, почти мучительна.

Я никоим образом не хотел бы исказить образ Лучо. Он не боится иметь свое мнение и отстаивает его горячо и радостно, может, не столько из убеждения, как ради того, чтобы иметь возможность высказаться, облечь свои мысли в слова. Его шведский безупречен, но говорит он не быстро, а слова выбирает особенные. Лучо всегда находит среди синонимов самые красивые, а совершенно будничные вещи одаряет преувеличенной, мелодично произнесенной похвалой. Возможно, именно из-за этого мы не всегда принимаем его всерьез. С ним бывает трудновато найти тему для беседы.

Мы встречаемся довольно часто, и я полагаю, что никто не лукавит, признаваясь, как сильно он нам нравится.

Меня всегда удивляло то, что он успевает сделать столько всего, никогда не торопится и не устает и у него всякий раз, когда звонишь, находится время.

Каждый раз, когда я навещаю Лучо у него дома, мне вспоминаются каштаны, блестящие коричневые плоды, белые внутри; мы набивали ими карманы, когда были мальчишками... а вся его квартира выкрашена в белый цвет, и то тут, то там расставлена тяжелая темно-коричневая мебель, сундуки и стулья с прямыми спинками и столы — слишком высокие и узкие. Даже картины у Лучо — темно-коричневые, и я могу поклясться, что он полирует их ореховым маслом. Над этим мы часто с величайшей нежностью потешались, а однажды, пока он готовил напитки в кухне, я заглянул в его спальню — и там то же самое! У Лучо была темно-коричневая большая кровать с четырьмя высокими столбиками, кровать совершенно брачного вида. Его глаза отличались таким же темным блестящим оттенком и выражали какую-то удивленную мягкость, забавно при этом, что он был совершенно лысый. Ему следовало бы иметь длинные каштановые волосы.

Гостей Лучо принимает спокойно, как будто без лишних эмоций.

И все же он встречает каждого так, словно уверен в том, что никакая другая встреча в этой земной юдоли не принесла бы ему большей радости. Лучо ненароком подбирает слова, уместные разве что на театральной сцене, и мы полагаем, что это некий лексический феномен, ведь в глубине своей души он именно это и предполагал.

Лучо производит впечатление человека, который в любой миг может разразиться дифирамбами или обнять собеседника, другими словами, перейти к преувеличениям. Это заставляет нас нервничать и говорить слишком откровенно, используя прилагательные в высоком стиле, непохожие на обычные условные выражения.

Лучо постоянно мерзнет, и в его квартире полно нагревательных приборов. Он купил себе большую шапку из волчьего меха и смешит нас, опуская уши от холода и ворча. Мы всякий раз хохочем. Нередко он проделывает это, появляясь в гостях и на вечеринках, где чаще всего скучает. Лучо, строго говоря, ничего не пьет, ну разве немного столового вина. Несмотря на свою природную, так сказать, меланхолию, Лучо бывает веселым и может даже стать шумным, когда что-то по-настоящему развлекает его. Само собой разумеется, мы рассказываем ему анекдоты (никогда о сексе); сплошное удовольствие — наблюдать за его напряженным, преисполненным ожидания лицом и его неудержимой радостью вслед за удачной развязкой.

— Как можно запомнить столько смешных историй! — восклицает он.

Сам Лучо анекдотов не рассказывает; как я теперь понимаю, он никогда ничего не рассказывал без предварительных размышлений и комментариев.

Его напряженное внимание к жизни куда меньше касается людей, нежели окружающих их вещей и явлений. Я говорю о тех случаях, когда беседа перескакивает, например, на историю, или на мебель эпохи античности, политику, религию, или — почему бы и нет — на искусство садоводства в XVII веке, промысел глубоководных рыб, да на что хотите! Тогда он с благодарностью и энтузиазмом вступает в дискуссию. Но сам он никогда не заводит беседы на подобные темы. Он ждет! Лучо напоминает мне притаившуюся в ожидании собаку, терпеливую, бдительную... и вот — палку бросают, и собака, охваченная дикой радостью, со всех ног кидается подать ее хозяину.

Я завидовал Лучо, его удивительной любознательности и энтузиазму, которые ему посчастливилось сохранить в его возрасте, но порой его наивное удивление окружающим миром не знало границ. Он никак не мог привыкнуть к тому, что люди летают на Луну.

— Ты можешь это понять? — спрашивает он, понижая голос. — Они там гуляют, на Луне! — говорит он почти шепотом. — Они берут

оттуда камни домой на Землю.

Его лицо застыло от удивления и восхищения — он наклоняется вперед и дотрагивается до моего колена, и в редком порыве доверия рассказывает о том, как стоял на склоне Колодезной горы в ожидании зимы, когда русские отправили собаку Лайку в мировое пространство.

— Я видел, как это произошло, — тихо произнес он. — Было больше двадцати градусов, и люди стояли, словно черные изваяния в снегу, один к одному, и все ждали, и увидели, как это происходило. Было не очень светло, и медленно-медленно, высоко над землей, мимо них, пролегла длинная-длинная кривая. Это было чудо!

Он таращит глаза и втягивает губы и неотрывно смотрит на меня так, словно поведал величайшую тайну. Или он может, например, сказать:

— Ты думал, как поразительно то, что каждую весну все начинает расти вновь? Новые зеленые листья появляются именно там, где и раньше.

Не стоит заблуждаться, Лучо при всем при этом совсем не наивен, он очень интеллигентен и может в самом деле высказывать критическую остроту суждений. Возможно, все дело в его необычайной способности удивляться. Порой, когда поздно вечером звонит телефон и он смущенно отсутствующим взглядом смотрит на свой аппарат, могу поклясться, что его вовсе не интересует, кто звонит ему так поздно, он попросту удивляется тому чудесному явлению, что телефон вообще звонит и передает чьи-то слова.

Иногда мне вдруг приходило в голову, что стоило бы опасаться за Лучо, побеспокоиться о нем лишний раз. И при этом я был уверен, что никому из нас не жилось так легко и весело, как ему. Его непосредственность, если можно это так назвать, была абсолютно органична, поэтому он не мог воспользоваться ею, чтобы добиться чего-то или избежать или чтобы произвести впечатление; ее воспринимали как шарм.

Трудно описать Лучо теперь — задним числом. Единственное, что не идет у меня из головы, — он никогда не говорил об Италии. Почему он этого не делал? Возможно, надо было бы попросить его рассказать что-нибудь о его стране.

Вначале мы играли, произнося слово «Ciao»<sup>[25]</sup>, когда встречали его, мы ловили какие-то его итальянские словечки, шуточки и

ругательства — это было естественно, своего рода знак внимания с нашей стороны, но Лучо это не нравилось. Он улыбался и замолкал. А иногда надолго впадал в меланхолию. Он не отключал свой телефон, он принимал нас как обычно, и все, собственно говоря, было как раньше, кроме того, что он как бы изображал Лучо, ну, вы понимаете... Он словно угасал, он отсутствовал, он соблюдал учтивость, был любезен и старался изо всех сил, однако без прежнего энтузиазма. Лучо был вообще ничто.

Тогда мы старались оставить его в покое. Я не знаю, что именно было тому причиной. Иногда, думается, это были газеты, то, что происходило в мире. Возможно, он тосковал по дому или тосковал по кому-то, кто был далеко-далеко... Или подошел такой возраст, когда внезапно оглядываешься и замечаешь, что все теперь не так, как ты раньше думал. Не знаю. И Лучо ясно давал знать, что не желает говорить о личных делах.

Когда это проходило, он снова надевал свою шапку из волчьего меха — это был радостный знак, что все вернулось на прежнее место.

Однажды я пытался подбодрить Лучо, взяв его с собой на лыжную прогулку; мы раздобыли ему снаряжение, и он здорово обрадовался. То было очень холодное воскресенье, и мы порядком прошли по льду на лыжах в глубь Южной гавани. Естественно, Лучо пришлось худо, но он изо всех сил волочил за нами ноги вплоть до того места, где вмерзла в лед лодка, — думаю, ему этого хватило. Когда он дошел туда, его лицо посинело и он едва мог говорить.

— Это бесподобно, — сказал он. — Поразительное зрелище! Одинокий ледорез, что сам застрял во льду!

Потихоньку мы вернулись домой. Знаете ли вы, что сделал он? Он умудрился натянуть лыжное крепление выше подъема ноги, выше лыжного ботинка, вы понимаете! Он ведь мог спросить, сказать что-нибудь? Но скорее всего он думал, что так и надо.

Приходилось все время следить за ним, он непрерывно совершал ошибки и то и дело бывал обманут. Хотя Лучо был настороже в ту пору, когда ухаживал за женщинами, он все же попадался. Несмотря на его полное безразличие в этом вопросе, я, бывало, рассказывал ему и о своих женщинах, и он в конце концов очень тихо говорил: «Но она была так молода и легкомысленна».



То было всегда одно и то же: молода и легкомысленна, или с опытом, но неуверенная, или любые другие качества, какие могут быть у женщин, — всегда находилось объяснение. Я знаю, что всему можно дать объяснение. Однако же намерение не равнозначно извинению. А извинение не означает, что все можно забыть. Но Лучо забывал. Он и вправду не вспоминал те несправедливые обиды и горечь, что накопились за всю его жизнь. Мы наблюдали это множество раз, сперва с недоверием, а позже с глубоким облегчением.

Естественно, мы никогда не причиняли ему зла сознательно.

Приятно было дарить Лучо подарки: он бывал так удивлен и обрадован, и так открыто это показывал, что дарящему не было надобности умалять ценность своего подарка. Казалось, он никогда не чувствовал себя отягощенным некоей благодарностью, и ему не приходило в голову поспешить с ответным подарком или со взаимной услугой. Когда же он отдавал визит вежливости, это происходило случайно, мимоходом, и если ты выказывал радость, он громко смеялся.

Теперь, когда я пытаюсь рассказать о Лучо, мне трудно понять, как он мог вызывать у нас такое раздражение! Перед тем как встретиться с ним, а особенно после этого я испытывал чувство какого-то нетерпеливого ожидания, и это могло продолжаться еще очень долго. Когда же я пытался напомнить себе, что он говорил, его интонацию, молчание, глаза... все то, что придавало нашей встрече свой неповторимый характер, все вдруг отступало и становилось нереальным, словно рассказ в книге. Это было как-то досадно, нет, это было странное чувство... словно бы напоказ... будто ты упустил или забыл что-то важное, это трудно определить.

Не знаю, почему он так безоглядно прилепился к нам, но наверняка он знал, что мы любили его. Дружба — это нечто столь серьезное, что трудно говорить об этом. Я пытался. Но боюсь, мне лишь отчасти удалось рассказать о той мучительной, преданной и несколько отстраненной дружбе меж нами и Лучо Джованни Марандино.

В безветренный день в ноябре — ближе к восходу солнца — она увидела на лодочном берегу белку. Та неподвижно сидела у самой воды, едва заметная в полусвете, но она знала: эта белка — живая, а она давным-давно ничего живого не видела. Чайки не в счет, они всегда куда-то летят, они словно ветер над волнами и травой...

Она накинула пальто поверх ночной рубашки и села у окна. Было прохладно, холод тихо застыл в квадратной комнате с четырьмя окнами. Белка не шевелилась.

Она попыталась вспомнить все, что знала о белках. Они плавают на дощечках меж островами, гонимые попутным ветром. «Но вот ветер стихает, — чуть жестоко думала она. — Ветер умирает или поворачивает в другую сторону, их гонит в море, и все происходит совершенно не так, как им представлялось. Почему белки плавают? Они любопытные или просто голодные? Храбрые они? Нет. Просто обычная наивность».

Она поднялась и пошла за биноклем, и, как только шевельнулась, холод заполз под пальто. Трудно было направить бинокль прямо, она положила его на подоконник и стала ждать, что будет дальше. Белка по-прежнему сидела на лодочном берегу и ничего не делала, просто сидела.

Она неотрывно разглядывала белку. В кармане пальто нашла гребень и стала медленно причесываться в ожидании...

Но вот белка поднялась в гору, очень быстро подскакала к домику и резко остановилась. Она внимательно и с недоверием наблюдала за зверюшкой. Белка сидела выпрямившись, свесив лапки, иногда лишь тельце ее вздрагивало, нервно и произвольно, напоминая то ли скачок, то ли попытку поползти. Потом белка метнулась за угол.

Она перешла к следующему окну — восточному, а потом к южному. На склоне горы никого не было. Но она знала, что белка там. Она могла окинуть взглядом остров от одного берега до другого. Там не было ни деревьев, ни кустов, она видела все, что появлялось, и все, что исчезало. Неспешно подошла она к очагу развести огонь.

Сначала две дощечки по краям. Над ними крестовина из свежесрубленного дерева для растопки, между ними береста, а затем поленья, что долго горят. Когда дрова загорелись, она начала одеваться, медленно и методично.

Она всегда одевалась, когда солнце всходило, одевалась тепло и предусмотрительно, тщательно застегивая кофточки и брюки из чертовой кожи, охватывающие ее широкую талию, а надев сапожки и спустив наушники для защиты от холода, обычно садилась у очага в состоянии отрешенного блаженства, совсем тихо и бездумно, меж тем как огонь грел ее колени. Точно так же встречала она каждый новый день, она угрюмо и покорно ждала зиму.

Осень у моря была вовсе не той осенью, какой она ее себе представляла. Тут никогда не штормило. Остров спокойно увядал, трава гнила под дождем, гора обнажалась, покрываясь темными водорослями гораздо выше уровня воды, ноябрь шагал все дальше в своем сером одеянии. Ничего не случилось, пока на берегу не появилась белка.

Она подошла к зеркалу над комодом и посмотрела: над верхней губой обозначилась сетка тонких вертикальных морщинок, которых она прежде не замечала. Лицо было неопределенного серо-бурого цвета, примерно такого же, как земля в ноябре, белки тоже становятся серо-бурыми к зиме, но цвета своего не теряют, они лишь добывают себе новый. Поставив кофейник на огонь, она сказала:

— Во всяком случае, никаких дарований у них нет.

Эта мысль позабавила ее.

Спешить ей теперь незачем. Пусть белка привыкнет к острову, а прежде всего к ее дому, поймет, что дом этот — не что иное, как неподвижный серый предмет. Но ведь дом, комната с четырьмя окнами вовсе не необитаемы, внутри там вырисовывается резкий и угрожающий силуэт. Интересно, как воспринимает белка движения в комнате? Как можно снаружи представить себе движения в пустой комнате? Единственная возможность не испугать зверюшку — двигаться очень медленно, совершенно беззвучно. Жить абсолютно тихой жизнью казалось ей привлекательным, причем делать это добровольно, а вовсе не потому, что сам остров был тихим.

На столе лежали белые аккуратные стопки бумаги, они всегда лежали так, а рядом с ними — писчие перья. Исписанные листы были

перевернуты. Если слова лежат лицом вниз, они могут ночью измениться, их потом словно видишь заново, даже если поспешно, при беглом взгляде, ведь это допустимо.

Быть может, белка останется на ночь. Быть может, она останется на зиму.

Очень медленно подошла она к угловому шкафу и открыла дверцы. Море сегодня было недвижно, все было недвижно. Она молча стояла, держа дверцы шкафа, размышляя, что же ей надо было там взять. И, как обычно, пошла обратно к очагу, чтобы вспомнить. Ей нужен был сахар. А потом она вспомнила, что это был вовсе не сахар, от сахара она полнела. Эти запоздалые воспоминания удручали ее, она расслабилась, мысли скользили и от сахара привели ее к собакам — она подумала: вот если бы собака высадилась на лодочном берегу! Но она отогнала эту мысль, отрезала ее, ведь эта мысль как бы принижала значение белки.

Она начата мести комнату, тщательно и спокойно, ей нравилось подметать пол. День был мирный, день без диалогов. Нечего было защищать и не на что жаловаться — все слова, которые могли бы стать другими словами или совсем легко могли быть отброшены, а иначе привели бы к большим переменам, — все было оборвано. Остался лишь домик, полный солнечного света, она сама, подметавшая пол, и приятный звук закипавшего на огне кофе. На всей комнате лежал отпечаток само собой разумеющейся обустроенности, все выглядело надежным и ничего общего не имело с местом, где ты либо заперт, либо брошен. Ни о чем не думая, она выпила кофе; она отдыхала.

Беглая мысль промелькнула в ее голове: «Сколько раздумий из-за белки, их миллионы, не больно они интересны. Один экземпляр из них угораздило очутиться здесь. Мне надо остерегаться, именно сейчас я все подвергаю уничтожению, возможно, я слишком долго была одна». Но эта мысль только промелькнула, да тут же и исчезла. Умное не по годам наблюдение, которое мог бы сделать каждый. Она отодвинула от себя чашку. Три чайки сидели на мысу, повернувшись в одну и ту же сторону. Теперь ей опять стало плохо. Слишком жарко у очага! Ей всегда было плохо после утреннего кофе. Ей нужна была ее маленькая рюмка мадеры, того единственного, что ей помогало.

Так начинается день: затопить очаг, одеться, посидеть перед огнем. Подмести пол, выпить кофе, утренняя рюмка мадеры, завести

часы, почистить зубы, присмотреть за лодкой, измерить уровень воды. Наколоть дров. Рабочая рюмка мадеры. Потом весь день впереди. Только в сумерках снова следуют ритуалы. Выпить рюмку мадеры в сумерках, внести флаг и помойное ведро, зажечь лампу, поесть. Потом весь вечер впереди. Все дни расписаны, пока не наступает темнота, и затем проверяется уровень воды, направление ветра и температура. Листок со списком всего необходимого, прикрепленный у дверного косяка: новые батарейки, чулки, только не колючие, всевозможные овощи, запаянное стекло для лампы, пила, сливочное масло, мадера, прищепки для белья.

Она подошла к шкафу — достать свое утреннее лекарство. Мадера уже давно стояла на холодке, в тени от баньки. Она подумала, холодная бутылка или нет. У бутылки должно быть свое определенное место. Лесенка подпола была крутая, трудная, и ей казалось трусостью хранить бутылки в захоронках вне дома. Бутылок оставалось немного. Шерри<sup>[26]</sup> не в счет — оно наводило грусть, да и для желудка нехорошо.

Утренний свет стал ярче, по-прежнему было безветренно. Ей бы надо попасть к автобусу и дальше в город, добыть мадеру. Еще не сейчас, но вскоре, пока не станет слишком холодно. Мотор барахлил, надо бы попытаться что-то с ним сделать, но на этот раз все дело не в свече зажигания. Единственное, что она понимала в моторах, была свеча зажигания. Иногда она выливали бензин из бака и процеживала его через бинт. Она приставила мотор к стене дома и прикрыла его пластиковым мешком, защищающим меховые вещи от моли. Мотор так и стоял сейчас. Можно было, конечно, поплыть и на гребной лодке, но лодка была тяжелая, а путь — слишком длинный. Все вместе было малопривлекательно, и она откинула эту мысль.

Она бесшумно открыла бутылку и держала ее между коленями, пока ладонью отвинчивала пробку. Она кашлянула как раз в тот миг, когда металлическая оболочка пробки с нарезкой треснула, налила мадеру в стакан и вспомнила вдруг, что все это — не нужно. Вообще-то утренняя мадера была единственным, на что она имела право, так как не совсем хорошо себя чувствовала. Она унесла стакан в дом и поставила его на стол, вино казалось темно-красным в лучах света, проникавшего в окно. Когда стакан опустел, она спрятала его за банкой с чаем.

Подойдя к окну, она посмотрела, не видать ли белки. Очень медленно переходила она от окна к окну, ожидая, что та появится. Она разогрелась от вина, огонь горел в очаге, она повернулась и совершенно спокойно шла против солнца, вместо того чтобы идти вместе с ним. Стояло все такое же безветрие, море сливалось с небом в серое ничто, но гора казалась черной от ночного дождя.

И вот появилась белка. Появилась как награда за то, что она была спокойна и смогла отстраниться от всего. Маленькое животное прыгало по склону горы, описывая мягкие кривые вдоль острова и спускаясь вниз к воде. Теперь она снова сидела на лодочном берегу. «Белка покинет остров, — подумала она. — Здесь негде поселиться, нечего есть, никаких других белок нет, налетят штормы, а потом будет слишком поздно». С трудом встав на колени, она вытащила ящик с хлебом из-под кровати. Животное знает, когда наступает время исчезнуть. Точь-в-точь как корабельные крысы, плывущие по воде или в лодке, но прочь от того, что осуждено на гибель.

Она перебралась через вершину горы, двигаясь как можно осторожней, отламывала мелкие кусочки черствого хлеба и клала их в расселины. И вот белка увидела ее. Она добежала аж до кромки воды и уселась совершенно неподвижно, заметная лишь как пятнышко, как силуэт, но поза ее выражала чуткость, бдительность и недоверие. «Ну, теперь белка исчезнет, теперь она испугается!»

Как можно быстрее разломала она хлеб, скорее, скорее. Затем разбросала кусочки по земле, помчалась в дом, вползла туда буквально на четвереньках и кинулась к окну. Лодочный берег был пуст.

Она ждала целый час, переходя от окна к окну. Легкий ветерок рисовал темные полосы на водной глади, и трудно было разглядеть, шевелится ли там что-нибудь — расплывчатый предмет, плывущее ли животное. Одни только птицы покоились, словно белые пятна, на воде, взлетали ввысь и скользили над мысом. Туман сгустился, и она вообще ничего не видела. Глаза устали и начали слезиться. Она была ужасно расстроена из-за белки и из-за самой себя, она сделалась смешной.

Настало время выпить рабочую рюмку мадеры, почистить зубы, наготовить дров, а также измерить уровень воды — сделать все необходимое. Не надо страшиться педантичности. Она достала стакан,

быстро и небрежно наполнила его, а когда он опустел, поставила на стол и молча прислушалась. Тишина изменилась, дул легкий ветер, устойчивый восточный ветер. Утренний свет в комнате исчез, исчезло раннее утреннее освещение, преисполненное ожидания и неиспробованных возможностей, теперь был обычный серый дневной свет, новый, уже использованный день, такой же грязный от дурных мыслей и незапланированных дел. Все, что имело отношение к белке, казалось безрадостным и неприятным, и она отрешилась от этих дум.

Стоя посреди комнаты, она ощущала тепло от рабочей рюмки мадеры и знала: это лишь ненадолго, все это пройдет, пройдет быстро, время должно быть использовано или дано вновь. Все кастрюли выстроены в ряд над очагом, все книги рядом друг с другом на своих полках, а на стене ее навигационный прибор, все эти чужие декоративные предметы, которые, возможно, нужны, чтобы жить в зимнем море. Там никогда не штормит. Можно кому-нибудь написать: «Мы стоим на восьмибалльном ветру. Я работаю. Яркий желто-красный поплавок бьется о стену снаружи, а оконные стекла покрыты пенной накипью. Нет! Они слепые от соленой морской воды. Волнуются... ослепленные. Пена прибора переливается через край... Милый господин К., мы стоим на восьмибалльном ветру!»

Никакого шторма нет, только дует ветер, злой и упрямый, или же блестящая морская гладь, которая лижет и лижет берега. Если ветер усилится, необходимо взглянуть на лодку; после того как взглянешь на лодку, выпиваешь рюмку мадеры, которая не в счет.

Но вот снова появилась белка. Легкий шорох, кто-то царапает стены домика. Лапки, скребущие оконное стекло... И она видит внимательную мордочку зверюшки, мелкие нервные подергивания носика, глазки, словно стеклянные шарики. Всего один миг, совсем близко, и вот уже в окошке снова пусто!

Она расхохоталась:

— Вот как, ты осталась, дьяволенок ты этакий...

Теперь ей нужен был ветер, какой угодно ветер, только бы он дул с материка и крупных островов! Она постучала по барометру и попыталась увидеть, не упала ли стрелка вниз. Она не обнаружила свои очки в привычных местах, их никогда не найти, но барометр, верно, так же непостоянен, как обычно, а ей нужна перемена погоды, сводка о перемене погоды... И тут она вспомнила: батарейки для

радио почти сели. Но это ничего, в самом деле, абсолютно ничего, ведь белка осталась. Она подошла к списку у дверного косяка и написала: «Еда для белки». Что едят белки? Овсянку, макароны, бобы? Она могла бы сварить овсяную кашу. Они бы приспособились друг к другу. Но белке не надо становиться ручной. Она никогда не должна и пытаться заставить ее есть из рук, забираться в комнату, являться на ее зов. Белка не должна становиться домашним животным, ее совестью, ее ответственностью, она должна остаться дикой. Они должны жить каждая своей жизнью и только разглядывать друг друга, узнавая одна другую, быть терпимыми, уважать друг друга и вообще продолжать жить по-своему в полной свободе и независимости.

Ее больше совершенно не интересовала та собака. Собаки — опасны, они привязываются, они мгновенно откликаются на все происходящее, они сострадательные животные. Белка — лучше.

\* \* \*

Они готовились перезимовать на острове, они приспособились друг к другу, и у них появились одинаковые привычки. После утреннего кофе она раскладывала на склоне горы хлеб и, сидя у окна, смотрела, как белка ест. Она догадалась, что животное не может видеть ее сквозь стекло и что белка, должно быть, не очень интеллигентна, но сама она двигалась по-прежнему медленно и привыкла тихонько сидеть у окна, очень долго, часами, разглядывая, как прыгает белка, и ни о чем особо не думая. Иногда она беседовала с белкой, но так, чтобы та не могла слышать ее. Она писала о ней, о своих ожиданиях и наблюдениях и проводила параллели между ними обеими. Иногда она писала оскорбительные вещи о белке, бессовестно обвиняя ее, в чем позднее раскаивалась и вычеркивала написанное.

Погода была переменчива, и все время становилось холоднее. Каждый день, вскоре после измерения уровня воды, она поднималась в гору к большой куче хвороста и свежесрубленных деревьев, чтобы наколоть дров. Она выбирала несколько досок и сучьев и рубила их довольно искусно. Тогда она была сильна и уверена, словно сидела перед очагом во время восхода солнца, полностью одетая, неподвижная, будто монумент, и бездушная.



Наколов дрова, она несла их вниз в комнату и раскладывала под очагом, тщательно обдумывая, куда положить каждое полено, каждый чурбан и каждую дощечку — плотно и красиво — треугольниками, четырех угольниками, узкими и широкими прямоугольниками и полукругами. То была загадка, головоломка, законченная интарсия<sup>[27]</sup>. Она сама заготавливала дрова на зиму.

Ветер постоянно менялся. С помощью канатов приходилось пришвартовывать лодку. Она не спала ночами и лежала, прислушиваясь и беспокоясь за лодку, ей казалось, что та ударяется о подножие горы. В конце концов она вытянула ее на берег. Но все-таки просыпалась, лежала и думала о паводке и шторме. Лодку надо было подтащить повыше, на вагонетке. Однажды утром она подошла к куче хвороста и извлекла оттуда срубленное дерево, гладкое тонкое деревце, предназначенное для рангоутов и решетчатых настилов. Одна из палок вдруг обломилась и... быстрое движение живого существа, что-то выскочило оттуда и молниеносно исчезло в страхе.

Она бросила деревце и отступила назад. Конечно, белка жила здесь! Она соорудила себе гнездо, а теперь это гнездо уничтожено.

— Но я ведь не знала, — защищала она себя. — Откуда мне было знать!

Оставив деревце на земле, она побежала домой за тонкой древесной стружкой и отбросила дверцу подпола. Только внизу, в темноте, вспомнила она про карманный фонарик, она всегда забывала про него! Жестянки, картонки, ящики... была ли у нее когда-нибудь древесная стружка, возможно, то была стекловата, а она нехороша для белки, там стеклянные волокна, если теперь, конечно, стекловату изготавливают из стекла... Она шарилась в темноте по полкам, снова ощущая ту прежнюю неуверенность, которая проявляется всегда и по-разному — ты постоянно то забываешь, то знаешь, о чем идет речь, то представляешь себе все это... Ящики, ящики — ряды ящиков, и ты нипочем не знаешь, какие из них пустые... А теперь необходимо собраться с мыслями. Этот ящик с ветошью, этот для мотора... картонка под лесенкой! Она нашла картонку и начала разрывать ветошь на длинные неподатливые клочки. Сопротивление ветоши и темнота превращались у нее в голове в картину ночных снов, снов о том, что она торопится и что уже почти поздно, она рвала враждебный материал и думала: «Я не успеваю». Сейчас речь шла не

о белке, а обо всем, обо всем, что могло быть уже поздно. В конце концов она взяла с собой всю коробку в охапку и попыталась поднять ее наверх по лестнице подпола. Коробка была слишком велика и застряла в отдушине подпола. Она выталкивала ее плечами и затылком, коробка лопнула — и ветошь вывалилась на пол. Речь шла о секундах. Она мчалась по склону горы, спотыкалась и бежала, она ползала вокруг штабелей дров и втыкала ветошь повсюду меж поленьями: ветошь легко было найти, и она не могла промокнуть.

— Вот тебе! Строй себе гнездо!

Теперь все было ясно! Ничего больше не поделаешь! Ее большое тело никогда еще не было таким тяжелым, она медленно продвигалась в защищенную от ветра расселину у склона горы, вытянула наконец ноги, чтобы заснуть, и совершенно забыла про белку. Она чувствовала себя уверенно и была полна чувства собственного достоинства, совершенно не заботясь о своих кофточках, сапожках и дождевике, глубоко погружившись в теплое пространство влажного мха и чистой совести.

После двенадцати начал накрапывать дождь. Она проснулась от глубокого ощущения, окончательно сложившегося, пока она спала. Сон был о дровах на зиму, о тех дровах, которые необходимы каждый день всю зиму. Повторное муравьиное странствие по склону горы, необходимость пилить и колоть все ниже и ниже по склону — этот упрямый и неумолимый враг, а он все только приближается и обнаруживает новые бездны холода и света вокруг охваченной ужасом окаянной белки, лежащей в своем гнезде из ветоши.

Им необходимо поделить дрова на зиму, это было абсолютно ясно. Один штабель дров для белки, а один — для нее, и это необходимо сделать сейчас же. Тело ее одеревенело после сна, но она была абсолютно спокойна, потому что предстояло сделать еще одно-единственное дело. Она подошла прямо к куче из хвороста и свежесрубленных деревьев, тяжелой, как дом. Она сбрасывала вниз бревно, бралась за конец бревна и, спотыкаясь, брела вниз по склону к домику. Склон был скользкий, мох скользил под подковками ее сапожек, но она все-таки продолжала спускаться вниз и прислоняла бревно к стене дома, затем поворачивалась и вновь поднималась в гору. Бревна надо было носить, а не скатывать вниз. Бревно, которое катится, — освобожденная неумная сила, сокрушающая все на своем

пути. Бревно надо нести к тому самому месту, где оно необходимо. Тот, кто несет его, должен сам быть как бревно, тяжелым и нескладным, но преисполненным скорости, силы и мощи. Все должно встать на свои места, и нужно попытаться понять, для чего можно использовать эту мощь. Я несу бревно, я держу его все крепче и крепче. Я дышу по-новому, у меня соленый пот...

Сумерки надвигались, а дождь все шел и шел. Странствие вверх и вниз по склону горы казалось размеренным миражом, и, пока она странствовала снова и снова вверх-вниз, у нее закружилась голова от необходимости поднимать и носить бревна, и балансировать, сбрасывать вниз свежесрубленные деревья, а затем снова подниматься вверх. У нее прибавилось сил, она стала уверенной в себе, а все мысли были сглажены, обезличены и оборваны на полуслове. Крепежный лес, доски, планки, бревна... Она сорвала с себя кофточки одну за другой и оставила их мокнуть под дождем.

«Я воплощаю в жизнь мои мысли. Я перетаскиваю то, что лежать в этом месте не должно, и оно попадает в нужное место. Мои ноги в сапожках напряжены. Я могу носить камни. Переворачивать и катить с помощью лома и подъемных сооружений огромные камни и выстроить вокруг себя стену, где каждый камень будет лежать на своем месте! Но возможно, возводить стену вокруг острова не стоит...»

В темноте она почувствовала усталость. Ноги начали дрожать, она оставила бревна и стала носить доски. В конце концов она выстроила у стены дома лишь ряды мелких поленьев. И такие же мелкие, боязливые мысли нахлынули на нее. Она представила себе, что белка жила вовсе не под этим штабелем дров, а в недрах другого штабеля, где не было сыро. Вдруг она ошиблась! Всякий раз, поднимая дощечку, она думала, что именно эта дощечка могла стать крышей над головой белки. Каждая деревяшка могла сбить ее с ног и уничтожить. Тот, кто осмелился бы дотронуться до штабеля с дровами, должен был бы точно рассчитать, как лежали бревна, как они сочетались друг с другом, продумать это спокойно и умно, без преувеличений, осознавая, был ли правильным сознательный энергичный бросок, или же это просто осторожное, терпеливое ковыряние.

Она прислушивалась к шепчущей тишине над островом, к дождю и к ночи. «Это невозможно, — думала она. — Никогда больше я туда не пойду».

Она вернулась в дом, разделась и легла. Она не зажигала вечером лампу, это было нарушением ритуала, но это демонстрировало белке, как мало ей дела до того, что творится на острове.

\* \* \*

Утром следующего дня белка не прискакала покормиться. Она ждала долго, но та не появилась. Причины быть обиженной или не доверять ей у белки не было. Все, что делала хозяйка острова, было просто, однозначно и справедливо, она разделила штабеля дров, а сама отступила. Но принадлежавший белке штабель дров был во много раз больше ее штабеля. Будь у зверюшки хоть малейшее доверие к ней, воспринимай белка ее просто как дружественно настроенное живое существо, та должна была бы понять, что она только и пыталась ей помочь.

Она села за стол. Она очинила карандаш и положила перед собой бумагу параллельно краю стола — это всегда помогало ей лучше понимать белку.

Стало быть, если теперь белка, несмотря ни на что, воспринимает ее как какой-то предмет, нечто незначительное и равнодушное, она может так же мало считаться с ней, словно с равным себе врагом.

Она попыталась сконцентрироваться, попыталась серьезно уяснить для себя, как воспринимает ее белка и каким образом испуг у дровяного штабеля изменил отношение белки к ней. Ведь не исключена и такая возможность: белка станет ей преданным другом! Но в решающий момент ее охватило недоверие. А вдруг, наоборот, белка полагала, что она ничтожество, с которым нечего считаться, что она часть, всего лишь часть острова, часть всего, что увядало! И с бурным наступлением осени навстречу зиме она, как уже говорилось, столь же мало могла воспринимать эпизод у штабеля дров как агрессивный поступок...

Она устала и начала рисовать четырехугольники и треугольники на бумаге. Она рисовала длинные, извилистые линии между

треугольниками и четырехугольниками и очень мелкие листочки, которые выростали со всех сторон.

Дождь кончился. Море, блестящее и какое-то одутловатое, вздулось и, как всегда, вечно сетовало о том, что оно, море, красиво. А потом она увидела лодку.

Лодка была далеко-далеко, но она плыла, она двигалась, она была длинная, черная, непривычной формы — ни чайка, ни камень, ни навигационный знак.

Лодка правила прямо к острову, да тут и не было ничего, куда можно было бы причалить, кроме этого острова; лодки, плывущие в боковом направлении, безопасны, они плывут по фарватеру, но эта шла напрямик, черная, как мушиное дерьмо.

Она рванула к себе свои бумаги, некоторые порхнули вниз на пол, она пыталась запихнуть их в ящик, но они загнулись и не влезали туда, вообще она поступила неправильно, совершенно неправильно, бумагам следовало бы лежать на виду — неприступным и защищающим, она вытащила их снова и разгладила. Кто же это, кто плыл сюда, кто рискнул плыть сюда, это были они, другие, теперь они нашли ее. Она бегала по комнате, передвигая стулья, разные предметы, потом снова двигала их назад, потому что комната все равно оставалась неизменной. Черное пятно приблизилось еще. Обеими руками схватилась она за край стола и спокойно стояла, прислушиваясь к шуму мотора. Делать нечего, они плыли. Они направлялись прямо к ней.

Когда звук мотора был уже совсем близко, она открыла окно с задней стороны домика, выскочила оттуда и побежала. Вытащить в море лодку было уже слишком поздно. Она приседала и, еле волоча ноги, бежала вперед к самому дальнему берегу острова, к горной расселине у самой воды. Здесь не был больше слышен шум мотора, а лишь медленные удары морских волн о подножие горы... А что, если они уже высадились на берег?! Они увидят лодку. Домик — пуст. Они удивятся, поднимутся на берег и увидят меня. Скрючившуюся здесь. Нет! Это не годится! Это не годится! Я должна вернуться.

Она начала ползти медленнее, в гору, к вершине. Мотор был выключен, они высадились на берег. Она растянулась в мокрой траве, проползла несколько метров вперед и приподнялась на локтях, чтобы лучше видеть.

Лодка бросила якорь возле отмели перед островом, там рыбачили люди. Трое стариков с квадратными спинами удили на крючок и пили кофе из термоса. Возможно, они изредка переговаривались. Иногда они притягивали удочки к себе, возможно, им попадалась рыба. Затылок ее устал, и она, не сопротивляясь, опустила голову на руки. Ее не интересовали больше ни белки, ни те, кто удил на крючок, абсолютно никто, она просто соскользнула вниз, в состояние полного опустошения, признаваясь самой себе, что разочарована. «Как же так, — откровенно думала она. — Как я могу выйти из себя из-за того, что они приплыли, а потом испытать такое ужасное разочарование, когда они не высадились на берег?!»

Назавтра она решила вообще не вставать, решение это было мрачным и самонадеянным. Она решила: «Никогда больше не встану». О том, что будет дальше, она не задумывалась.

День выдался дождливый, шел ровный спокойный дождик, который мог продолжаться сколько угодно. «Это хорошо, я люблю дождь. Завесы и драпировки и новые бесконечности дождя, который все продолжается и продолжается, и крадется неслышным шагом, и шуршит, и снова крадется по крыше. Дождь, как и неостребованный солнечный свет, который часами движется по комнате, по подоконнику, ковру, и отмечает полдень в кресле-качалке, и исчезает на очаге, словно обвинение. Сегодня все это благородно и серо по-обычному, безликий день без времени, он не в счет...»

Она вылежала теплую ямку для своего тяжелого тела и натянула одеяло на голову. Через небольшую отдушину для воздуха она видела две нежные розы на обоях. Ничто не могло ей помешать. Она снова медленно погрузилась в сон. Она научилась спать все больше и больше, она любила сон.

\* \* \*

Дождливая погода сменилась сумеречной к вечеру, когда она проснулась и захотела есть. В комнате было очень холодно, она завернулась в одеяло и спустилась в подпол за консервами. Она забыла карманный фонарик и наугад взяла банку в темноте. И остановилась, прислушиваясь, неподвижная, с банкой в руке. Белка

была где-то в подполе. Послышался негромкий звук, словно кто-то скребся, а потом — тишина. Но она знала, что та — здесь. Она, должно быть, будет всю зиму жить и ее подполе, а гнездо может устроить где угодно. Отдушина должна быть открыта, но так, чтобы туда не забился снова снег, а все консервные банки, всё, что ей нужно, надо перенести в комнату. И все же она никогда не сможет быть уверена до конца, живет белка в подполе или в штабеле дров.

Она поднялась наверх и закрыла за собой творило. Она захватила мясо в укропном соусе, а такое мясо она не любила. Поясок голубого неба обнажился у горизонта — узкая пылающая лента солнечного заката. Острова, словно угольно-черные полосы и комья, простирались в горящем море, оно горело, отражая небо до самого берега, где мертвая зыбь, вздымаясь, все снова и снова проплывала в виде одной и той же кривой вокруг мысов над покрытым слизью ноябрьским склоном горы. Она медленно ела, глядя, как алая лента заката вырастала на небе и над водой; то был безумный, немислимо алый цвет, и вдруг он угас, и все сразу же стало фиолетовым и, тихо перейдя в серый, потонуло в ранней ночи.

Ей совсем не хотелось спать. Она оделась, зажгла лампу и все стеариновые свечи, которые только смогла найти, она зажгла также очаг и положила горящий карманный фонарик на подоконник. В конце концов она повесила бумажный фонарик снаружи перед дверью, он ярко и неподвижно светил в спокойной ночи. Она достала последнюю бутылку мадеры и поставила на стол рядом со стаканом. Вышла на склон горы, оставив дверь открытой. Сияющий огнями дом был красив и таинственен, словно освещенный иллюминатор в чужой лодке. Она пошла дальше на мыс и принялась обходить остров, очень медленно, почти по кромке воды, повернувшись лицом к широко разверстой темной пасти моря. Только обойдя кругом весь остров и вернувшись обратно к мысу, она обернулась, чтобы оглядеть свой сияющий светом дом... Пора было войти прямо в его тепло, закрыть за собой дверь и почувствовать себя дома.

\* \* \*

Когда она вошла в дом, белка сидела на столе. Зверюшка метнулась в сторону, бутылка упала на пол и разбилась, она принялась собирать осколки, а ковер быстро потемнел от вина.

Подняв голову, она взглянула на белку. Та сидела, крепко вжавшись в стенку среди книг, словно геральдический знак, расставив лапки и не шевелясь. Она поднялась и сделала шаг по направлению к белке, еще один шаг — та не шевелилась. Она протянула руку к зверюшке, еще ближе, очень медленно, и белка укусила ее с быстротой, подобной молнии. Ощущение было, что ее режут ножницами. Она вскрикнула и продолжала кричать в пустой комнате от злости, она споткнулась об осколки и осталась стоять, то всхлипывая, то переходя на крик. Никогда еще никто не злоупотреблял ее доверием, не нарушал взаимной договоренности, как это сделала белка. Она не знала, протянула ли она руку к зверюшке, чтобы погладить ее или задушить, это было все равно, руку она протянула. Она подмела осколки, погасила свечи и подложила больше дров в очаг. А потом сожгла все, что написала о белке.

\* \* \*

В дальнейшем ничто в их ритуалах не изменилось. Она оставляла корм на склоне горы, и белка, прискакав туда, кормилась. Она не знала, где белка жила, и не заботилась о том, чтобы это узнать, она больше не спускалась в подпол и не ходила к штабелю дров на склоне горы. Это выказывало ее презрение, равнодушие, не опускавшееся до мщения. Но по острову она двигалась иначе, энергично, она могла выскочить из дома и захлопнуть за собой дверь, она тяжело и шумно ступала, а под конец пускалась бежать. Она подолгу стояла молча и совершенно неподвижно, а потом снова бежала в гору; она огибала вершину, пыхтя и задыхаясь, а затем мчалась по всему острову гуда и обратно, всплескивала руками и кричала. Ей было несколько не интересно, видела ее белка или нет.

Однажды утром пошел снег; тонкий пласт снега, который не таял, покрыл остров. Наступил холод, ей необходимо было поехать в город, купить кое-какие вещи, привести в порядок мотор. Она пошла посмотреть на мотор, на минутку приподняла его и снова поставила



на место, прислонив к стене дома. Может, поедет через несколько дней... когда подует ветер. Вместо этого она начала искать следы беличьих лапок в снегу. Вокруг погребца и штабеля дров земля была нетронута и бела, она обходила берега, она шла целеустремленно по всему острову, но единственные следы, которые там виднелись, были ее собственные, отчетливые и черные, — они прямоугольниками, треугольниками и длинными дугами пересекали остров.

Позднее днем она стала вдруг подозрительной и принялась искать под мебелью в доме, она открывала шкаф и ящики, а в конце концов влезла на крышу и заглянула в дымовую трубу.

— Черт побери, ты делаешь меня смешной, — сказала она, обращаясь к белке.

Затем она отправилась на мыс и начала считать обломки досок, беличьи кораблики, которые пускала с попутным ветром к материку, чтобы показать белке, как мало ей дела до зверюшки. Все они были на месте, их было шесть. На мгновение она почувствовала неуверенность, сколько их было — шесть или, возможно, семь. Ей следовало записать эту цифру. Она пошла обратно в комнату, вытряхнула ковер и подмела пол. Теперь все пошло кувыркком. Иногда она чистила зубы вечером, не заботясь о том, чтобы зажечь лампу. Причина беспорядка зависела от того, что у нее больше не было мадеры, которая разделяла ее день на определенные периоды, облегчая их и делая более четкими.

Она вымыла все окна и привела в порядок книжные полки, на этот раз не по писателям, а по алфавиту. Когда все было сделано, она стала подумывать о более совершенной системе и начала расставлять книги по собственному вкусу. Те, что ей больше всего нравились, — на самую верхнюю полку, а худшие — в самом низу. Она с удивлением обнаружила, что нет ни единой книги, которая бы ей нравилась. Тогда она оставила их на том же самом месте, где они стояли, и села у окна — дожидаться, когда выпадет больше снега. На юге виднелось скопление темных облаков, они могли принести с собой снег.

Вечером у нее появилась внезапная жажда общения, и она поднялась в гору с переносной рацией. Она развернула антенну, подключила питание и уловила отдаленные скрипы и шумы. Несколько раз она слышала беседу между двумя лодками, это могло произойти снова. Ночь была угольно-черная и очень тихая, она закрыла глаза и терпеливо ждала. Но вот она что-то услышала, что-то доносившееся издалека, даже не слова, а два голоса, говорившие друг с другом. Голоса звучали медленно и спокойно, они всё приближались, но она не могла разобрать, о чем они говорили.

Но вот она поняла, что беседа окончена, интонации изменились, а реплики стали короче. Они попрощались, было уже слишком поздно, — и она закричала:

— Алло! Это я! Вы слышите, что я говорю! — хотя она знала, что им ее не услышать.

Кроме того, в аппарате слышался лишь отдаленный шелест, и она выключила рацию.

— Глупо! — сказала она самой себе.

Ей пришло в голову, что, возможно, батарейки не подходят для радио, и она спустилась вниз — проверить. Да, они были слишком малы.

Ей необходимо ехать в город. Мадера, батарейки... Под словом «батарейки» она написала «орехи», но потом перечеркнула это слово. Кораблики уплыли, обломков досок было, во всяком случае, семь, а не шесть, все на одном и том же точном расстоянии от воды — шестьдесят пять сантиметров. Она прочитала свой список, и внезапно он превратился уже в перечень на иностранном языке, не имеющем с ней ничего общего, — прищепки, разная домашняя утварь, сухое молоко, батарейки. Единственное, что было важно, — это обломки досок, сколько бы их ни было — шесть или семь. Она взяла метр и карманный фонарик и снова спустилась вниз к берегу. Берег был пуст и совершенно чист. Там больше не было видно никаких обломков, ни одного-единственного, вода в море поднялась и унесла их с собой.

Она сильно удивилась. Она по-прежнему стояла на самом краю берега и направляла свет карманного фонарика в море. Свет разорвал поверхность воды и осветил серо-зеленый подводный грот; чем ниже, тем мрачнее он становился и был полон очень маленьких, неопределенных частиц, на которые она никогда не обращала

внимания. Она как можно дальше освещала воду в темноте. И там ее внимание привлек слабый конус света, окрашенный в яркий желтый цвет, — то был покрытый олифой кораблик, который гнал ветер с суши.

Она не сразу поняла, что это был ее собственный кораблик, она только смотрела на него, отмечая впервые беззащитные, полные драматизма движения дрейфующего кораблика, пустого кораблика. А потом она увидела, что кораблик вовсе не пуст. На корме сидела белка и слепо таранилась прямо на свет, она походила на кусок картона, на неживую игрушку.

Полудвижением она попыталась снять с себя сапожки, но остановилась. Карманный фонарик лежал на склоне горы и косо светил вниз, в воду: вал из набухших водорослей, которые колыхали поднимающиеся волны моря, затем темнота, где склон горы изгибался вниз. Это было слишком далеко, да и слишком холодно. К тому же — слишком поздно. Она сделала неосторожный шаг, и карманный фонарик соскользнул вниз к воде, он не погас, он все еще горел, опускаясь вдоль горного склона, — крошечный, становившийся все меньше и меньше, исчезающий луч света, освещавший беглые картинки бурого, призрачного ландшафта с подвижными тенями, а далее шла сплошная тьма.

— Ах ты, дьявольская белка! — медленно и с восхищением воскликнула она.

Она по-прежнему стояла в темноте в состоянии полного удивления, ощущая легкую слабость в ногах и смутно сознавая, что отныне все решительно изменилось.

Мало-помалу она снова выбралась наверх и прошла весь обратный путь, это отняло много времени. Только закрыв за собой дверь, она испытала чувство облегчения, великого и возбуждающего облегчения. Все принятые решения были отняты у нее. Ей не нужно было ни ненавидеть белку, ни беспокоиться о ней. Ей не нужно было что-то писать о белке, не нужно вообще ни о чем писать, все было решено и кончено с ясной и безусловной простотой.

За окном снова начал падать снег. Он падал густо и спокойно, настала зима. Она подложила еще дров в очаг и подкрутила фитиль в керосиновой лампе. Села за кухонный стол и начала писать, очень

быстро: «В безветренный день в ноябре, ближе к восходу солнца, она увидела человека на лодочном берегу...»

# Игрушечный дом (1978)

*Посвящается Пеннати<sup>[28]</sup>.*

## Обезьяна<sup>{19}</sup>

Газету приносили в пять часов утра, так бывало каждый день. Он зажигал ночник, надевал домашние туфли... Очень медленно шагал по гладкому цементному полу, как обычно волоча ноги среди вращающихся шкивов, их тени были черны, как дыры. После отливки гипса он наводил лоск на полу.

Дул ветер, и уличный фонарь за окнами мастерской отбрасывал тени, и сметал их прочь, и снова собирал воедино... казалось, ты идешь лесом, при лунном свете, в бурю. Он любил все это. Обезьяна проснулась у себя в клетке и висела на решетке, она жаловалась ему вкрадчиво и льстиво.

— Чертова обезьяна! — сказал скульптор и, выйдя в прихожую, взял свою газету.

На обратном пути он открыл дверцу клетки, и обезьяна, вскочив ему на плечо, крепко вцепилась в него. Она мерзла. Надев на нее ошейник, он закрепил ремень у себя на запястье. Обезьяна была обычной мартышкой из Танжера<sup>[29]</sup>, которую кто-то купил по дешевке, а продал дорого. Время от времени у нее начиналось воспаление легких, и приходилось вводить ей пенициллин. Ребятишки из их квартала вязали ей шерстяные фуфайки.

Скульптор вернулся к кровати и открыл газету. Обезьяна лежала молча, грея лапы о его шею. Вскоре она села перед ним, скрестив красивые лапы на животе и неотрывно глядя ему в глаза. Ее узкое серое личико было отмечено печатью вечного и горестного терпения.

— Чего тарацишься, проклятый орангутанг! — буркнул скульптор, продолжая читать.

Когда он брался за вторую или третью страницу, обезьяна внезапно с молниеносной точностью прыгала на газету, но всегда лишь на те страницы, что он уже прочитал. Это был настоящий ритуал. И вот газета развеяна по мастерской, обезьяна, торжествуя, кричит и ложится спать.

Быть может, это большое облегчение — ежедневно пробегать глазами в пять часов утра строчки, полные чепухи и грязи со всего мира, и получать подтверждение того, что это и правда грязь и

чепуха, тем более что газета вся разорвана и непригодна к чтению. Обезьяна помогала ему избавиться от подобного чтения. Теперь она снова безудержно прыгала по мастерской.

— Чертовка! — ругал ее скульптор. — Кретинка ты этакая, старая вшивая обезьяница. — Каждое утро он придумывал ей какое-нибудь новое прозвище.

Потом он сунул ее под одеяло, уложив спать и позаботившись о том, чтобы ей хватило воздуха. Обезьяна захрапела, а он стал читать колонку, посвященную искусству. Он знал, что на сей раз напишут о нем. Тон статьи был снисходительным — всего лишь унижительная благожелательность, которую он во внимание не принимал; он был так стар, что ему было почти безразлично. Если бы не обезьяна, он сразу бы открыл страницу, посвященную искусству, но она помогла ему прочитать ее мимоходом, как все прочие.

— Спи, сатана ты этакая! — сказал он. — Ничего-то ты не смыслишь, хочешь только покрасоваться! Да еще рвать и уничтожать!

И вправду! Обезьяна была такой же, как и другие: малейшая трещинка, малейшие пятно или изъян — раз, и пальцы ее уже там, чтобы разорвать или испортить... Она видела все-все, и, стоило ей даже мельком заметить хотя бы малейшую тень слабости, она тут же взметалась и рвала, крушила все, что попадалось ей под руку. Такова их природа, ведь обезьяны не ведают, что творят, и поэтому им прощительно. Других же прощать нельзя. Скульптор уронил газету на пол и повернулся лицом к стене. Когда он проснулся, было уже очень поздно, и он поднялся, испытывая обычное гадкое чувство потерянности, чувство, будто что-то упущено. Он очень устал. Сначала он втащил в клетку обезьяну, она не шевелилась, а только сидела в углу в своем вязаном джемпере, очень худенькая со спины.

На улице царил оживленный движение, и лифт в доме работал беспрерывно. Скульптор сполоснул несколько запачканных глиной тряпок и подмел пол. Легко подметать шлифованный пол! Длинная щетка проникает между ножками вращающихся шкивов, затем скользит словно по шелковой дорожке, а потом сметает весь мусор в совок, а оттуда вниз в мусорное ведро. Он любил подметать. Несколько раз по старой привычке он подходил к окну, но выплянуть наружу больше не мог: из-за яркого света оно было прикрыто и стало слепым. Он накормил обезьяну. Ему пришлось в голову сменить

простыню, и он подумал было, не вытащить ли ящик с гипсом во двор, но потом отказался от этой затеи и еще немного подмел мастерскую. Он собрал кусочки старого мыла, ставшие такими маленькими, что их невозможно было использовать, набил ими жестянку и налил туда воды. Он снял тряпки, испачканные глиной, со статуэтки и посмотрел на нее, повернул на пол-оборота вращающийся шкив, а потом снова вернул его обратно. Он подошел к обезьяньей клетке и сказал:

— Ах ты негодяйка, ты так уродлива, что смотреть на тебя тошно!

Обезьяна призывно закричала и протянула лапы сквозь решетку. Он позвонил Саволайнену, но, не дождавшись ответа, положил трубку. Собственно говоря, можно было сходить поесть, и делу конец. Он решил взять с собой обезьяну, чтобы внести некоторое разнообразие в ее жизнь.

Но она не желала выходить, а только бросалась взад и вперед по клетке.

— Чего тебе хочется, — спросил он, — хочешь выйти или остаться здесь в грязи?

Он ждал. В конце концов она вышла из клетки и сидела совершенно спокойно, пока он надевал на нее шубку из кошачьего меха. Когда же он завязывал ленты шапочки у нее под подбородком, она подняла мордочку и посмотрела на него прямым невыразительным взглядом золотистых, близко посаженных глаз. Скульптор смотрел в сторону, оскорбленный внезапно позой абсолютного равнодушия этого животного. Вышли они вместе, и он держал обезьяну под пальто. Ветер дул по-прежнему. Мальчишки, болтавшиеся без дела на Эспланаде, увидев скульптора, развеселились и заорали:

— Обезьяна! Обезьяна!

Она рванулась, чтобы наброситься на них, и стала метаться туда-сюда на ремне ошейника, она орала на мальчишек, а они кричали ей в ответ, провожая скульптора с обезьяной до самого угла. И уже там она внезапно и больно укусила одного из них.

— Чертова обезьяна! Чертова обезьяна! — однотонно певучими голосами тянули мальчишки.

Скульптор вбежал в трактир и спустил обезьяну на пол.



— Опять она здесь?! — сказал гардеробщик. — Вы, господин, знаете ведь, что случилось в последний раз. Животным здесь запрещено.

— Животным? — переспросил скульптор. — Вы о кошках и собаках? Или вообще о тех, кто ведет себя подобным образом в здешнем кабаке?

Саволайнен и другие ели, сидя за столом.

— Обезьяны, — заметил Саволайнен, — известны своей разрушительной силой...

— О чем ты, черт побери?

— ...своей настойчивой тягой к уничтожению. Они разбивают все вдребезги...

— И своей *нежностью*, — продолжил скульптор. — Они пытаются утешить тебя.

Линдхольм, улыбнувшись, съязвил:

— Да, сегодня это может тебе понадобиться. Но ведь могло бы быть и хуже!

Обезьяна сидела у скульптора под пальто, и он чувствовал, что она непрерывно дрожит.

— Хуже?! — с притворным ужасом воскликнул Саволайнен. — Что ты имеешь в виду... «еще хуже»?

Скульптор сказал:

— Успокойся, сатана... — И во внезапно наступившей тишине добавил: — Я разговариваю здесь только с обезьяной.

— Послушай-ка, — вмешался Перман, — нечего обращать на них внимание, они говорят то, что думают. Ну и что же! Жаль, конечно, что все верят в то, что говорят, ведь просто-напросто случается, что оказываешься на дне, хуже не бывает! А потом, черт возьми, надо опять с трудом карабкаться и подниматься.

— Если стар, — уточнил Стенберг. — Чем ты питаешься? Глиной? Похоже на то. Как ты сам это называешь?

— Дьявольский поганец! Жестокий адов идиот!

Обезьяна внезапно вскочила и помчалась, сшибая стаканы, к Стенбергу и укусила его за ухо. А затем, пронзительно крича, вернулась обратно, чтобы укрыться под пальто хозяина.

— Нежность, — произнес Стенберг, разве не это ты сказал. — Очень нежное животное.

Скульптор поднялся и ответил, что как раз именно это он и хотел сказать, а вообще ему не по душе меню этого заведения и у него дела.

— В «Ритце»<sup>[30]</sup> идет фильм о Тарзане, — сказал гардеробщик. — Вам, верно, туда надо?!

— Естественно, — ответил скульптор. — Вы ведь настоящий интеллигент.

Он дал гардеробщику на чай слишком много, только чтобы выказать свое пренебрежение.

Ветер набирал силу. Они шли по Эспланаде, мальчишек не было видно. «Не стоит, — думал скульптор, — никакого желания у меня нет...» Обезьяна была совершенно неуправляема, он решил покрепче прижать ее и согреть под пальто, но она вырвалась и душила себя своим собственным ошейником. Она подняла крик и в конце концов развязала державший ее ремень. На какой-то миг она затихла, затем, вывернувшись у скульптора из рук, влезла на дерево и, крепко ухватившись за ствол, сидела там с испуганным видом, будто маленькая серая крыса. Она мерзла так, что ее всю трясло. Ее длинный хвост оказался почти под рукой, хозяин мог схватить его, но он лишь молча стоял и ничего не делал. С молниеносной быстротой обезьяна исчезла на дереве, уже сбросившем листву, там она и висела, словно плод темного цвета, и он подумал: «Бедная ты чертовка, тебе холодно, но карабкаться и подниматься ты, во всяком случае, можешь!»

## Игрушечный дом {20}

Александр был обойщиком старой школы. Он владел секретами высокого мастерства, ему еще была присуща естественная гордость мастера своей работой. Он обсуждал ее только с теми заказчиками, у которых был вкус, которые чувствовали красоту и материала, и работы; всех остальных он отсылал к своим подручным — открыто высказывать свое презрение ему не хотелось.

Мастерская была старая и очень большая, она находилась в подвале, куда вела лестница прямо с тротуара. Работы всегда было много, сам Александр занимался резьбой по дереву и сложной обивкой, более простые заказы выполняли его подручные. Еще не перевелись люди, которым хотелось, чтобы орнамент на мебели был ручной работы, их было немного, но все-таки они были. А как придирчиво они выбирали обивку! Александр не торопил их. Он подолгу серьезно беседовал с ними, обсуждая детали того или другого стиля. Иногда он уходил из мастерской и посещал аукционы или лучшие антикварные магазины, и, куда бы он ни пришел, что-нибудь приобрести или просто молча осмотреть вещи, его всюду встречали как почетного гостя. Кое-что отправлялось к нему на квартиру; мало кто удостоился чести побывать в этом святилище. Квартира Александра находилась на тихой улице в южной части города. Вот уже двадцать лет Александр делил ее со своим лучшим другом Эриком, они оба с одинаковым уважением относились к красивым вещам, которые со временем скопились вокруг них благодаря заботам Александра.

Иногда в рабочее время Александр углублялся в чтение. Он читал классиков, в том числе французских и немецких, но чаще всего русских, которые пленяли его своим неистощимым терпением и внушали чувство несокрушимой прочности мира. Нахмутив густые брови, он читал в рабочее время, уединившись где-нибудь в укромном уголке, вся его коренастая фигура выражала глубокую сосредоточенность, и в эти минуты никто не решался его беспокоить.

Когда пришло время расстаться с мастерской, Александр, тщательно все обдумав, выгодно продал ее. Он забрал домой

множество разных образцов: кистей, тесьмы под старину, а также альбомов с образчиками обивок и орнамента. Почти все они уже давно вышли из моды, но между тем были красивы, хотя мало кто в этом разбирался. Примерно тогда же Эрик оставил свой банк и вышел на пенсию. Они спрятали образцы Александра в шкаф и выпили шампанского, чтобы отпраздновать обретенную свободу.

Вначале им было трудно. Они не привыкли целыми днями быть вместе, заняться им было нечем, и это их тяготило. У Эрика болели глаза от телевизора, а Александр любил только многосерийные русские фильмы. Они приобрели стереоустановку и пытались коротать время с помощью кассет и пластинок, которые покупали, если им нравилась упаковка. Их друзья, Яни и Пекка, давали им советы, Александр и Эрик восхищались музыкой, но не любили ее — во всяком случае, не настолько, чтобы ее слушать.

— Выключи, — просил Александр, — музыка мешает мне читать.

Но вообще-то он потерял прежний вкус к чтению — возможно, книги привлекали его, только пока он читал их украдкой в рабочее время.

— Ты даже страниц не переворачиваешь, — говорил Эрик. — Ты чем-нибудь расстроен?

Голос у Эрика всегда был одинаково ровный, добрый и заботливый. Толстые стекла очков скрывали выражение глаз.

— Нет, — отвечал Александр, — ничем я не расстроен. Можешь слушать дальше, если хочешь.

— Это необязательно, — говорил Эрик.

Квартиру убирал Эрик, он протирал мебель специальным составом и каждое утро пылесосил ковры. Утро было самой приятной частью суток. Открывались окна, и, пока друзья пили кофе и читали каждый свою газету, Эрик придумывал, что он приготовит на обед и на ужин, иногда он спрашивал совета у Александра. Александр смеялся и отвечал:

— Реши сам, пусть это будет для меня сюрпризом. Я знаю, ты меня не разочаруешь.

Эрик шел в лавку за углом или на рынок, который был немного подальше. Иногда они приглашали на ужин Яни и Пекку и все вместе слушали музыку. Но днем время тянулось бесконечно.

Однажды в сентябре Александр начал мастерить игрушечный дом. Впрочем, он еще не знал точно, что это будет. Он сделал пока маленький овальный столик красного дерева на точеной ножке и два викторианских кресла, которые обил красным бархатом.

— Такие маленькие, а совсем как настоящие, — восхитился Эрик. — И как только они у тебя получились! Жаль, что у нас нет знакомых детей.

— При чем тут дети? — удивился Александр.

— А для кого же ты это сделал?

— Просто взял и сделал, — ответил Александр. — Давай попьем кофе?

Он смастерил шкаф с застекленными дверцами. Смастерил этажерку с точеными балясинами. Стол в гостиной, за которым Александр работал, был застелен газетами, и Эрик пылесосил ковры два раза в день. В конце концов друзья договорились, что Александр перенесет свои игрушки на кухню. Каждое утро Александр, выпив в гостиной кофе, шел на кухню и погружался в работу. Он сделал мягкий диван, а из тонких медных трубочек смастерил кровать, спинка и изголовье кровати были украшены медными шариками. Ему пришло в голову, что матрас к кровати мог бы сделать Эрик, но мастерить матрас трудно, тут требуется большая точность. Эрик же был человек неискусный и разбирался только в цифрах и домашнем хозяйстве. Поэтому Александр ничего не сказал другу и сделал матрас сам.

Мебели все прибавлялось, и она становилась все изысканней — мебель для гостиной, мебель для кухни, мебель для террасы и, наконец, просто разнотильная мебель, которую обычно хранят на чердаке или в кладовке под лестницей. Все вещи Александр делал одинаково тщательно. Потом он сделал окна. Французские окна, чердачные окна, окна, украшенные затейливыми наличниками на карельский манер, и скучные конторские окна. А также двери. С филенками и гладкие, вычурные и простые.

— Когда ты мастерить мебель, это я понимаю, — сказал Эрик. — Но зачем тебе окна и двери, если у тебя нет дома? И почему ты не убираешь за собой после работы?

— Это мысль! — воскликнул Александр. — Ты мне поддал идею. — Он оставил все как было, пошел в гостиную и включил

музыку. — Хорошая музыка, — сказал он, но сам ее не слушал.

— Выключи! — крикнул ему Эрик.

Александр послушно выключил музыку и продолжал размышлять. Он решил построить дом, замечательный дом. Но делать чертежей он не стал, пусть дом растет сам по себе, комната за комнатой. Начать следовало с подвала. Александр стал собирать материал. Он поехал за город на старую каменоломню и набрал много красивых каменных осколков для фундамента, потом раздобыл дощечки — осиновые, бальзовые, сосновые — и утащил весь кухонный стол бутылками и банками с клеем, растворителями и красками. Он увлекался все больше и больше. Эрик хотел, чтобы Александр нашел другое место для своего хобби: на кухне нужно готовить пищу, и он не желает есть обед с опилками. Друзья пришли к соглашению и разделили кухню перегородкой из оргалита, доходящей почти до потолка. Окно осталось на половине Эрика, но Александр повесил в своем чулане мощную лампу. Поставил верстак. Кухонный шкаф, оказавшийся в его чулане, освободили от посуды, которую разместили на импровизированных полках в другой половине кухни. Не жалея времени, Александр любовно разложил и развесил в кухонном шкафу свои инструменты — каждый на своем месте, чтобы ими было удобно пользоваться. Закончив работу над подвалом, он занялся столярной мастерской, это была самая настоящая мастерская, только маленькая. В перегородке, разделявшей кухню, он сделал небольшое оконце, иногда он выглядывал в него и спрашивал у Эрика:

— Что у нас сегодня на обед?

Или Эрик сам заглядывал к нему.

— А что ты сейчас делаешь? — интересовался он. И Александр осторожно протягивал ему крохотный рубаночек, чтобы Эрик мог выразить свой восторг.

Столярная мастерская была небольшим сарайчиком с косою крышей. Александр нарочно сделал его из старых, посеревших досок, он потратил много усилий на то, чтобы стекло в окне было с трещиной, грязное и завешено тряпкой — все как на самом деле. В мастерской стояла деревянная колода, верстачок, лежали крохотные инструменты, до мельчайших подробностей повторявшие настоящие. Никогда в жизни у Александра не было так хорошо на душе. Он

наслаждался тишиной. Порой в глубине квартиры, словно в ином мире, звонил телефон.

Эрик говорил:

— Звонили Яни и Пекка. Надо бы пригласить их на обед.

— Да, да, непременно. Вот только закончу мастерскую, — отвечал Александр.

Он допоздна засиживался со своими игрушками, перестал смотреть телевизор, быстро проплатывал пищу и сразу же снова скрывался в своем углу. Эрик покупал новые кассеты и пускал звук на полную мощность. Когда вечером Александр приходил в спальню, вид у него был отсутствующий и благодушный, засыпал он мгновенно. А рано утром снова принимался за работу, кофе и бутерброды Эрик подавал ему через окошко.

— Где ты там? — спросил Эрик.

Его огорченного длинноносого лица было почти не видно, вместо глаз, как пустые зеркала, смотрели стекла очков.

— Что ты спросил?

— Где ты? Где ты сейчас находишься?

— На первом этаже, — ответил Александр. — Я в кухне. Делаю люк для подвала, очень занятно. Он должен прийтись точно над лестницей, ведущей в подвал.

— Вот именно.

— Что ты имеешь в виду? И почему у тебя такой голос?

Эрик ответил не сразу:

— Ничего. Как хоть он выглядит, этот твой люк?

Александр показал крышку люка. Она была прикреплена к полу крохотными петлями, тоненькая цепочка удерживала ее, не позволяя упасть. Под ней скрывалась в темноте лесенка, ведущая в подвал, это была ювелирная работа.

— Красиво, — сказал Эрик. — Как тебе пришло в голову сделать этот игрушечный дом?

— Он не игрушечный, а настоящий, — не задумываясь ответил Александр.

— Для кого же он?

Мало ли для кого. Для нас с тобой, например. Построю все так, как мне хочется. Первый и второй этажи будут с видом на море. Выше — гостиная.

— Где же будет твоя гостиная?

Александр усмехнулся:

— Гостиная будет, к примеру, в Берлине. А мансарда — в Париже.

Там поглядим.

Эрик осмотрел кухню.

— Ты сделал деревянную плиту?

— Ну и что? Ведь это красиво.

— Да, но я не смогу ею пользоваться. Это не годится. Если человек привык к современной кухне...

— Привыкнешь и к этой, — сказал Александр.

Он никогда не подметал в своем чулане. Пол был покрыт толстым слоем стружек, опилок и каменной пыли, Александру нравилось ступать по этой мягкой «почве», созданной его трудом, нравилось, что она все время растет у него под ногами. Эту грязь он разносил по всей квартире, и Эрику приходилось пылесосить ковры по несколько раз в день.

Закончив работу над потолком кухни, Александр задумался об электрическом освещении. В доме должно быть электричество. Он раздобыл необходимый материал — тонкую медную проволоку, лампочки и батарейки от карманного фонарика — и долго трудился над проводкой на первых двух этажах. Что-то у него не ладилось. Ему пришлось менять проводку в междуэтажном перекрытии, и он повредил лестницу. Эрик считал, что дом прекрасно мог бы освещаться снаружи.

— Нет, это невозможно, — возразил Александр. — Неужели ты не понимаешь, что дом должен светиться изнутри? Он должен жить. Там, внутри, находимся мы с тобой, а все остальные — снаружи. Но батарейки почему-то сразу перегорают. А может быть, где-то происходит замыкание.

В конце концов он позвонил Яни, у которого был друг-электрик по прозвищу Бой. Бой пришел и осмотрел дом.

— Эти бездарные батарейки придется выкинуть, — сказал он, — от них толку не будет. Надо поставить в подвале трансформатор.

И объяснил подробно, что делать. Весь вечер они толковали об освещении дома и даже за ужином продолжали говорить о проводке.

— У нас все пойдет как по маслу, — сказал Бой. — В электричестве ты, конечно, ничего не смыслишь, но я тебя научу. Я



тебе все устрою. Чтобы сделать проводку, придется вынуть перекрытие. Свое дело ты знаешь, но в электричестве разбираешься слабовато.

Бой начал бывать у них почти каждый вечер, часто он приносил с собой крохотные настольные лампы, бра и даже люстру — все это он находил в магазинах «Сделай сам» или в магазинах игрушек. Он приходил прямо с работы, в спецодежде, и оставлял на коврах грязные следы, но Александр как будто не замечал этого, он восхищался всем, что приносил ему Бой, и внимательно выслушивал его предложения, как улучшить дом.

— Ты пойми, — говорил Бой, — твой дом еще прославится на весь мир. Но освещение у тебя слабое место. Положись на меня.

Бой был невысокий и худощавый, верткостью и всеми своими повадками он напоминал белку. Часто он начинал хохотать, обнажая верхние зубы вместе с десной. Он дружески хлопал по спине и Эрика, и Александра, а Эрик этого терпеть не мог. Чтобы его хлопал по спине какой-то коротышка в ботинках на высоком каблуке! Когда Бой приходил, они обычно сперва недолго сидели в гостиной, все втроем, беседуя о всякой всячине, о пустяках, о которых беседуют люди, собравшиеся уходить, но задержавшиеся из вежливости. Потом Александр вставал, спрашивал, не пора ли потихоньку приняться за работу, и они с Боем уходили в чулан. Там их голоса сразу менялись, звучали тише и уверенней. Время от времени Александр и Бой замолкали, задумавшись, что делать дальше с какой-нибудь деталью. Покончив с электричеством, они стали обсуждать конструкцию эркера и винтовой лестницы. Эрик на кухне готовил ужин. Из-за пыли окно в перегородке было закрыто, он слышал только их голоса, не разбирая, о чем они говорят. В этом деловитом обмене вопросами и ответами царило полное взаимопонимание. Их негромкие, порой умолкающие голоса напоминали шелестящий в траве порыв ветра: вот он налетел, потом ослабел, затих и вдруг снова зашелестел листвой. Иногда Бой смеялся — так смеется человек, решивший трудную задачу.

В декабре Александр делал уже гостиную, он заканчивал французские окна, вставляя кусочки цветного целлофана в сложные переплеты полукруглых рам.

Эрик вошел к нему в чулан.

— Кстати, о твоём подвале. Я тут разбирал аптечку и нашел пустые баночки из-под мази. Их можно использовать для варенья. Я имею в виду, что их можно заполнить чем-нибудь красным, похожим на варенье, завязать им горлышко и наклеить на них этикетку.

— Молодец! — воскликнул Александр. — Замечательно! Возьми гипс. Я тебе покажу, как смешать его с краской.

Эрик занимался «вареньем» на кухонном столе. Дело у него шло на лад; приготовив очередную баночку и наклеив на нее этикетку, он показывал ее через окно, чтобы получить одобрение. В конце концов Александр сказал: хватит, но Эрик продолжал показывать ему баночки, и Александр рассердился.

— У нас сейчас очень сложная работа, — объяснил он. — Нам не до варенья. Придумай себе какое-нибудь другое занятие.

Эрик ушел из кухни и включил в гостиной телевизор. Шла передача о металлургической промышленности. Вскоре Александр пришел за ним и сказал, что для подвала нужны яблоки. Только не очень много. Их можно слепить из глины, но только не надо слишком разводить ее водой, а то ничего не получится. Яблоки у Эрика и вправду получились не совсем удачно, так же как огурцы, бананы и дыни. Но когда их покрасили и сложили в полумраке под лесенкой, их недостатки перестали бросаться в глаза.

Дом рос все выше и выше — теперь работа шла уже над мансардой — и становился все более причудливым. Александр был буквально одержим своим творением. По утрам он просыпался с мыслью о Доме и, встав, тут же начинал придумывать, как сделать опорные конструкции, винтовую лестницу или шпиль. Никогда еще ему не жилось так легко и свободно. Даже по ночам его перестали мучить страхи и недовольство собой. Теперь стоило ему закрыть глаза, и он оказывался в своем Доме, проверяя, все ли там сделано как надо. Он мысленно переходил из комнаты в комнату, поднимался по лестницам, выходил на балконы, с обостренной придирчивостью осматривал каждую мелочь, проверяя, чтобы все было как следует — безусловно и прекрасно. Он видел башню, которая завершит его работу и увенчает триумф. Иногда по ночам очень тихо, чтобы не разбудить Эрика, он вставал и шел украдкой на кухню в свой чулан. Там он зажигал карманный фонарик, садился на стул и смотрел. Он направлял луч фонарика в одно окно за другим, точно это был лунный

свет или огонь маяка. Александр был одержим страстью к совершенству. В этой почти фанатичной страсти таилась опасность, но он этого не замечал.

Эрику было поручено обработать наждачной бумагой подоконники и покрасить их в белый цвет. А вот когда он попытался оклеить обоями лестничную площадку, на обоях получились морщины, и их пришлось сорвать.

К тому времени, когда многоугольная мансарда начала приобретать форму, Дом достиг уже почти двухметровой высоты и в чулане больше не помещался. Александр с Боем долго ломали голову над этой проблемой и решили, что надо освободить для работы спальню, другого выхода не было.

Более подходящего места у нас нет, — сказал Александр. — Верстак можно поставить перед окном. В гостиной ведь этого не сделаешь.

— В чьей гостиной? — спросил Эрик. — В твоей или в моей?

— Что с тобой? — удивился Александр, — Почему ты сердисься? Ведь это очень важно. Нам предстоит делать башню.

Он взял напрокат две раскладные кровати, которые можно было убирать на день, и поставил их в холле, а широкую двуспальную кровать отодвинул к самой стене. С большой осторожностью Дом перенесли в спальню и поставили на скульптурный станок с вращающейся доской. Здесь, при дневном свете, Дом изменился. Все, что в нем казалось сказочным, приобрело поразительно достоверные черты. Неяркий зимний свет заполнил все комнаты Дома. Колонны и длинные балюстрады бросали настоящие мягкие тени, зеленые, красные и синие стекла окон покрывали пол едва заметной радугой. Каждая мелочь, каждый предмет были достоверны, как будто ими пользовались многие поколения. Александр медленно поворачивал Дом на станке.

— Вот мы и добрались до чердака, — сказал он. — Теперь будем строить башню. Бой заметил:

— Надо что-то придумать с фонарями. Они должны висеть несимметрично, а то у нас не останется места для башни и второй лоджии.

— Ты прав, — согласился Александр. — Но это не так-то просто. Придется уменьшить одну из комнат. Как думаешь — какую?

— Спальню. Пусть будет поменьше.

— Я не согласен, — возразил Эрик. — Это никуда не годится. Спальню нельзя уменьшать. Она и так маленькая, и окно в ней расположено чересчур высоко!

— Фонари, говоришь? — продолжал Александр. — Ты прав, они должны быть несимметричны.

— Конечно, — подхватил Бой. — Тогда у нас будет место для лоджии.

Они склонились над верстаком и начали делать набросок сложного профиля крыши.

Ужина в этот день Эрик готовить не стал. Сказал, что у него болит голова. И предложил им либо приготовить ужин самостоятельно, либо удовлетвориться бутербродами.

— Ты принял аспирин? — спросил Александр.

— Принял! — ответил Эрик.

Он лежал в гостиной, положив ноги на подлокотник дивана, и глядел в потолок. Ботинки он не снял. Александр принес ему плед.

— Подними ноги, — сказал Александр и положил на подлокотник газету.

На другой день Александр предложил Эрику сшить для Дома занавески, хотя прекрасно знал, что Эрик никогда в жизни не шил, он не смог бы даже подрубить скатерть.

Время шло, и Дом становился все выше и выше. Александр и Бой уже давно покончили с фонарями и занимались теперь сооружением верхней башни. Им хотелось поместить в ней вращающийся прожектор, как на маяке. Каждый вечер неумоимо трудились их «Black and Decker»<sup>[31]</sup>, адски завывали электрическая пила и дрель, а когда они замолкали, в спальне воцарялось мирное молчание. Эрик смотрел телевизор или уходил в ближайший кинотеатр. Александр предлагал ему навестить Яни с Пеккой или еще кого-нибудь, но Эрику не хотелось ходить в гости.

— К тому же сейчас наш черед приглашать их, — бросал он.

— Да, да, я знаю, — отвечал Александр. — Вот только закончим Дом. А тогда пусть приходят смотреть. Я ведь тебе говорил, пока мы не закончим, нам нельзя мешать.

Бой как будто ничего не замечал. Он весело болтал за едой и думал только о том, как сделать, чтобы прожектор вращался.

Однажды вечером, когда Александр вышел за сигаретами, Бой с криком распахнул двери гостиной:

— Вращается! Вращается! Получилось!

Эрик выключил телевизор и через темную гостиную прошел мимо Боя в спальню. Там свет горел только в Доме, в каждой комнате были зажжены лампы, а из верхней башни на стены спальни через равные промежутки падал то красный, то зеленый свет.

— Ура! Мы победили! — кричал Бой. — Получилось! Свет горит, башня вращается! А? Что скажешь, нравится тебе наш Дом?

— Это не ваш дом, — очень тихо ответил Эрик.

— Как не наш? А чей же? — изумился Бой. — Конечно наш! Иди сюда, посмотри с этой стороны. Видишь, какие на стенах отсветы?

Эрик даже не шелохнулся, и тогда Бой схватил его за руку.

— Не трогай меня! — рявкнул Эрик.

— Да не валяй дурака! — сказал Бой и хлопнул Эрика по спине.

Эрик закричал, и голос его сорвался на писк, он стал наугад шарить по верстаку, в полумраке рука его нащупала какой-то инструмент, холодный и твердый. Эрик бросился на Боя и не глядя ударил его. Коловорот угодил Бою в ухо и скользнул по плечу. Бой отпрянул, задев Дом, который чуть не упал, качнувшись на своем пьедестале. Прожектор продолжал вращаться. Бой побежал вокруг Дома.

— Брось к черту эту штуку! Ты что, спятил? — кричал он.

Эрик преследовал его по пятам, он ничего не видел, вращающийся свет маяка изменил комнату до неузнаваемости. Эрик споткнулся. Бой притих.

— Я знаю, где ты, — сказал Эрик. — Ты спрятался за Домом! — Он стиснул коловорот и пошел на Боя. — Сейчас я до тебя доберусь и уж на этот раз не промажу!

— Брось к черту эту штуку! — повторил Бой, он забился в угол, бежать ему было некуда. — Чего тебе надо?

Эрика начала бить дрожь, ему было ясно одно: он должен ударить, один раз, всего один раз, но сильно. Наверно, у него что-то случилось с очками, он не видел ничего, кроме света маяка.

— Да погаси ты этот проклятый свет! — крикнул он. Бой не шелохнулся.

— Погаси свет, чтобы я видел тебя, или я разобью к черту всю эту башню! — Он шагнул к Бою. — Кого мне ударить, тебя или башню? — Теперь его трясло так, что он с трудом держался на ногах. Он повторил: — Выбирай! Тебя или башню? Тебя?

— Нет, — ответил Бой. — Только не меня!

Эрик снял очки, стекла запотели и мешали ему. От этого привычного движения — снять очки и сунуть их в карман — все непостижимо изменилось. Эрика охватила страшная усталость, он попросил:

— Зажги, пожалуйста, верхний свет. У меня что-то с очками.

Когда в комнате вспыхнул свет, Эрик положил коловорот на верстак. Бой осторожно провел по уху и потом посмотрел на руку.

— Кровь, — сказал он. — Видишь, весь воротник в крови.

Эрик опустился на пол, ему было дурно. Хлопнула входная дверь. Через минуту в комнату вошел Александр и замер на пороге.

— Что тут происходит? — спросил он.

— Эрик меня ударил, — сказал Бой. — Видишь, кровь.

— Эрик? — удивился Александр. — Почему ты сидишь на полу?

И где твои очки?

— В кармане. Мне нехорошо.

— Что ты сделал?

— Не знаю, — ответил Эрик. — Но я спас нашу башню. С ней ничего не случилось.

Александр медленно открыл пачку, достал сигарету и закурил.

— Башня по-настоящему возвращается, — сказал он. — Ты, Бой, отличный мастер. Теперь полный порядок. Второго такого дома, как у нас с Эриком, нет ни у кого, это точно.

## Понятие о времени {21}

Прежде всего вы должны понять то, что я и вправду люблю свою бабушку, мать моей мамы. Я люблю ее совершенно искренне и почтительно и отчасти понимаю то, что для нее непостижимо. Мы прожили вместе всю мою сознательную жизнь. О том, что именно нарушило ее понятие о времени, я ничего толком не знаю, да наверняка она и сама не ведает... мы об этом не говорили.

С чего мне начать, чтобы вы меня поняли... Прежде всего, отнеситесь к моим словам всерьез, это совсем не шутка. Пока я не успел все рассказать, запомните одно: бабушка — самый спокойный и самый веселый человек, какого только можно себе представить. Иногда я думаю, что именно утраченное понятие о времени помогает ей быть счастливой.

С тех пор как мои родители умерли, бабушка взяла на себя заботы обо мне и делала это наилюбовнейшим образом. Мы прожили вместе вот уже семнадцать лет, и она очень стара. Вначале я ничему не удивлялся. Если она будила меня ночью и хотела отправиться на утреннюю прогулку, я шел вместе с ней, не задавая лишних вопросов; я привык к этому и на самом деле любил наши ночные странствия. Я гордился тем, что был единственным ребенком, который гулял по ночам.

Чаще всего мы ходили в парк или вниз в гавань. Бабушка знала, что меня интересуют лодки. Я помню, как ее башмаки стучали по тротуару. Когда мы спускались вниз по улице, был слышен только стук бабушкиных башмаков. Улицы были всегда тихи, и лишь редкий автомобиль проезжал мимо. Я приучился к тому, что она могла напоить меня вечерним чаем среди дня и закутать в одеяло, а потом закрыть шторы. Тогда я читал при свете карманного фонарика под одеялом. Правда, потом стало труднее. Я понял, что бабушка утратила понятие о времени, и начал ей возражать. Тогда она грустнела и выглядела встревоженной, совершенно сбитой с толку, а я не в силах был видеть ее тревогу, ее страх и тогда давал ей делить сутки так, как она считала нужным.

Когда я год спустя начал учиться в университете, она изрядно мешала моей работе. Я вставал в шесть утра и садился за чтение; тут являлась она, обеспокоенная тем, что я так поздно на ногах, что я засиживаюсь. «Ты должен пойти и лечь, — говорила она, — ты должен беречь свои глаза и свои бедные нервы. К чему такая спешка, у тебя довольно времени для занятий, поверь мне. Разве ты не можешь пойти и лечь, если твоя бабушка мило и ласково попросит тебя?»

Такое случалось не все время, но все же много раз за неделю. Бабушка, должно быть, обладала богатым внутренним миром, чтобы так снисходительно отречься от движения солнца и луны. Я теряюсь в догадках, что освещает ее путь и делает ее столь невероятно уверенной и спокойной. Ведь я не желаю ей мешать, я далек от этого. Хотя в последнее время стало трудновато. Я пытаюсь построить свой рабочий день по определенному графику, создать своего рода опорную конструкцию, рассчитываю свои силы как могу. Но я не выдерживаю, когда бабушка будит меня ночью и предлагает утренний кофе, чтобы было легче вставать. Я долго не могу сосредоточиться... Вы понимаете, не правда ли?

Сегодня я в самом деле взволнован. Бабушке и мне предстоит длительный перелет аж до города Анкориджа на Аляске. Она хочет встретиться там с другом юности, который ей очень дорог. Он врач, хотя теперь стар и давно оставил свою практику. Бабушка вообще-то робеет перед врачами, но ему она верит. Он спас ее однажды, когда она болела дифтеритом. Она рассказывает, что они всегда много разговаривали друг с другом на известном им одним таинственном языке, которого никто не понимал. Теперь, надеюсь, доктор поможет нам. Он занимался не душевнобольными, а теми, кого можно назвать одержимыми, вбившими себе что-то в голову, если вы понимаете, о чем я говорю. Ложные представления или, скажем так, сдвиги в восприятии и умении понимать и судить о чем-то, то есть нечто такое, что может постичь даже самых благополучных и благожелательных людей. Само собой, бабушка приедет к нему не как пациентка, она просто хочет встретиться с ним, прежде чем станет слишком стара для путешествий.

Доставить бабушку к самолету было непросто. Она настаивала, что этот перелет — ночной, что ей всегда хотелось увидеть Северный полюс ночью, что мы слишком рано выйдем из дома и нам придется



долго ждать в аэропорту. Я пытался объяснить... Я показал ей расписание движения самолетов и карту мира. Ничего не помогало.

В конце концов я попросил ее выйти ради меня, и тогда она согласилась. Наш самолет запоздал или, возможно, его готовили к полету. Бабушка уснула, укрывшись пледом, но каждый раз, когда громкоговорители объявляли прибытие или посадку, она вскакивала в страхе и смотрела на меня до тех пор, пока я не успокаивал ее и не говорил, что у нас уйма времени.

Теперь она сидит в самолете у окна, и я хорошенько закутал ее. Всякий раз, когда она просыпается, она видит Северный полюс. Часом позже стюардесса раздала нам красивые открытки, удостоверявшие, что пассажиры действительно перелетели прямо над Северным полюсом: два белых медведя, изображенные на открытке, смотрят на исчезающий вдали самолет, белые на белом фоне, в обрамлении, напоминающем компас. Я держу эту открытку для бабушки. Когда я был маленький, мы собирали красивые открытки и вешали их, прикрепляя булавками к большому листу картона. Многие из этих открыток были от бабушкиного друга с Аляски. В молодости он много путешествовал. Я особенно помню какой-то берег на Гавайских островах и Place de la Concorde<sup>[32]</sup> в ночное время.

Теперь глубокая ночь. Полная луна, четко обозначенная на темном небе, а в одиннадцати тысячах метров под нами лежит снег. Час за часом все та же пустая голубовато-белая земля. Стюардессы погасили верхний свет, и теперь видно, что снег внизу — вовсе не сплошная гладкая поверхность, и сияющая луна высвечивает иногда длинные тени.

До того как мы пустились в путь, бабушка много говорила об арктической ночи, которую нам предстоит пересечь, она сказала:

— Разве это не мистическое слово — «арктическая»? Чисто и сурово, а меридианы... разве это не красиво? Нам доведется лететь вдоль них, лететь быстрее, чем свет успевает следовать за нами. Разве это не так? Времени нас не догнать.

Она неслыханно радовалась путешествию, да и в самом деле она в первый раз поднялась ввысь на самолете. Самым интересным показалась ей еда, которую стюардессы сервировали на подносе с углублениями, похожими на мыльницы, — углублениями для каждого

предмета. Она сунула маленькие пакетики с перцем и солью в свою сумку, а еще маленькие пластмассовые ложечки.

— Они балуют нас, — сказала она. — То и дело подают здесь что-то новенькое: карамельку, газету, стакан сока...

Разумеется, я сразу заметил, что стюардесса одаривала нас гораздо большим вниманием, нежели других, вероятно потому, что бабушка так стара и что она в таком восторге от всего, что ей подают. И одаривала так открыто и даже обаятельно.

Бабушкин друг должен встретить нас в Анкоридже, затем мы пересядем на другой самолет и продолжим уже втроем наш путь в Ном<sup>[33]</sup>, где живет бабушкин друг. Я в страшном напряжении: заговорит ли с ним бабушка об этом своем опасном ощущении времени? Надеется ли она, что он все поправит, или, наоборот, скажет, что она права, что все так и должно быть... только бы он не лишил ее покоя.

Думаю, я немного посплю, я так жутко устал. Почти все спят, в самолете совсем тихо. Мои часы остановились...

Бабушка проснулась. Под ней простирался бесконечный ландшафт, заснеженный ландшафт. Небо над горизонтом было сейчас коричневым, с темно-красной сердцевиной под крылом, прорезавшим ночь в направлении полета. Стюардесса проходила мимо, она остановилась и улыбнулась бабушке. Бабушка улыбнулась ей в ответ; жестом руки, приложенной к губам, она объяснила, что Леннарту необходимо поспать, он, мол, очень устал. Стюардесса кивнула и прошла дальше. Длинное голубоватое заснеженное поле было отчаянно холодным на фоне пылающего горизонта. То был ландшафт как будто из сна, из бесконечных мечтаний, где все словно застыло в ожидании. Бабушка дала волю своим мыслям и перекинулась на Юна, дивясь тому, как мог он так состариться. Но она непременно сразу же узнает его, когда они встретятся.

Мало-помалу ледовое поле разделилось на длинные пояса темной воды, море все больше и больше открывалось нашим глазам. Бабушка сидела и мечтала про себя: «Одинокó плывут ледяные галеасы. Увидеть берег Аляски... Ночь в Номе».

Самолет дрогнул и, казалось, начал падать, но потом снова поднялся и продолжил путь, несмотря на то что мощно кренился в

сторону, словно борясь с сильным и своенравным штормом. Я проснулся и воскликнул:

— Не бойся, беспокоиться не о чем, самолет попадает в полосы теплого и холодного воздуха, когда мы летим над берегом.

— Изменения температуры, — сказала бабушка. — Понимаю!

Леннарт наклонился и стал разглядывать незнакомый ландшафт. Теперь то была гора — белая и остроконечная, красиво смоделированная цепь гор, одна возле другой, простая, словно на детском рисунке. За ними пылал багрово-красный горизонт.

— Солнце всходит! — сказал он.

— Нет, мой дорогой, оно садится! — ответила бабушка. — Вот это и интересно! Мы выходим из долгой арктической ночи, а когда мы догоним день, наступит уже вечер.

Леннарт посмотрел на бабушку и, ощущая бесконечную усталость, которую не мог побороть, рассердился:

— Почему у тебя не застегнут ремень безопасности?! Почему ты никогда не поступаешь так, как я тебя прошу, ты даже не слушаешь, что я говорю!

Он укрепил на ней ремень и начал складывать все их газеты, затем поднялся и стал шарить наугад в поисках перчаток и шляп. Наконец попытался накинуть на себя пальто, но потерял равновесие, когда самолет накренился и внезапно резко сел; было нестерпимо тепло, и он неважно себя чувствовал.

— Скоро будет спокойнее, — сказала стюардесса. — Но вы должны надеть ремень безопасности.

— Леннарт, — промолвила бабушка, — когда мы полетим дальше, как ты думаешь, мы могли бы зайти в кабину пилота, хотя бы совсем ненадолго? А когда пройдем к другому аэроплану, ты не мог бы раздобыть несколько красивых почтовых открыток с видами заката?

— Да, да! — ответил Леннарт. — Все, что захочешь! Я это устрою. Я это устрою.

Почти вся его спина сверху донизу была мокрой от пота.

Они совершили посадку в Анкоридже. Бабушка по-прежнему не очень крепко держалась на ногах, потому что ей пришлось слишком долго неподвижно сидеть. Он попытался поддержать ее и в то же время заняться сумками и коробками.

Людской поток втянуло в узкий переход, в туннель, который вел до самого терминала. Он не приготовил билеты для контроля, поэтому, пока их компостировали, прошла уйма времени, и, когда он наконец обнаружил свои билеты и они прошли дальше, он не смог узнать время следующего рейса: его очки исчезли. Ему пришлось снова сверять время отлета. Ему пришлось искать кого-то, кто бы мог раздобыть стул для бабушки, во всем пассажирском терминале не нашлось ни единого стула, повсюду одни только стеклянные стены и двери, да люди, что теснились в очереди и толкали чемоданы по всему полу, внезапно теряя терпение, словно речь шла о последних секундах, толкали их коленями по одному.

С его стороны было непростительно не выяснить, когда самолет отправится дальше в Ном и не удержать это в памяти. Громкоговорители непрерывно орали. Люди в коридорах делились на тех, кто следует дальше транзитом, и тех, кто движется к выходу, или же теснились в зале ожидания. Он все время поддерживал бабушку, и они зашлюзовались в большом, отзывавшемся эхом помещении, украшенном шкурами и сосульками.

Там стоял ожидавший их Юн, низенький старичок с седой эспаньолкой. Юн сразу увидел их и пошел навстречу бабушке; он поцеловал ей руку. Они сели за стол и стали смотреть друг на друга.

— Бабушка, — сказал Леннарт, — я сейчас же вернусь, мне надо только купить открытки.

В коридоре он не нашел никаких открыток, там продавались большей частью лишь шкуры и меха да фигурки белых медведей и тюленей. Он поспешил дальше в зал транзита, где люди ели, и поднялся вверх по лестнице. Ему надо было достать свои очки и сверить время отправления.

Лестница снова вела вниз, и через вращающуюся дверь он вошел еще в какой-то зал, где были лишь панели и афиши на стенах. Высокие панели выглядели как двери, но их было не открыть, так как дверные ручки отсутствовали. Он несколько раз обежал зал, прежде чем увидел синюю лампочку, горевшую над выходом. Он вышел прямо в снег. Несколько грузовиков стояли на дороге от ворот к зданию; возможно, то был задний двор, во всяком случае, никаких огней, только темная ночь. За аэродромом поднимался навстречу небу самолет. Красные огни погасли, и стояла глубокая арктическая ночь.

Повернувшись, он побежал назад, вверх по лестнице, через коридор еще в какой-то зал, который не узнал. Теперь вопрос был только в том, чтобы найти бабушку и посадить ее в самолет, летящий в Ном, и выяснить, когда точно отправляется самолет. Надо было спешить: бабушка передвигалась медленно, и ей становилось нехорошо, когда ее торопили. Он попытался не прислушиваться к тому, когда прилетает и вылетает самолет, он повторял бабушкины прекрасные и почти магические слова: «Арктическая мистическая ночь, ночь в Номе». Он наконец пришел куда надо и увидел их, сидящих рядом, бабушку и Юна. Они были погружены в глубокую беседу. Он подошел к ним и, стоя за бабушкиной спиной, услышал, как она говорит:

— Они одинаково прекрасны. День и ночь одинаково прекрасны для меня. Но Леннарту надо научиться и узнать, когда наступает их черед. Ты понимаешь, он как раз теперь начал жить всерьез, и это будет так нелепо, если ему не помочь...

— Бабушка! — произнес Леннарт. — Никаких открыток нет.

— Не беспокойся, — ответила она. — Юн достал нам открытки.

Открытки лежали на столе — солнце, что сияло надо льдом. Красное солнце касалось горизонта и отражалось в голубоватой поверхности льда.

— Мы можем идти! — сказал Юн. — Торопиться ни к чему, времени у нас достаточно.

То, что я теперь собираюсь написать, может показаться выдумкой, однако же центр тяжести моего рассказа лежит, по сути дела, в моей невероятной потребности в порядке. Собственно говоря, я не рассказываю, я повествую. Я известен своими деловыми качествами и пунктуальностью. А то, о чем я пытаюсь говорить, нужно мне самому, дабы выяснить кое-какие интересующие меня вопросы.

Писать трудно, я не знаю, с чего начать. Быть может, с изложения некоторых фактов. Итак, я специалист-чертежник и всю свою жизнь служил в Объединении железных дорог. Я очень обязательный и умелый художник, кроме того, много лет я являюсь секретарем — к этому я вернусь позднее. В моем рассказе речь прежде всего пойдет о локомотиве, я сознательно употребляю этот старинный термин, то есть не машина, движущаяся по рельсам, а *локомотив*.

Я питаю слабость к красивым и, быть может, несколько старомодным терминам. Естественно, я частенько черчу детали этой специфической машины в своей повседневной работе, и тут сказывается не что иное, как трезвая профессиональная гордость. Но по вечерам, когда возвращаюсь домой в свою квартиру, я черчу машины в движении, и прежде всего — локомотив. Это игра, хобби, которое не следует смешивать с амбициозностью. В последние годы я нарисовал и раскрасил множество иллюстраций на больших листах, порой думая о том, что из них мог бы получиться целый альбом. Но я еще не готов, пока не готов. Когда выйду на пенсию, я посвящу все свое время локомотиву или, скорее, идее локомотива. Как раз теперь я вынужден писать, писать каждый день. Я должен определиться. Картинок не хватает.

Когда-то давным-давно мой путь в школу лежал мимо железнодорожной станции. Путь бывал долгим, и, насколько я вспоминаю, всегда бывало жутко холодно, но я шел как можно медленнее, потому что этот путь был самым лучшим и самым надежным за целый день. Я шел и рассказывал самому себе... А когда подходил к железнодорожной станции, там было тепло, и часто я

заканчивал очередную главу именно там. То есть, хочу сказать, я приберегал кульминацию, наивысший момент вплоть до тех самых минут, когда задерживался у входа на перрон и видел перед собой локомотив. Тогда я позволял этому случиться.

То были огромные угольно-черные картины с декорациями в медных, зеленых и багровых тонах. Порой эти гиганты возникали, пуская долгий гудок, в пышном уборе из дыма, или скользили, медленно исчезая с перрона, накаляясь и увеличивая скорость, поршни двигались, будто крепкие мышцы, — это было красиво.

Или же они просто стояли, выдыхая белые пары в зимний холод, тяжело дыша от изнеможения и удовлетворения после долгой поездки. Они обладали удивительной силой. Но и они уставали. В такие минуты они не несли ни малейшего жара в своей душе.

Само собой, важно сказать, что я мог ездить в школу на трамвае и что у меня была теплая и добротная сшитая одежда. Никто не обижал меня, будь то в школе или дома. Но когда я пытаюсь вспомнить, ничего не приходит мне на память, никакая иная реальность, кроме долгих странствий, когда я рассказывал истории себе самому, да еще огромного напряжения, достигавшего своего апогея на железнодорожной станции. Иногда я, бывая водителем локомотива, возил тысячи беспомощных людей сквозь ночь, машина набирала скорость, я подбрасывал топливо как заведенный и заставлял локомотив кричать: «Вот еду я!» И пассажиры всё больше и больше беспокоились, шли к проводнику по раскачивающимся вагонам и кричали:

— Что это? Что случилось?

И проводник, очень бледный, отвечал:

— Боже, помилуй нас всех, машина рвется вперед, но что-то не в порядке с тормозами...

Иногда я бывал капитаном, я заставлял небольшие океанские пароходы поворачивать у рифов и айсбергов, все и всё на борту вздрагивали на одну-единственную преисполненную страха секунду, и с быстрым царапаньем, будто рашпилем по металлу, корабль поворачивался и продолжал свое плавание, но сколько еще? Это знал только я. Я был императором и распоряжался жизнью и смертью. Я низвергал школы, я запрещал всему населению рожать детей. То была дивная игра, каждое утро и еще раз потом, когда я возвращался домой.

Все остальное проходило мимо меня так же, как проходит время, я не так уж хорошо помню. Игры мои становились все более утонченными и в то же время более простыми. Никто не ведал, кто я! Это было неслыханно важно. Они никогда понятия не имели о том, кто шел среди них и свершал те же. что у них, дела, точно таким же образом, как они, в такое же точно время. Как я, должно быть, был могуч! Нынче я больше не пишу.

Позднее!

У меня очень красивая квартира, просторная общая комната, спальня, кухня, ванная и кабинет. В кабинет я заказал удобные полки для своих иллюстраций на больших листах, но, должен заметить, речь не идет, скажем, о мастерской художника, об ателье, скорее, это библиотека для специальной литературы. Слова «мастерская», «ателье» тут же напоминают о неряшливой романтике живописца — ничто мне так не чуждо. Но кабинет — рабочая комната, совершенно просто — это комната, где работают, пространство для орудий труда. Я никогда никому не показывал ни одной из моих зарисовок локомотивов на отдельных листах.

Я не обедаю дома, но утром и вечером завариваю себе чай. В моей квартире очень тихо. Иногда, за вечерним чаем, на меня снисходит странное ощущение того, что меня не существует. Это одна из тех деталей, объяснение которой я могу получить, когда пишу. Мне надобно писать каждый день и все время быть очень точным в деталях. Вообще, это связано с моей профессией. Меня обвиняли в том, что я никогда не показываю свое лицо. Фактически это случалось много раз. А зачем им видеть, каков я есть? Я не ведаю, чего они ждут от меня, во всяком случае, они не имеют права диктовать мне.

Позднее! Возможно, мне следовало бы говорить о себе в третьем *person singularis*<sup>[34]</sup>. «Он» — гораздо реальнее, нежели «я». Так мне кажется.

Итак, *он* никогда никому не показывал ни одного из своих рисунков. Благодаря моей работе секретаря и чертежника (здесь я повторяю — «моей», но это намеренно) в Объединении железных дорог, конференциям, совещаниям, ланчам и т. д., он был знаком с множеством людей. Зачастую людей, которым ничего не стоит болтать и которые не ценят свое время. Он быстро заметил, что они, в противоположность ему самому, откровенны и вовсе не боятся выдать



себя; мало-помалу он обнаружил, что их откровенность могла ему пригодиться. Когда он приходил домой и продолжал работу, которую называл своей собственной, личной, ему в своих рисунках было гораздо легче изображать силу, независимость и превосходство летящей вперед машины.

Дома, естественно, он никогда никого не принимал. Квартира была абсолютно его собственной.

Вначале он прислушивался к разговорам очень внимательно. Позднее научился задавать нужные вопросы, вызывать говорящих на беседу о том, что было для них важнее всего остального. Это было, в общем, нетрудно, в особенности во время ланча или на празднике, который отмечала фирма. Он терпеливо ждал. Он выпрашивал и вскоре добивался именно того, что и вправду больше всего интересовало его собеседников, узнавал, на что они надеялись и чего боялись. С пристальным вниманием он тщательно вел их дальше. То было игрой или, скажем так, хобби. И совершенно изумительным материалом для работы. Тот момент, когда они, в порыве откровенности, выплескивали все тайны наружу, он называл «идеей локомотива». Пока они приближались к тому, чтобы выдать самое сокровенное, он тщательнейшим образом наблюдал за их лицами и руками, за их интонацией и паузами в разговоре. Все это давало гораздо больше, нежели слова, — ощущение отзвука силы, и это было как раз то, что ему необходимо для работы. Присущая машине сдерживаемая сила. Вообще, лица и особенно руки всегда казались ему мучительно обнаженными. Другой, еще более говорящей деталью является осанка, особая выправка спины, и положение затылка. Однажды я видел себя в двойном зеркале, коварно скрытом решеткой перед одним из магазинов, видел в полупрофиль сзади. Это было весьма неприятно. Я отвлекся. Подождите!

Итак, он пользовался их откровениями — яркостью, глубиной красок, — где бы те ни таились, иногда в смехотворных надеждах и странных склонностях; он загружал себя и шел домой — и мог, и часто мог работать много часов подряд, исходя из своего ощущения совершенной машины. Он любил машины, их силу, их безупречную форму, их независимое равнодушие. Пока люди выговаривались, рассказывая все вплоть до самых скрытых маний или, позвольте сказать, до тех подробностей, как работает их организм, он

тщательнейшим образом остерегался какой бы то ни было зависимости. Он приближался к людям, но избегал их и никогда не искал бесед с женщинами. Были люди, что постепенно отдалялись от него, но это был уже использованный материал. Теперь же я устал. Продолжу позднее!

Были и опасные, и недостижимые, но попадались и сбитые с толку, невинные, нездоровые и от беспомощности дружелюбные. А в общем, сколько силы пропадало зря! Разумеется, ведь ярлыки всегда — упрощенное понятие по отношению к людям, как, например, те редко возвращающиеся кошмары, что посещают их сны. (Я вернусь к снам позднее, и прежде всего к тому самому, о локомотиве. Неужели я слишком обстоятелен? В этом рассказе иные подробности следовало бы опустить.)

Следующий день. Иногда я становлюсь нелепо усталым по вечерам. Я откладываю работу в сторону, потому что не в силах начертить совершенную машину и одновременно заставить ее двигаться, запустить мотор, столкнуть с места, ринуться вперед. И голова моя кажется мне железной глыбой, ускользающей от меня, но большей частью устают руки, они весят как целый мир, там, где они лежат рядом со мной, и опускаются все ниже и ниже. Я не люблю брать людей за руку. Выражение «рукопожатие» вообще безрадостно. Почему же должно мне...

Ныне я потерял самого себя.

Новый отрывок:

Иногда, пока он прислушивался, он представлял себе, что эти люди собираются в путешествие, и обязательно поездом. Они начинают болтать о всяких ненужных мелочах, точь-в-точь как делают именно перед тем, как поезд должен вот-вот тронуться, делают невнимательно и второпях. Но в тот момент, когда поезд приходит в движение, они выдают то, что важно для них, самое опасное, выдают беспомощно, словно в постскрипту после безусловно составленного письма.

И они исчезали, он давал им исчезнуть и откидывался назад, уверенный, что перрон быстро ускользает, и шел домой работать.

О удержанная, о выпущенная на свободу сила в легкости пара, прекрасный локомотив моей юности с этим долгим гудком всеобщего ожидания и испуга — прямо ввысь, навстречу всем закопченным

сводам вокзала; поршни начинают двигаться, и локомотив величественно покидает... все, что может быть покинуто... и влекомые им со скучного перрона вагоны вместе со всеми, кто слишком много сказал, — или ничего не было сказано! Это твой портрет пытаюсь я изобразить!

Здесь я должен внести изменение, это слишком личное. Сверяй с подлинником!

Возьми обратно свои слова или объясни почему.

Но почему ты так сказал, я не знаю.

Локомотив, который везет все беспокойство мира туда и обратно по всей земле, возможно, очень устал.

Заметь: я всегда был неслыханно бдителен в вопросе о женщинах. На них положиться нельзя.

Позднее!

Иной раз он мог играть с идеей о том, чтобы полюбить путешественника. Путешественник с большой буквы, это красивое архаичное слово, что совсем легко и безо всяких ассоциаций прикрепляется за тем, кто собирается в долгое путешествие. Это может быть чистая и свободная взлетная полоса для чьей-нибудь преданности, стремление, которому никогда не нужно становиться примером для подражания и которое никогда не бывает слишком близким. Стук колес — все равно что стук сердца, ритмичный пульс, бьющийся в диафрагме и животе, дальше вниз, дальше вбок, в конце концов лишь вибрация, рельсы впереди пустые и чистые, а потом тишина и освобождение.

Он никогда не ездил поездом, он не хотел.

Переживание никогда нельзя сравнивать с представлением о пережитом. Так думал он.

Железнодорожная станция также прекрасное и серьезное слово. Ныне, будучи в своем возрасте, он часто проходил мимо станции и задерживался там на некоторое время. Но по ночам и здесь — на станции — являются знакомые мечты и сны, по ночам ему снились настоящие локомотивы. Надо было спешить, чрезвычайно спешить, поезд должен был отходить, а он не упаковал еще чемодан, он не нашел свой паспорт и не знал, куда ему ехать, но это было важно, смертельно важно, и он бежал меж рельсами, забыв, каким поездом ему нужно ехать, и когда поезд отходит, и с какой платформы... Было

слишком поздно, все было слишком поздно. Единственный человек, который когда-либо заметил, что он существовал, должен был ехать, чтобы никогда не вернуться назад, единственный, кого он не презирал и кого трудно было причислить к какой-либо категории. Тут локомотив взвыл, загудел, затем вскричал снова, и этот человек — он — помчался и запрыгал меж рельсами, и с гулким металлическим звоном локомотив подъезжал все ближе и ближе и уничтожал и сокрушал его в своем бесконечном превосходстве... Он схватился за какую-то железную скобу, за безразлично какую ручку, а воздух и ветер, завывавший вокруг него, был жарок, до противного жарок...

Я знаю, другим тоже снятся сны о поезде, но не такие, как мне, совсем не такие. Они всего лишь боятся опоздать, это очень просто. У них душа не болит так, как у меня.

Я должен попытаться объяснить привидевшиеся мне картины. Я собираю все яркие цвета локомотива: глубокая прусская синяя краска<sup>[35]</sup>, черный как уголь цвет, а в черно-угольной окраске блики багрового и белого огня, широко раскрытые, прекрасные глаза машины, однако же без тени угрозы, глаза, совершенно равнодушные ко всему, что встречается им по пути, и ко всему, что движется за ними следом. Эти ничейные вагоны, что постоянно наполняются и опустошаются, наполняются вновь, — они не представляют интереса. Они — словно женщины.

Теперь я перечитал то, что написал. Мне интересно, можно ли это понять или, наоборот, все слишком ясно. Меня обвиняли в том, что я уделяю слишком большое внимание деталям, но это идет от моего секретарства; секретарь я хороший. Долгая жизнь научила меня обращать внимание и ценить реальное, фактическое, и я чрезвычайно редко ошибаюсь. Теперь попытаюсь продолжить.

Его рисунки локомотива на больших листах выполнены в технике акварели, черная тушь и прозрачная, светящаяся бенгальским огнем тушь, которая применяется для раскрашивания фотографий. Разумеется, он сознавал, что не был одинок в своей идее поезда. Художник Тернер<sup>[36]</sup> довольно убедительно изобразил головокружительную быстроту и силу, он, так сказать, скрывает лицо локомотива в дыму и в тумане, ты это знаешь, но не видишь. Его изображение рвущегося вперед поезда меня весьма удручает. Он

рисует не локомотив, а только самого себя. Я подожду до завтра, как раз теперь я продолжать не стану.

То было воскресенье, он встал очень поздно и сел работать. Он не любил мольберт, потому как его руки и ладони становились такими тяжелыми, что им требовалась поддержка рабочего стола. Если можно заставить голову хоть на миг опереться на руки, это равносильно быстрым полуснам, будто пунктиром отмечающим бессонную ночь. Он уничтожил часть рисунка, который нельзя было переделать ни с помощью воды или краски, ни лезвием бритвы. Он долго сидел неподвижно, глядя на иллюстрацию, затем надел пальто и отправился на железнодорожную станцию. По-прежнему случалось так, что он шел туда, когда испытывал огорчение. Множество поездов прибыло на станцию, но он не обратил на них внимания, он пошел в ресторан, взял пиво. Все было занято, люди, незнакомые друг с другом, сидели за одним столом и ели и пытались смотреть мимо тех, кто сидел напротив, или же вниз, в тарелки. Они ели быстро и тесно прижимали к себе свои сумки и чемоданы меж ножками стола. Сильнее обычного пахло едой. Он пил свое пиво и презирал их, он тогда как раз презирал все на свете, и у него болела спина. Боль всегда поражает самое слабое место. Прямо против него ела капусту с колбасой худая женщина в черном плаще. Потом она достала сигареты и начала искать спички в своей сумочке.

— Извините, — промолвила она, — у вас не найдется спички?

Он толкнул к ней коробок спичек и решил уйти.

— У вас лицо в краске. — Тон ее был абсолютно будничным, словно она сказала: «Ваша дорожная сумка открыта» или «У вас оса на пальто». И она тотчас, не улыбаясь, заставила свои глаза скользить дальше. Ее сдержанность была необычна для женщины, и, чтобы выказать свое одобрение, он учтиво спросил, куда ей предстоит ехать. Она ответила:

— Никуда. Я и не думаю о том, чтобы путешествовать. — И через несколько мгновений, словно она сочла свой ответ без надобности резким, добавила: — Я прихожу сюда порой, чтобы взглянуть на поезда.

Он сразу взбодрился, как охотник, стал внимателен... и спросил, почему и каким образом интересуется она поездами и в самом ли деле

она никогда никуда не ездила? Нет, ей лишь нравится смотреть на поезда.

Раньше, пока он пытался постичь сокровенные тайны жизни, он никогда не искал встреч с женщинами. Возможно, даже наверняка они могли дать ему не менее полезный материал, но безошибочный инстинкт предупреждал его. Они живут припеваючи, злоупотребляя доверием к ним... лучше их избегать. И вот теперь он рассматривал женщину, которая явилась на железнодорожную станцию исключительно ради того, чтобы увидеть, как приходят и уходят поезда. И он подумал: «Возможно ли это, неужели я наконец нашел кого-то, с кем могу говорить и кто поймет меня?» Он серьезно спросил:

— Вы очарованы локомотивом, не правда ли?

Она, приподняв плечи, ответила:

— Точно не знаю. Поездом, совершенно просто. Поездом.

То была совершенно обычная женщина, может, чуть больше сорока. Ничего, кроме странной идеи, не выделяло эту женщину из других, кроме, возможно, широких бровей. Она погасила свою сигарету и поднялась, чтобы уйти. Слегка кивнув, она обошла стулья, где сидели жующие люди, и направилась дальше, в зал ожидания, на удивление длинное и угловатое помещение, которое наводило на мысли о вороне.

Потом он долго думал о ней. Он никогда раньше не встречал никого, кто был бы одержим идеей поезда, а только тех, кто работал на железной дороге или навязчиво рассказывал о своих путешествиях. Что же до этой женщины, вопрос был явно не в локомотиве, речь шла скорее об убегающих вагонах, естественное феминистское ощущение: отстаивать свои права, нестись вперед вместе с ними. И еще одна важная деталь: она никогда не собиралась путешествовать. То, что притягивало ее, было не обычное желание отыскать места потеплее и покрасивее, жизнь, что была бы более легкой или более насыщенной, нет, она любила поезд как таковой, как феномен. Восхищалась ли она красотой поезда? Или же представляла себе путешествие поездом как освобождение от ответственности? Отправиться отсюда на все четыре стороны, прочь... И пока тебя везут дальше, все, что остается позади, за твоей спиной, — непоправимо, окончательно, а то, к чему

приближаешься, еще не раскинуло свои сети. Ты — путешественник, на краткий срок ты — свободен.

Ему казалось невероятно важным поговорить с ней. Он возвращался на станцию каждый день, но ее там не было. Он пытался вспомнить ее лицо, но единственное, что он помнил, были широкие черные брови и что она была высокой, черноволосой и худой. Зима продолжалась, все такая же холодная. Он по-прежнему работал со своими рисунками одинокими вечерами, и ему пришло в голову поместить людей у окна, но получилось неважно, и он все стер. Он встречался с людьми, но больше не пытался заставить их говорить о самих себе, и мимо железнодорожной станции проходил все реже и реже. Но мысли его постоянно задерживались на женщине, которой нравились поезда. Это стало игрой. Он наделял ее разными качествами, всевозможными чертами характера, приписывал переживания, давал профессию, даже придумывал детство, он делал ее сильной, мужественной и таинственной. В первый раз за время своей сознательной жизни он действительно заинтересовался другим человеком.

Однажды вечером он не мог больше работать, он дошел до чрезвычайно опасного момента. То, что оставалось завершить, было столь важно, столь значительно, что нужно было подождать. Я никогда не мог узнать, следует ли эти последние решающие линии или мазки кисточкой наносить в состоянии полного напряжения сил или же, напротив, в страстном порыве кинуться очертя голову, — я не знал. Можно столько уничтожить и так много выиграть — но во мне ничего нет от игрока, моим принципом было всегда — исследовать почву под ногами. Я всегда в поиске, а время идет, и вскоре у меня его больше не будет. Странно, разве нет, что именно локомотив мог стать мотивом (ха-ха!) для этого художника.

Подождите немного!

Он вышел из дому, направился на железнодорожную станцию. И там увидел. Она — на перроне. Она была выше, чем все прочие, стоявшие в ожидании поезда, но то, что больше всего выделяло ее из толпы, были плечи и посадка головы, неподвижность, свидетельствующая о том, что она была там не для того, чтобы встретить кого-то... она лишь ждала поезд.

Поезд пришел, замедлив ход, и остановился. Перрон наполнился людьми, торопившимися навстречу друг другу и друг мимо друга, но она не шевельнулась. Когда вокруг нее почти все опустело, она повернулась, чтобы уйти. Тогда он подошел к ней и спросил, узнала ли она сто. Она кивнула. Черты ее лица были несколько заостренными, и на какой-то миг его смутило то, что она не отвечала тому образу, который он себе придумал. Только брови были такими, как должно, очень широкие и темные; глаза под ними казались какими-то неопределенными. Она смотрела в сторону.

— Вам нет нужды беспокоиться, — сказал он. — Я хочу лишь поговорить с вами о поездах, о том, чтобы путешествовать...

— Я никогда не путешествовала, — ответила она.

Тогда он попытался объяснить:

— Поэтому мне и нужно поговорить с вами, я тоже не путешествую, но я пленен поездами, так же как и вы...

Она пошла к залу ожидания, он ничего не понимал. Ситуация была смехотворной. Ноги у нее были длинные, и шла она очень быстро, он был вынужден едва ли не бежать за ней.

— Всего лишь минутку, — умолял он. — Не желаете ли чашечку кофе, нет? Но вы можете присесть в зале ожидания, если у вас есть время, у вас наверняка найдется время, несколько минут...

Они сели на скамью, и она закурила сигарету. Разумеется, он воображал себе легкую беседу о символике движения поезда, беседу отнюдь не личную, но ее упорное молчание, сознание того, что она когда угодно может подняться и уйти восвояси, лишало его почвы под ногами. Впервые в жизни он проявил неосторожность и выдал себя. Он рассказал ей о своих иллюстрациях, о мечте однажды увидеть их окончательно завершенными и напечатанными в книге. Он рассказал о том, что значил для него поезд, когда он был юным... Иногда он замолкал в ожидании, но сидевшая рядом с ним женщина с сигаретой не произносила ни слова. И в конце концов, подгоняемый далее ее молчанием, он униженно заговорил о своих исполненных страха снах, в которых он постоянно опаздывал на поезд. Он говорил все быстрее и быстрее и не мог остановиться.

Тем временем люди прямо у них под носом таскали взад-вперед свои чемоданы, громкоговорители объявляли время отхода и прибытия



поездов, он повышал голос, пытаясь привлечь к себе ее взгляд, и в конце концов, взяв ее за руку, воскликнул:

— Вы понимаете? Вы понимаете, что я имею в виду? Для меня это серьезно, это важно! Не думайте, будто я маньяк, если бы вы увидели мои рисунки, вы бы поняли, что я в самом деле знаю о том, что говорю, и что я сохраняю душевное равновесие. Да, я, в общем-то, педант!

— Я понимаю, — серьезно ответила женщина. — Я понимаю, что вы имеете в виду. — Она, казалось, искала слова точь-в-точь так же беспорядочно, как то и дело рылась в своей сумочке, и в конце концов повторила: — Я понимаю.

Он очень устал. Они пошли в ресторан.

Ныне, задним числом, мне кажется невероятным, что я не понимал, что она имела в виду. Когда женщина говорит, что все понимает, это попросту значит, что она легко и без усилий вышла из положения. Она, эта странная женщина, не находила слов, потому как ей нечего было сказать. Но я в течение долгого времени создавал ее характер и все его особенности, я увидел в ее молчании лишь скрытую силу, самодостаточность, не позволявшую кому-либо подобраться слишком близко. Это определено так.

Позднее!

Она придет завтра, тогда я не смогу работать, тогда я буду лишь сознавать, что она в моей квартире. Но прежде чем она придет, многое нужно успеть, мне необходимо просмотреть и проверить то, что я написал. Но как раз не сию минуту.

Обратить внимание на повторы слов!

Он нанял ее как экономку, ей надо приходиться три раза в неделю, чтобы готовить еду, убирать и т. д. Женщину звали Анна (имя такое же бледное, как молоко). Зачем он это сделал? Непонятно! Зачем впустил в свой дом? Не потому ли, что она, эта женщина по имени Анна, была единственной, кто знал его, она стала важна ему, и ее нельзя было потерять из виду, не в этом ли было дело? В первый раз, когда она пришла, на ней под плащом был надет белый фартук, а с собой — сетка, что явно означало: она нужна ей для работы по хозяйству. Она была очень предупредительна и хотела сразу же отправиться в кухню. Но поскольку Анна — я попытаюсь пользоваться этим именем, — поскольку Анна ныне стала тем человеком, что был мне самым

близким, я предложил ей осмотреться в квартире. Она последовала за мной, и пока она серьезно и тщательно разглядывала те предметы обстановки, которые я привык видеть вокруг себя, я впервые увидел комнаты в моей квартире ее глазами, и они показались мне как-то странно пустыми. Она не произносила ни слова. Как я мог знать, почему она молчала? Она была словно неуловима, словно за защитным экраном, неприступна. Это естественно, потому как я пока еще верил в ее скрытую силу, ту силу, коей наделила ее моя мечта.

Мы вошли в кабинет. Само собой, я спрятал свои рисунки с локомотивами, и только чертежи лежали на столе. Она посмотрела на них, потом на меня каким-то затаенным понимающим взглядом и улыбнулась, она улыбнулась в первый раз, но то была пугающая улыбка интимности. Она не забыла. Нет, она не забыла мое признание. И подумала, что эти чертежи и были изображением локомотива!

Именно тогда, именно там мне следовало бы отослать ее прочь, но я этого не сделал. Она продолжала приходить, она убирала и готовила еду, и все время я боялся ее внезапной молчаливой улыбки и того быстрого понимающего взгляда. Ни общности, ни того, что составляет важную тайну, скорее, что разделяет стыд, полноту позора, которые можно бы простить, но никак не принять всерьез.

Быть может, я всю свою жизнь нуждался в ком-то, кто необычайно силен и кто говорил бы, что мне должно делать.

Но это не была она.

Она не была даже пассажиркой.

Теперь я очень устал. Я жду.

Итак, она улыбнулась и вышла в кухню. Она здесь третий день. Я считаю дни после ее ухода, ее, женщины по имени Анна. Она владеет всем, чему я ранее не придавал значения, — моим воздержанием, достоинством, моей тайной независимостью. Минутку, я пишу слишком быстро, я снова утратил себя.

Итак, он пытался поставить ее на место, но она постоянно избегала его, и иногда, когда они мельком сталкивались, она могла одарить его этой ужасной улыбкой — улыбкой постыдной тайны. Но глаза ее снова смотрели в сторону, и она никогда не отгораживалась от него своей улыбкой.

Я надеялся в конце концов найти путешественника, того, кто путешествует в своих мыслях, в мечтах, в своей комнате, путешествует куда больше, нежели те люди, что из конца в конец пересекают мир. Я полагал, что она могла бы постичь мои чудовищные катастрофы, которые никогда никого не подвергали опасности, но лишь заставляли людей увидеть, что я существовал и что я был тем, кто их спас. Я мог бы показать ей мои рисунки локомотивов.

Но я ждал, я больше не полагался на нее. Мы обычно совершали наши трапезы вместе; тогда она снимала фартук.

Все время я находился в напряженном ожидании, а возможно, боялся, я ведь не знал еще, подвела ли меня Анна ближе к образу моей мечты или же разрушила ее. С ней невозможно было говорить, не только потому, что запас слов у нее был необычайно мал, но и потому, что я никогда не был уверен в том, поняла она меня или нет. И все-таки я не мог молчать, я непрерывно болтал, болтал беспомощно, меня порой охватывало немыслимое желание забрать обратно все, что я наговорил, отрицать это, уничтожить, но еще сильнее было принуждение, заставлявшее еще больше довериться ей, уточнить подробности, почти осыпать ее всем, что было и что могло бы быть моей жизнью. Я следовал за ней в кухню и, опираясь на столик для мытья посуды или стоя у кухонного стола, говорил, говорил о себе самом: я не мог остановиться! И когда я однажды снова казнил себя самого, она улыбнулась и предложила отправиться на небольшую прогулку. Она упрячилась, желая помочь мне надеть пальто, и позаботилась, чтобы я не забыл галстук. Она владела мной, она поглотила меня. Она была своего рода монстром, поверьте мне, монстром. Мы всегда ходили на железнодорожную станцию, и когда вечерний поезд скользил вдоль перрона, она хватала мою руку и пожимала ее в знак тайного взаимопонимания. И всякий раз меня охватывал какой-то невообразимый жар, жар ужасающий, столь же сильный, как в юности, я видел, как подходит поезд, и чувствовал, что вот именно я заставляю работать тормоза и веду локомотив прямо по перрону, и прямо на людей.

Вычеркнуть потом!

Теперь я часто устаю, хотя и не работаю больше, чем нужно. Смог ли я объяснить все, что произошло? Или я чересчур

обстоятелен? Мне придется просмотреть все от начала до конца, повторить очень тщательно.

Однажды в воскресенье, когда выдалась мягкая весенне-зимняя погода, она предложила нам прогуляться не на железнодорожную станцию, а в Ботанический сад. Почему? Да потому, что женщине по имени Анна нравилось осматривать оранжерею. Мы отправились туда. И когда мы стояли в перегретом влажном стеклянном помещении, разглядывая неподвижную зелень, она взяла мою руку так же, как привыкла делать, когда прибывал поезд. Она пожала мою руку и одарила меня той самой пугающей улыбкой. Мы возвращались домой. Мы шли рядом, и я знал, что женщина, следующая по моим стопам, несла с собой все то, что было мной, и что это ни в малейшей степени ее не волновало, и она так ничего и не поняла.

Мы продолжали нашу обычную будничную жизнь в спокойной колее обоюдного внимания, в колее, что пролегла все глубже и глубже. Вы можете представить себе колею, что мало-помалу растет так глубоко вширь, что никто уже не может перебраться через край, а может только продолжать, продолжать идти, бежать, мчаться в одну и ту же сторону... Я начал ненавидеть ее не сразу. Но вместо того, чтобы опережать, обгонять ее, забыть о ее существовании, я думал о ней каждый час моей беспокойной жизни, а в ночное время она разрушала мои сны. Чего я ждал... ведь ждать больше было нечего. Мы ничего другого не могли делить с ней, кроме этих трапез, во время которых я имел обыкновение читать, да ее мерзких прогулок. Каждый день я намеревался отказать Анне, отказать очень учтиво, дать ей крупную сумму денег, каждый день я решал, по крайней мере, сохранять молчание — держать язык за зубами — и каждый день терпел неудачу. И в конце концов я был окончательно доведен до того, что вынужден был показать ей ту мою работу — несущийся вперед локомотив.

Она спросила:

— Но где же перрон? Разве поезд не стоит на железнодорожной станции?

А я увидел благодаря ее глупым глазам, я увидел, что локомотив стоял на месте. Он не шевелился. Я повернул картину лицом к стене и отошел к окну, чтобы не видеть ее, Анну. Некоторое время стояла тишина. Потом Анна подошла ко мне вплотную сзади и обняла меня.

На какой-то миг ее длинное жаркое тело прижалось к моему. Это было ужасно. Она что-то сказала, я не знаю, что она сказала, я не знаю, что произошло, кроме того, что я уже бежал вниз по улице к углу, где обычно покупаю газету.

Вообще-то я раньше уже упомянул, что начиналась весна.

Я не привык писать, но мне необходимо довести этот рассказ до конца. Женщина по имени Анна начала говорить мне «ты». Мои ночные сны изменились, то не был больше локомотив, преследовавший меня, то была она. Я бежал по рельсам, как раньше, я видел могучую конструкцию из стекла и металлический скелет железнодорожной станции на фоне ночного неба, я слышал гудок поезда на путях еще вдали, но она все приближалась, прыгая, словно черная птица, по рельсам, она была горячая и пахла потом и простирала руки, чтобы схватить меня. И при этом я знал, что она уже владела мной, она владела всем, что я хранил в своей душе, владела безраздельно и безвозвратно. Я просыпался в невыносимом ужасе и тотчас думал, сегодня ли она придет, сегодня или же только завтра... Дни, когда она не приходила, были самыми трудными, она ни на секунду не отпускала мои мысли, и моя ненависть становилась тогда почти невыносимой. Я был привязан к ней так, будто это дело совести... привязан будто к тени, будто к преступлению... Она никогда не бывала неприятлива со мной. Когда я сидел за своими чертежами, она время от времени ставила рядом со мной тарелку — она что-то пекла, готовила то одни, то другие сладости... чашку кофе или несколько цветков в стакане. Она вытряхивала мою пепельницу и выходила в кухню, закрывая дверь так тихо, что этот звук отдавался в моем затылке.

У меня вновь появились другие сны, мне снилось, будто я обернулся к ней, и кричал, и воздевал от ненависти руки к небу, и преследовал ее, чтобы убить. То была она, что убегала по рельсам, то была она, что, запыхавшись, спотыкалась, и оглядывалась через плечо, и кричала, видя, что я преследую ее, раскинув руки, словно когти хищной птицы! И я просыпался, я плакал. Я душил подушку.

Анна покупала мне витамины, ей казалось, что у меня нездоровый вид, что я бледен и мне необходимо отдохнуть или уехать. Она в самом деле говорила: «Уезжай!» А через некоторое время добавляла: «Мы могли бы совершить небольшое путешествие вместе».

Я молчал, предоставляя ей болтать о Майорке, о туристической поездке: она, мол, накопила столько-то и столько-то денег, и она не будет мне в тягость. А если я не хочу лететь самолетом, то путешествие поездом может быть так же приятно, мы можем поехать на Север, может в Рованиеми<sup>[37]</sup>, где такой прекрасный отель с оленьими шкурами и открытым очагом... Она хочет пригласить меня. Она и вправду хотела бы пригласить меня в путешествие, и под конец она сказала:

— Для тебя, раз ты так интересуешься поездами, это было бы очень приятно!

Думаю, это было как раз в тот день, когда я решил дать ей умереть.

Я очень тщательно готовился к этому путешествию, заблаговременно забронировал номер в гостинице города Рованиеми. Я ходил словно окутанный ласковым туманом, все во мне притупилось, спланилось и лишилось острых углов, и это было прекрасно. Женщина по имени Анна была болтлива от радости; раз за разом она объясняла, как замечательно, что именно нам, кто никогда не путешествовал, предстоит совершить совместную поездку. Она пекла пирожки, она приготовила мешок со снедью, она была таинственна и мучительно шаловлива. Я вышел в кухню за спичками и увидел на столике для мытья посуды чашу с кровью, именно с кровью, чуточку свернувшейся — с пеной по краям.

Анна сказала, что это для блинов, их можно есть холодными с брусникой. В ночном поезде. Это придумала она... Чаша была отвратительна. Я чувствовал себя больным и ушел восвояси и заперся от нее, думая: «Я не могу это сделать, я не выдержу этого...»

Но можно преодолеть гораздо больше того, что ты полагаешь, и всему должно идти к своему логическому завершению, и есть случаи, когда лишь богатство идей и сильная воля смогут... Подождите, я теряю самого себя, но это можно уладить позднее, именно сейчас я должен продолжить... я пишу очень быстро... Итак, мы прибыли на железнодорожную станцию, и я помог ей со всеми корзинками и картонками и купил гвоздику, которую ей хотелось прикрепить к плащу, и еженедельные газеты и спросил, хочет ли она кока-колу или сок, а тем временем локомотив стоял и ждал меня абсолютно спокойно, и стрелки станционных часов двигались вперед мелкими

рывками, каждую минуту маленький рывок, и тут она закричала, нет ли кого-нибудь, кто проводил бы нас, кого-нибудь, кто пожелает нам счастливого пути! И когда состав начал двигаться по рельсам, она высунулась из вагона, держась за ручку двери, и все махала и махала людям, которых не знала, и высовывалась все дальше и дальше, пока они ускользали назад и исчезали, а мой локомотив был уже в пути, и когда ее захватила все увеличивавшаяся его скорость, я толкнул дверь, толчок этот огнем пробежал по мне, и дверь метнулась наружу вместе с ней, и она — женщина по имени Анна — исчезла, мелькнув черным одеянием, — взмахивающая крыльями птица. Больше ничего не было.

Я так часто обдумывал все это, что каждая деталь была отшлифована, отточена, каждый допустимый момент принят во внимание. Сначала локомотив давал гудок, долгий зов, пока она падала, но этот вариант я отверг. Другой сюжет был такой: дать женщине войти в купе, чтобы привести в порядок свои сумки и подушки, возможно, она станет махать руками через окно, когда поезд тронется, и не увидит, что я спрыгнул с поезда с другой стороны вагона. Но я ошибся... По другую сторону вагона двери были заперты. Так что я решил пойти купить сигареты в последнюю минуту... совершенно естественное желание. Она стоит у окна и беспокоится, и видит, что я бегу, и кричит: «Быстрее! Быстрее! Поезд отходит!» Но слишком поздно. Я замедляю бег, я простираю руки в беспомощном изнеможении. Я мог бы помахать ей рукой и засмеяться. Но это было бы почти жестоко.

## В городе Хило, штат Гавайи<sup>{23}</sup>

Это случилось незадолго до зимних дождей, туристов уже почти не было. Парень явился однажды вечером, бросил свой рюкзак возле стойки бара и попросил «Island»<sup>[38]</sup>. Черт его знает, что это за коктейль, но я положила в ром кусочек папайи, и все сошло прекрасно. Парень был очень молодой, слегка загорелый и напоминал мышь в очках. На нем была непременно гавайская рубашка и гирлянда на шее, увядшая дешевка. Он тут же поведал мне о чудесном приключении, которое пережил в Вайкики: в сумерках на берегу *она* подошла к нему с цветами в волосах, все как надо, повесила ему на шею гирлянду и сказала: aloha — добро пожаловать. Я их знаю. Они раздеваются в отелях, а орхидеи, уже привядшие, покупают почти задаром, на берегу моря в темноте этого все равно не видно. Когда туристы начинают благодарить, они говорят: пять долларов — или сколько у них хватит наглости потребовать. Я не спросила, сколько стоила его гирлянда.

— Меня зовут Франц, — сказал он. — Я путешествую.

Потом спросил, коренная ли я полинезийка.

— Коренная не коренная, не все ли равно. — Я была не в настроении.

Вскоре он снова подошел и попросил блюдо.

— Моя гирлянда почему-то мокрая, — сказал он.

Я дала ему блюдо, он положил на него свою увядшую гирлянду и спросил, как называется наш город.

— Хило.

Я видела, что это ему ни о чем не говорит, тогда я показала отметку под карнизом крыши и рассказала, что в тысяча девятьсот десятом году волна такой высоты одним махом смыла половину Хило и что в тысяча девятьсот шестидесятом году это повторилось. Услышав мое сообщение, он оживился, глаза у него округлились, и я видела, что это произвело на него сильное впечатление. Потом он пожелал узнать, действующий ли вулкан Мауна-Лоа, но он был недействующий. Франц тут же решил при первой возможности подняться на вершину и осмотреть кратер. Ехать туда на такси было бы слишком дорого. Но



ведь можно подняться и пешком, впечатление наверняка будет более сильным. Наконец он спрашивает:

— Значит, у вас в последнее время затишье?

— Как сказать, — отвечаю я. — Сейчас у нас в любой день могут начаться дожди.

Он серьезно кивнул:

— Я знаю. Зимние дожди. Долгий период зимних тропических ливней.

Пришли посетители — Фредди и другие парни. Когда я вернулась на свое место, Франц изучал отметку воды и записывал свои наблюдения. Он спросил, можно ли тут где-нибудь устроиться не слишком дорого. Я ответила, что у нас наверху есть две комнаты, правда маленькие, и спросила, сколько дней он собирается тут прожить.

— Заранее ничего не могу сказать, — ответил Франц, и видно было, что он очень доволен собой. — Понимаешь, я не люблю ничего решать заранее — например, приезжаю куда-нибудь, плачу вперед, а потом вдруг снимаюсь с места и уезжаю. По-моему, только так и следует путешествовать; во всяком случае, я всегда мечтал путешествовать именно так. Понимаешь? Можно угостить тебя коктейлем «Island»?

Он выпил один за другим несколько коктейлей и пришел в сильное возбуждение. Когда он заговорил о Лахаине, я поняла, что ром ему пить нельзя. Старый трактир китобоев — это такое чудо, а их старые корабли — чудо вдвойне. Все настоящее, как описано в книгах, которые он читал еще мальчишкой. Подумать только, и все это сохранилось до сих пор! Я спросила его, не ездил ли он на «сахарном поезде». Оказалось, нет, не было желания.

— Это почему же?

— Да он какой-то ненастоящий, — отвечает Франц. — Битком набит туристами, маршрут короткий, только туда и обратно, игрушка из Диснейленда, к Гавайским островам этот поезд не имеет никакого отношения.

— Диснейленд? — говорю я и начинаю сердиться. — В свое время это был замечательный «сахарный поезд», по обе стороны от дороги лежали бескрайние плантации, а какое было движение, сколько сахарного тростника везли на берег! Но теперь с сахарным

тростником покончено, и с кофе тоже, теперь всем заправляют американцы. И с орехами тоже покончено.

— При чем тут орехи? — спрашивает он, и я объясняю, что американцам невыгодно заниматься орехами, они едят орехи только в шоколаде, а такие конфеты производятся на материке, возить же орехи туда и обратно слишком дорого, вот мы и покончили с орехами. У нас покончено со всем, кроме туризма.

Франц страшно рассердился, он долго стоял, погрузившись в задумчивость. Потом спросил, уж не американцы ли так испортили и загадили окрестности Лахайны.

— Я там не бывала, — ответила я. — Ты имеешь в виду обычный мусор, что валяется на земле?

Нет, не обычный, все обстоит гораздо хуже. Он гулял по берегу, сидел под пальмами и смотрел на прибой, а потом прошел немного подальше и угодил прямо на вонючую свалку.

— Понимаешь, на свалку! — воскликнул Франц. Ты себе даже не представляешь, что там творится! Разбитые машины! Колючая проволока, старые железные кровати, ряды хижин с выбитыми окнами, на которых висят рваные занавески, крыши провалились...

Он чуть не плакал. И хотел знать, может, и в этом повинны американцы. Я поняла, что надо немного успокоить его, парни уже стали поглядывать в нашу сторону, поэтому я сказала:

— Ну чего ты расстраиваешься? Все очень просто: люди уезжают на материк, и никому не хочется следить за домом уехавшего соседа. А у государства и без того хватает забот. Туристы же загорают себе на песочке и никогда не ходят далеко. А на экскурсии их возят.

— Не понимаю, — сказал он. — Можно угостить тебя еще одним коктейлем?

— Нет, — ответила я. — На сегодня с коктейлями покончено.

Он совсем растерялся.

— Что-то тут не так, — сказал он. — Почему вы теперь не поете? Почему никто не играет на гитаре, сидя у своих домиков? Не танцует когда взбредет в голову? Нет, что-то тут не так.

Он окончательно мне надоел.

— У нас все о'кей. А почему, собственно, у нас должно быть так, как ты говоришь? Ты ошибся столетием. Мы теперь стали одним из американских штатов, и никто не обязан играть, петь и плясать, разве

что на эстраде. Теперь все думают только о налогах да процентах, и никто, кроме туристов, не выставляет себя напоказ.

— Я тебе не верю, — сказал Франц и прибавил через мгновение: — Ты не настоящая полинезийка. Ты недобрая. Я добрее, чем ты.

Фредди с парнями ухмылялись в другом конце зала, они слушали наш разговор. Я начала мыть бокалы. Франц вдруг совсем раскис, и я уже пожалела, что обещала ему номер. Нет, с туристами миндальничать не следует.

— Я приехал слишком поздно! — вдруг зарыдал он. — Это ужасно! Я опоздал!

— Не огорчайся, — говорю я, — мы еще не скоро закроемся.

Фредди гнусно лыбится, показывает на него парням и подмигивает мне.

— Франц, — говорю я, — ступай-ка спать.

Но он не обращает внимания на мои слова и пытается объяснить, что я его не так поняла, а потом вдруг заявляет, что идет купаться.

— Купаться? — удивляюсь я, и все парни прислушиваются к нашему разговору. — Ишь ты! У нас тут водятся акулы. Акулы, понимаешь? Ты что, не видел того американского фильма, в котором акула жрет невинных туристов одного за другим?

Франц опустил голову и поглядел на меня поверх очков, он рассердился, но сам не мог понять почему. Наконец он произнес с некоторым усилием:

— Я не американец.

Мне эта забава уже наскучила, я дала ему ключ и велела идти спать.

— Комната номер три. Как поднимешься, сразу направо.

И он ушел, взяв свой рюкзак. Фредди подошел к бару, ткнул пальцем в блюдо с гниющими орхидеями, поднял брови и сказал:

Wow, oh wow!<sup>[39]</sup> Это еще что за суп?

— А ты разве не знаешь? — удивилась я. — Уж тебе бы следовало знать это кушанье. Любимый туристский десерт а-ля Вайкики.

— Ты насмешишь! — Фредди расхохотался до слез. Закрыв бар, я вышла на улицу и посмотрела на окно Франца: свет был погашен.

В ту же ночь начался дождь. Я зашла к бабушке и на всякий случай включила отопление. Под утро я услышала внизу в баре грохот и как сумасшедшая вскочила с постели: это Франц, вернувшись

откуда-то, уронил со стойки медную вазу. Он был совершенно мокрый и совершенно трезвый и без конца просил прощения, что разбудил меня.

— Не беспокойся, — сказала я. — Очень кстати, у меня много дел.

— Ради бога, прости меня, — говорит Франц. — Какой ужас! Какой ужас, я ничего не помню, что было вчера! Со мной это впервые. Что я говорил? Я не нахамил тебе?

И все в таком роде. Он попросил меня не зажигать верхний свет, потому что очень красиво, когда за окном льет дождь. Дождь был настоящий, он бушевал, как водопад. Я бросила на порог тряпку и шваброй убрала немного воды. Франц весь дрожал.

— Кто бы подумал, что во время тропического ливня может быть так холодно, — сказал он.

Я отправила его наверх переодеться, а тем временем приготовила ему кофе. И занялась своими делами. Вскоре я заметила, что он сидит и пишет что-то в своей тетрадке. Я спросила, не писатель ли он часом или что-нибудь в этом роде.

— Нет, — ответил он, — просто я записываю впечатления, чтобы чего-нибудь не забыть. Потом расскажу своим детям, и вообще.

— А у тебя есть дети?

— Нет, — ответил он, — но когда-нибудь, наверно, будут. Вот послушай: ночью в декабре перед самым рассветом начались долгие зимние дожди, они обрушились на море и на Хило.

Он замолчал и поглядел на меня.

— Точно, — сказала я. — Дожди начались сегодня ночью. Тебе не повезло.

— Хило, — продолжал он. — Этот город строила тоска по родине. Тут есть японские домики и дома совсем как в Аризоне, на настоящем Диком Западе. И непривычно широкие улицы, их ширина навевает грусть. Почему у вас всюду так много электрических проводов? Все просто опутано ими.

Я объяснила ему, что провода необходимы для ангелов, ангелам нужен электрический ток. Разве он не обратил внимания на наши рождественские украшения?

— Конечно обратил, — сказал Франц. — Ангелы и жестяные гибискусы, очень интересно. А почему макушки рождественских елок

вы украшаете ананасами?

— Запиши, — сказала я. — Запиши так: макушки своих рождественских елок они всегда украшают ананасами.

— Я тебя чем-нибудь обидел? — испугался Франц.

— Все в порядке, — сказала я. — Пей кофе, пока горячий.

Смешно, но я по-своему привязалась к нему, не сразу, а постепенно. Мне всегда нравились люди, которые проявляют искренний интерес — правда, не так навязчиво.

Он сидел и писал в своей тетради. Время от времени я подходила к нему и говорила, на что следует обратить внимание, например на наш новый торговый центр с образцовым самообслуживанием. Бабушка проснулась в одиннадцать и вышла в бар, чтобы выпить горячего молока. Она всегда садится в дальнем конце зала, я нарочно убрала там часть столиков, чтобы ей было просторнее: бабушка — самая толстая женщина из всех, каких я видела, а у нас на островах толстые не редкость. Франц от удивления широко раскрыл глаза: темно-коричневая кожа, длинное ярко-желтое одеяние, седые волосы — бабушка являла собой неповторимое зрелище.

Я подошла к столику Франца, чтобы подбодрить его.

— Вот тебе настоящая полинезийка. Ей девяносто семь лет. Это моя бабушка, вернее, прабабушка, она жила в одной из тех хижин, про которые ты говорил.

Франц вспыхнул, но я успокоила его, сказав, что бабушка не понимает по-английски.

— Хочешь поговорить с ней?

— Нет, нет, — прошептал Франц. — Большое спасибо, но лучше не надо.

Я видела, что он немного боится бабушки. Она постучала палкой об пол, и я принесла ей еще одну чашку молока.

— Кто это? — спросила бабушка.

— Турист. Он поселился у нас в третьем номере.

Бабушка некоторое время смотрела на Франца, потом сказала, что он чересчур худой, что она хочет угостить его обедом и что я должна показать ему Сад принцессы.

К двенадцати дождь немного стих. Я повесила на дверь записку и поднялась к Францу. Он разложил на кровати множество карт и красными точками отмечал на них самые интересные места.

Подоконник был завален скорлупой кокосовых орехов, ракушками и множеством пальмовых семян, от которых на полу образовалась лужа.

— Меня прислала бабушка, — сказала я. — Она хочет, чтобы я показала тебе Сад принцессы, это недалеко. А потом она приглашает тебя на обед. Таков приказ.

Я нашла для него плащ, и мы отправились. Вообще-то этот сад знаменит, только мало кто успевает его посмотреть, туристы едут прямо на Мауна-Лоа. Никаких цветов в саду нет, одна лишь трава, одевающая пригорок за пригорком по всему берегу. Типичный японский сад — вода, мостики, каменные тумбы со светильниками и деревья, растущие далеко друг от друга. И зарытые камни, над землей видна лишь небольшая часть камня.

— А кто была эта принцесса? — спросил Франц. — И когда она жила?

— Давно, — ответила я. — Точно не знаю. Но она была полинезийка, это ты можешь записать.

Дождь почти перестал. Мы дошли до самого конца сада, Францу непременно хотелось подняться на каждый мостик. Там он останавливался, оглядывался по сторонам и объяснял, что мосты расположены так же, как деревья, то есть они красиво смотрятся с любой стороны и не мешают друг другу. Потом он восхищался зарытыми камнями и утверждал, что здесь сказочно красиво.

— Конечно красиво, — согласилась я. — Хотя в солнечную погоду тут еще лучше.

Нет, нет, — возразил Франц, — этот сад нужно смотреть сквозь дымку дождя. Я видел много мест, которые в солнечную погоду чересчур приторны. — И он стал распространяться на эту тему.

Дома я занялась бабушкиным обедом, Фредди мимоходом заглянул в бар и поинтересовался, как себя чувствует турист.

— Прекрасно, — ответила я. — Ему нравится дождь. Он разочарован, что у нас нет хижин, и верит, что море кишит большими американскими акулами.

— Сдохнуть можно! — воскликнул Фредди. — Зачем ты напугала его? По-моему, он хороший парень.

— Я не пугала, я только хотела помочь ему.

Дождь зарядил сильнее, Франц сидел и писал обо всем, что видел. Бабушка вышла из-за занавески и тотчас же заснула у себя в

углу. Я застелила стол нарядной рождественской клеенкой и поставила прибор.

— А почему только один? — шепотом спросил Франц, он явно нервничал.

— Не удивляйся, таков обычай, — сказала я. — Бабушка будет есть позже, но ты ее гость. А я ем когда придется. На обед будет курица. И Особый Салат из Тропических Фруктов. — Я нарочно произнесла каждое слово будто с большой буквы, и он был в восторге. Не забыть бы рассказать об этом Фредди — Особый Салат из Тропических Фруктов! О, вау!

Бабушка проснулась от собственного храпа и сказала:

— Накорми его получше, он слишком худой. Ты ему сказала, что это я его угощаю?

Франц принялся за курицу, и я ушла. Вскоре он подошел к стойке.

— Я так не могу! — сказал он. — Она все время смотрит на меня, мне кусок в горло не лезет. Ради бога, подойди ко мне.

Я подошла.

— Переведи, — попросил Франц и заговорил, как будто читал по бумажке: — Благодаря вам, уважаемая госпожа, я увидел сегодня Сад принцессы. Этого я не забуду никогда в жизни.

Я перевела.

— Забудет не забудет, какая разница, — буркнула бабушка.

— Скажи ей, — продолжал Франц, — скажи ей, что на всем вашем архипелаге самое сильное впечатление на меня произвел Хило.

Я перевела, тут бабушка оживилась и сказала, что Хило — грязная дыра, которой далеко до Ханалеи на Кауаи, где она родилась.

— Скажи ему, — велела бабушка, — что здесь все не так. Овощи плесневеют, рыба засыпает прежде, чем ее успевают вытащить из моря. Служанки — разряженные бабы, которые слишком много возомнили о себе. Дети даже не умеют танцевать, телевидение показывает не то, что следует, и все это чужеземцы устроили нам назло. В другой раз, когда буду не такой усталой, я ему еще расскажу про Хило.

Наступает недолгое молчание.

— Что она сказала? — шепотом спрашивает Франц. — Она на меня сердится?

Я отвечаю, что бабушка считает, что все мосты, деревья и камни расположены так, чтобы ими можно было любоваться отовсюду. Тут Франц встает и кланяется бабушке, а она говорит, что ей жалко туристов — они все немного полоумные: гоняются за тем, чего у них и дома хватает. Фрукты у них на родине выглядят иначе, чем в Хило, это правда, так же как дождь, рыба или женщины. Но уж если на то пошло, эти самые важные на свете вещи есть везде и по сути одинаковы. К тому же ездить — дорого и не нужно.

Когда я кончила переводить, бабушка снова заснула, и в бар вошли посетители. Позже, уже вечером, Франц спросил, понравился ли он бабушке.

— Да, очень, — ответила я. — Ей впервые понравился турист. Только она считает, что ты слишком худой.

Следующий день Франц просидел за столиком у окна, глядел на дождь и ничего не делал. Впрочем, ему и нечего было делать. Если бы он даже и поднялся на Мауна-Лоа, то из-за испарений все равно не увидел бы кратера. Туристы не видят его даже в ясную погоду, если не поднимутся туда рано-рано утром.

— У тебя есть время поговорить со мной? — спросил он. — Твоя бабушка сказала, будто всюду все одинаково, но ведь это не так. Ей девяносто семь лет, она-то должна знать, что всюду все разное.

Он казался очень огорченным, и я тут же принялась объяснять, что, даже если все примерно одинаково, он-то, во всяком случае, не похож ни на одного человека. В этом вся суть. Бабушка никогда ни одного туриста не угощала обедом, а среди них, можешь поверить, многие были гораздо хуже тебя. Кроме того, я слышала, как бабушка говорила, что все люди делают одно и то же, но совершенно по-разному.

Он поинтересовался, когда она это сказала, и я ответила, что это было лет сорок назад, но потом изменила цифру на двадцать. Франц погрузился в подсчеты и размышления, наконец он сказал, что раз бабушка приходится мне прабабушкой, значит, у нас должно быть много и других родственников — тетушек, сестер, кузин и так далее.

— Нет, — говорю я, — нас с бабушкой только двое.

Франц тут же спохватился:

— Неужели тайфун девятьсот десятого года?..

Мне это уже надоело, и я оборвала его:



— Нет. Ни девятьсот десятого, ни даже девятьсот шестидесятого. Франц смутился и стал бормотать какие-то извинения.

Так у нас и шло. Когда я была в хорошем настроении, я сочиняла всякие байки, но иногда эта игра мне надоедала.

Дожди продолжались, и Франц по-прежнему жил у нас. Один раз он заплатил за номер, но больше денег от него я не видела и начала кое о чем догадываться. Меня поражало уважение, с каким Франц относился к бабушке. Каждый раз, когда она врывалась в зал, он вставал и отвешивал низкий поклон, бабушка, конечно, это видела и была страшно довольна, она слегка наклоняла голову, но выражение ее лица не менялось. Все было прекрасно, пока мне не требовалось переводить, вот тут я начинала сочинять, и мое вранье было шито белыми нитками; сама не знаю, зачем я врала, наверно потому, что для этого не требовалось никаких усилий.

За номер Франц так и не платил. Он почти ничего не ел, кроме супа, и больше уже не разглядывал свои карты.

Вообще-то в моей лжи был некоторый смысл. Например, Франц увидел на берегу красный флажок и решил, что это предостережение от акул. К акулам флажки не имеют никакого отношения, у нас их втыкают в песок, чтобы заметить место, где поставлены сети. Но мне не хотелось разочаровывать Франца, поэтому я легко соглашалась на акул, и Франц записывал это в свою тетрадку.

Поскольку днем посетителей в баре почти не было, а дождь действовал мне на нервы, я часто беседовала с Францем — главным образом о том, что он называл Жизнью на Островах. Он буквально плотал каждое мое слово, а иногда тут же начинал за мной записывать. Это развлекало меня, и время проходило быстрее. Если иногда я не могла ничего ответить, Франц просил меня пойти и спросить у бабушки. Разумеется, я этого не делала, но придумывала что-нибудь забавное и выдавала за ее слова.

— Какая она умная! — восхищался Франц. — Надо прожить сто лет, чтобы стать таким умным.

Это превратилось в своеобразную игру. Я сочиняла что хотела и больше даже не поминала американцев. Деятнадцатый век почти в чистом виде!

— Вау! — сказал Франц. — Это просто чудо! Я имею в виду, что все это еще сохранилось. Можешь мне не верить, но до того, как я

приехал в Хило и познакомился с тобой, я был ужасно разочарован, у меня как будто почву выбили из-под ног. Наверно, я начал знакомиться с островами не с той стороны. — И он понес чушь о том, что хорошо бы поселиться в одной из покинутых хижин, привести ее в порядок и очистить берег. — Понимаешь, берег не только возле моей хижины, а вообще весь берег. Ведь хорошо, если тут снова станет красиво. Может, меня бы взяли на эту работу? Ведь кто-то убирает тут улицы и поддерживает чистоту? Мне много не надо, только на хлеб насущный.

Я почувствовала, что пора немного охладить его пыл, и как можно мягче сказала, что получить разрешение на работу у нас не так-то легко, к тому же людей, которые поселяются в брошенных хижинах, рано или поздно с острова высылают. Не могла же я потакать всем его безумствам. Однако желание его мне понравилось — все честно и просто. Франц помолчал, а потом осторожно заговорил о плате за номер. Он заговаривал об этом и раньше, но все обиняками да намеками, его светская осторожность взбесила меня, и я спросила напрямик, есть ли у него деньги и хватит ли ему, чтобы доехать до дому. Да, да, конечно, денег у него много, только они еще не пришли. Он справляется о них каждый день. Ага, подумала я, теперь ясно, почему ты сидишь в Хило.

— А кто, — спрашиваю, — должен прислать тебе эти деньги? Банк? Фирма? Адвокат?

Оказалось, не совсем так. Добрый друг занял под честное слово и скоро вернет. Сдохнуть можно, как говорит Фредди.

— А ты ему написал? — спрашиваю я.

— Да, конечно, и писал, и телеграфировал, но ответа нет — наверно, что-нибудь случилось.

Правильно. Безусловно.

Я сразу поняла, что там случилось. И теперь, опять же по выражению Фредди, я оказалась в положении человека, плюющего против ветра. Что делать с Францем? За это время мы с ним подружились — во всяком случае, я держалась с ним по-дружески. Чтобы прервать беседу, я сказала, что меня ждут дела на заднем дворе, и он тут же предложил мне свою помощь.

— Нет, нет, тебе с этим не справиться, — отказалась я и, вспомнив про бабушкино молоко, сказала, что, если бабушка придет и

постучит палкой об пол, он должен сделать то-то и то-то, а кроме того, показала ему, как подогреть молоко. Франц обрадовался и спросил, не может ли он быть мне полезен чем-нибудь еще. Тогда я сказала, что он должен поддерживать чистоту и порядок в своей комнате, там весь пол усеян семенами, пылью и песком.

Когда я вернулась, Франц уже разогрел молоко и, кроме того, открыл множество совершенно ненужных пачек печенья и баночек с соком — все, что нашел на полках, он поставил на бабушкин столик вместе с вазой с пластмассовыми цветами, которая обычно стояла на окне. Бабушка удивилась, но была очень довольна. Именно этот случай и натолкнул меня на мысль поручать ему кое-какую работу, но так, чтобы это не бросалось в глаза.

— Только делай это незаметно, — попросила я. — Я не хочу выяснять отношения с профсоюзами. Будешь помогать мне понемногу, пока не придут твои деньги.

Но я-то знала, что денег этих ему не видать как своих ушей. Весь остаток дня он прибирался наверху, на лестнице и в чулане, и каждый раз, когда он заканчивал очередную работу, я должна была прийти и одобрить ее. Так продолжалось до самого Рождества, и все время шли проливные дожди.

— Ты уверена, — спрашивает однажды Франц, — ты уверена, что я заработал уже достаточно, чтобы рассчитаться с тобой и за еду, и за комнату? Ты видела, какой порядок я навел в шкафу под лестницей?

— Да, да, — говорю я. — Ты уже все отработал, у тебя даже останутся лишние деньги.

Тогда-то я и узнала, что деньги ему нужны, чтобы угостить бабушку рождественским обедом. Так он решил.

Утром в сочельник я отправила его купить кое-какие украшения для бара к Новому году: наши старые уже истрепались, к тому же за двадцать с лишним лет они всем намозолили глаза. Я дала ему денег и велела посмотреть, как украшен бар Хуалани, который находится за углом, чтобы он знал, что ему нужно купить. Франц отсутствовал очень долго. Вернулся он с обычными блестящими украшениями, все как надо, но половину денег он истратил на орхидеи. Да, да, на орхидеи.

— Они такие дешевые, — сказал он, — сказочно дешевые, а главное, никто на всей улице не украсил бар орхидеями.

— Еще бы, — заметила я. — Все-таки это не отель «Хилтон», зачем выставлять себя на посмешище?

Он ничего не понял и очень расстроился, поэтому я поставила весь этот мусор в банку и сказала, что отнесу букет бабушке как рождественский подарок от Франца.

Он вознамерился тут же идти к бабушке, но я сказала, что спешить некуда.

— Нет, давай отнесем их сейчас, — попросил Франц. — Она должна получить их как можно скорее.

Я взяла цветы и откинула портьеру в бабушкиной комнате, Франц шел за мной по пятам, отделаться от него было не так-то просто.

— Зачем ты их сюда притащила? — спросила бабушка. — Они воняют! Сейчас же унеси их во двор!

— Что она сказала? — прошептал Франц.

— Она очень тронута, — ответила я. — Но у нас на островах есть старинный обычай: если молодой человек дарит цветы очень старой женщине, она в знак благодарности отдает их ему обратно.

— Это такой символ? — с горячим интересом спросил Франц. — Вроде благословения? Чтобы он подарил их другой, молодой женщине? Таким образом старая как бы благословляет их союз, да?

— Да, что-то в этом роде, — сказала я, отдала ему его веник, и он унес его к себе в комнату.

Вскоре пришел Фредди пропустить рюмочку перед обедом.

— Как дела? — спросил он, и я сразу поняла, что он имеет в виду Франца, но у меня не было желания рассказывать ему об орхидеях.

Фредди сказал:

— Знаешь, он каждое утро ходит убирать берег, и теперь берег стал еще страшнее, чем раньше. Раньше мусор валялся в естественном беспорядке, а он собрал его в кучи. Тебе что, удалось устроить его в службу городской уборки?

— Не говори глупости, — резко сказала я. — Он слишком молодой. Нас не касается, что и где он делает.

— Все ясно, — сказал Фредди. — Прости, прости. Я не имею ничего против твоего замечательного юного туриста.

Фредди вел себя глупо, но я промолчала, и он вскоре ушел. Я заперла бар и занялась приготовлением рождественского обеда. Обычно я говорю прямо все, что думаю. В моем духе было бы сразу

велеть Фредди заткнуться, но с тех пор, как у нас поселился Франц, я стала врать, как никогда: может, раньше в этом не было необходимости, а может, мне это просто не приходило в голову. Ведь с бабушкой я либо молчу, либо соглашаюсь: да, да.

Я готовила рождественский обед, которым Франц хотел угостить бабушку. В своем путеводителе он нашел множество странных блюд и заявил, что это типично гавайские блюда. Типичные или не типичные, кто знает. Я по крайней мере о таких даже не слыхала, даже в отелях таких не готовят. Все это я тут же выложила Францу.

— Значит, дело не в том, что они слишком дорогие или их слишком сложно готовить? — подозрительно спросил он.

— Конечно нет! Поверь мне. А главное, я думаю, что бабушке они не понравятся.

— Хорошо, — сказал Франц. — Согласен. Приготовь что-нибудь, что она любит.

Так что теперь я готовила обед по своему усмотрению, а Франц помогал мне на кухне; когда же он чересчур надоел мне, я отправила его за луком. Бабушка постучала палкой в стену, и я пошла к ней за занавеску, чтобы узнать, что ей нужно.

— Позови сюда своего туриста, — попросила она. — Мне нужно сказать ему одну очень важную вещь.

Я подождала немного, но Франц не возвращался. Бабушка снова постучала в стену. Я поискала Франца в его комнате, потом на заднем дворе, но там его, конечно, не было. И я продолжала заниматься обедом. Через некоторое время я вышла на улицу и увидела его: он стоял под проливным дождем и смотрел на ангелов, со скрипом бивших крыльями на ветру. Я крикнула, чтобы он сейчас же шел домой, бабушка хочет сказать ему что-то очень важное. Франц хотел сперва отнести лук на кухню, но я сказала, чтобы он торопился, время не терпит. Должно быть, я все-таки что-то почувствовала. Откинув занавеску, я пропустила Франца вперед. В комнате царил полумрак: у бабушки слабые глаза, она не выносит яркого света.

— Она спит? — шепотом спросил Франц.

Я посмотрела на бабушку: она лежала на спине, руки мирно сложены на большом животе.

— Нет, — сказала я Францу, — она не спит. Она умерла.

— Как — умерла? — Франц весь напрягся, точно струна. — Ведь еще несколько минут назад она была жива и хотела что-то сказать мне!

— Не огорчайся, — сказала я. — Бабушка была очень старая, она устала от жизни.

Он был в отчаянии.

Я бросила готовить обед и увела его в бар, и все время он спрашивал у меня, что же, по моему мнению, бабушка хотела сказать ему. Это ужасно волновало его.

Вообще-то я была рада, что мне больше не придется переводить и дурачить Франца, но вышло иначе. Он продолжал приставать ко мне: ему непременно нужно было знать, о какой важной вещи хотела ему сказать бабушка. В конце концов я не выдержала.

— Что для тебя сейчас самое важное? — спросила я.

— Все! Все! — воскликнул Франц, он заплакал и начал беспорядочно рассказывать, что нет такого человека, который бы сказал ему, как он должен распорядиться своей жизнью, просто ли честно жить или посвятить жизнь какой-нибудь идее, искать ли смысл жизни или принимать все как должное, стараться увидеть как можно больше, жить внешними впечатлениями или углубиться в себя и так далее и тому подобное, — по-моему, он сам не понимал половины из того, что говорил.

В конце концов я налила ему рому и сказала:

— Давай выпьем, помянем ее. Я знаю, ты ей нравишься, и она верила, что ты всегда поступишь правильно.

— Это правда? — спросил он и высморкался.

Конечно.

— Она так и сказала?

— Да, только слов ее я точно не помню. Но смысл был такой: ты должен продолжать делать то, что делаешь.

— Неужели правда? — изумился Франц. — Ну что ж, так и будет. В девяносто семь лет человек знает, что говорит. — Франц успокоился и погрузился в раздумья.

Конечно, он думал о том, что ему нравится в Хило и он хотел бы тут остаться — с чистой совестью, благословленный бабушкой и оплачиваемый мною; он, очевидно, хотел заняться расчисткой берега — этого хобби ему хватило бы на всю жизнь.

Если вам интересно, могу сказать, что через несколько лет Франц таки получил разрешение на работу в службе городской уборки, и я освободилась от ответственности за него. Иногда он заходит выпить чего-нибудь, показывает мне ракушки или какую-нибудь другую находку. Бар завален его находками, я даже изменила название, теперь бар называется «Southern Seashell»<sup>[40]</sup>.

Со временем я окончательно привыкла обманывать Франца, заботясь о его же благе. Потом он тоже начал меня обманывать, но мы оба относимся к этому как к игре.

## В новом краю {24}.

Юханна, эмигрантка из Финляндии, сидела и чинила белье в комнате, которую снимала для себя и двух своих младших сестер в большом американском городе. Стоял мартовский вечер, и за окном в весенних сумерках уже зажглись первые уличные фонари.

Вначале им было трудно. Не хватало тишины, и они не могли спать по ночам, ни Юханна, ни ее сестры не могли спать в этом чужом городе. Но потом они привыкли и больше уже не слышали уличного шума, не замечали его; как не замечают шелест леса или шорох дождя. Юханна первая перестала замечать шум, теперь она спала по ночам и набиралась сил, каждый новый день требовал от нее новых усилий. Высокая, грузная, она была самой выносливой из них троих. Она-то и нашла им всем и работу, и жилье в этой чужой стране и очень гордилась этим. Ни один человек не догадывался, как трудно ей было, и меньше всех Майла и Сири, которые принимали все как должное и словно плыли по течению. Но они были гораздо слабее ее, потому что родились позже, когда отец с матерью уже порядком изнасились. Нелегко униженно просить работу на чужом языке, а дни тем временем бегут, деньги тают, и ты знаешь, что вернуться домой невозможно.

\* \* \*

Теперь у них с Майлой была постоянная работа — уборщицами на фабрике, а Сири устроилась служанкой в одной семье. Скоро Юханне идти в ночную смену. Пока она шила, мысли ее вернулись в прошлое, на родину, к отцу, который сказал ей: Юханна, вы уезжаете в Америку. Я верю, что ты будешь заботиться о своих младших сестрах и не допустишь, чтобы они погрязли в разврате. Тебе лучше, чем кому бы то ни было, известно, какие они слабые и податливые, особенно Сири. Отец, ответила она, вы можете быть совершенно спокойны. Он кивнул ей и вернулся к своим занятиям. В то время началась повальная эмиграция в Америку, многие крестьяне бросали свои



усадыбы и за гроши продавали скотину. Переезд через море был очень тяжелым. Когда Юханна вспоминала про штормы, ей всегда представлялись картинки из Библии, на которых было изображено светопреставление — грешники и праведники вместе низвергались во тьму, где их должны были рассортировать к Судному дню. Юханна очень любила семейную Библию, каким утешением она была бы для Юханны в этой чужой стране, но такая книга должна перейти по наследству к сыновьям, которые продолжают их род. Самым ужасным в этом переезде была морская болезнь — людей мутило, рвало, и они не могли ничего с собой поделаться. Пока было еще терпимо, Юханна пыталась заставить сестер петь, потом же ей оставалось только поддерживать лоб то Майлы, то Сири, когда их выворачивало наизнанку. Вонь в трюме была такая, что и Юханну тоже чуть не вывернуло, но она туго обвязала живот полотенцем, затянула ремень и представила себе, будто она капитан и на ней лежит ответственность за всех пассажиров. Тогда ей стало легче, и она успокоилась. Такой же невозмутимо спокойной была она и в таможне, когда оказалось, что в документах у них что-то не в порядке, и их не выпускали на берег. Она сидела там целый день, несокрушимая, как скала, и не сдалась, в конце концов сдались американцы. Но все это было уже далеко позади. Теперь Юханна раз в месяц писала отцу и давала отчет об их жизни. Отец же никогда не писал ей, у него были другие дела.

Закончив чинить белье, Юханна прогнала воспоминания прочь и принялась готовить обед. Первой обычно возвращалась Майла. Она была неразговорчива и не нуждалась ни в чьем обществе, такая она была с самого детства. Майла прошла в угол за занавеску, переделалась, потом застелила стол скатертью и поставила две тарелки.

— Почему только две? — удивилась Юханна.

— Сири просила передать, что не придет сегодня к обеду, — ответила Майла.

— Она могла бы сказать об этом еще утром. Опять с ним, да?

— Я не знаю.

— Это в ее духе — ничего не знать, ни за что не отвечать, ни во что не вмешиваться.

— Могла бы постараться и разузнать, чем занимается твоя сестра, — сказала Юханна, когда они сели за стол. — Она моложе тебя, миловиднее и в любой день может погрязнуть в разврате. Мне она ни о чем не рассказывает, хотя, случись что, выручать ее придется мне.

Майла продолжала молчать.

— Я сегодня иду в ночную смену, — сказала Юханна. — Ты мне потом расскажешь, когда она вернулась и где была. Мне нужно знать, что происходит. Я починила твоё бельё и сложила в нижний ящик. Ты намазала руки кремом?

— Да.

— Хорошо. А то от мытья полов у тебя потрескается кожа, ты ведь не привыкла к такой работе.

Это я и сама знаю, подумала Майла. Вымыв посуду, она легла на кровать.

— Укройся чем-нибудь, — сказала Юханна. — Нельзя спать не укрывшись.

— Я не сплю, — сказала Майла.

Юханна сидела у окна, она беспокоилась за Сири. Если бы ещё этот парень не был итальянцем! Американцы тоже, конечно, чужие, но нужно же было Сири найти себе итальянца, этого маленького чернявого парня, который ничего не зарабатывал и был к тому же ниже её ростом. Юханна видела их однажды на улице, когда они прощались, пригласить его домой Сири никогда бы не осмелилась. И религия у него была другая. Все другое. На её вопросы Сири отвечала неохотно, сообщила какие-то ничего не значащие сведения, а потом легла и притворилась, что спит. Так же, отвернувшись лицом к стене, лежала сейчас и Майла, хотя было ещё совсем рано. Неожиданно Юханну охватило бессилие. Мне с ними не справиться, подумала она. С ними невозможно разговаривать, они только отмалчиваются и замыкаются в себе. Как же я смогу им помочь, если они даже не слушают, что я им говорю?

Она сказала:

— Я приготовила наши национальные костюмы к празднику, который будет в землячестве. Не забудь на этот раз надеть передник. Ты спишь? — Она выждала минутку. — Я очень жду этого праздника. Ты спишь или нет?

Но Майла ничего не ответила.

Когда Юханна под утро вернулась домой, на кровати спала Сири, одежда валялась разбросанная, одеяло сползло на пол. Юханна подняла одеяло; наклонившись над сестрой, она почувствовала запах вина. Сири спала, закинув руки за голову, как ребенок, круглое лицо с приоткрытым ртом во сне тоже казалось детским. Юханна присела на край кровати. Она некрасивая, думала Юханна, глядя на сестру. У нее слишком простое лицо, на таких у нас дома и не смотрели. И ноги коротковаты, и глазки маленькие. Но она молодая, крепкая и смешливая. Что мне с ней делать? Она не умеет блюсти себя и не думает о будущем. Юханна пошла налить стакан воды — в раковине лежал букет, цветы уже немного завяли. Пока она ходила за водой, Сири повернулась во сне, теперь ее рука покоилась на груди, на пальце сверкали два обручальных кольца. Господи, спаси и помилуй, подумала Юханна. Сегодня она не была на работе, а вместо этого тайком вышла замуж за итальянца. Как можно тише Юханна постелила себе на раскладушке, легла, но заснуть не могла, она думала о будущем. Она знала, что итальянец живет в одной комнате с тремя братьями где-то недалеко от порта, жених он был незавидный. Знала она также, что Сири поступила так из упрямства и будет несчастлива. Юханну до глубины души оскорбило то, что ей не позволили устроить все как положено. Уж если такому несчастью суждено было случиться, нужно было хоть обставить все красиво, устроить в землячестве вечер с кофе и музыкой. Придать этому браку хоть какую-то пристойность. Но с самого начала все шло не так. Сири не была откровенна с Юханной и не спрашивала у нее советов. А ведь можно было все обсудить. Составить вместе план действий, и тогда Юханна решила бы, что для кого лучше и как поступить, чтобы никого не обидеть. Первый раз после отъезда с родины Юханна заплакала. Майла, конечно, все слышала, но притворилась, что спит.

Когда Юханна проснулась, сестры уже собирались уходить. Она откинула одеяло и немного посидела на кровати, чувствуя страшную усталость.

— Поспи еще, — сказала Сири, — ведь ты с ночной смены. Кофе для тебя стоит под шапкой. — По голосу Сири было слышно, что она боится.

— Нет, подожди, — сказала Юханна. — Мне надо поговорить с тобой. Но сперва я умоюсь.

Она подошла к раковине, у нее за спиной стояла мертвая тишина. Они боятся, подумала она. Они меня боятся. Думать об этом было больно. Юханна их не понимала. Она обо всем заботится, следит, чтобы все у них было в порядке, строит планы и решает, что для них лучше, а они ни с того ни с сего со страхом отворачиваются от нее. Она сполоснула лицо, обернулась к сестрам и сказала:

— Поздравляю тебя с замужеством, Сири. Мы могли бы устроить вечер в землячестве, разослали бы всем приглашения.

— Ты такая добрая, — сказала Сири, вид у нее был затравленный, она держала в руках чемоданчик, с которым ходила на работу.

— Ты спешишь?

— Да. Уже поздно.

— Нам пора. — Майла уже стояла в дверях.

И они ушли, больше ничего не сказав. Я знаю, думала Юханна, они бегут сейчас вниз по лестнице, и на сердце у них легко, будто опасность миновала, я знаю все, что они думают. В чем же ошибка, почему все так получилось? Я уже устала от них, а у нас впереди еще вся жизнь.

\* \* \*

Стоял пронзительно ясный мартовский день, наконец-то пришла весна.

Вечером Юханна спросила:

— Почему ты не пригласишь его домой?

— Он не хочет, — ответила Сири.

— Если он не хочет прийти к нам, значит, он боится меня? И виновата в этом ты. Что ты ему наговорила?

— Ничего.

— Что ему известно про нашу жизнь?

— Я не знаю.

— Не знаешь, — повторила Юханна. — Вы обе никогда ничего не знаете — ни ты, ни Майла. Прячетесь, как улитки в раковину, и говорите, что ничего не знаете. Вам легко. Ты не задумываясь

выходишь замуж — считаешь, что все легко и просто, и вступаешь в брак. А ты знаешь, что такое брак? Знаешь, что такое заботиться о другом человеке?

— Это Лучо будет заботиться обо мне, — дерзко ответила Сири.

— Лучо будет заботиться о тебе? Прекрасно! Но ведь он ничего не зарабатывает и никогда не сможет дать тебе дом. Что это за брак, если у вас нет даже общей постели?

— Ах вот оно что! — раскричалась Сири. — Ну так дай нам постель! Повесь в другом углу еще одну грязную тряпку и оставь нас в покое! У нас в комнате всюду висят тряпки: одна закрывает грязную посуду, другая — замоченное белье и вообще все, что не должно попадаться на глаза. Ты мастерица все устраивать, так повесь и для нас занавеску, чтобы мы могли спрятаться за нее и не видеть тебя!

Юханна не ответила, она словно окаменела. Неужели Сири ее ненавидит? Юханну поразила эта вырвавшаяся наружу неприязнь, прозвучавшая в необдуманных словах сестры, ее как будто ударили под дых. Она промолчала. Сири стояла, не поднимая глаз, вдруг она поспешно бросилась к двери.

— Надень пальто, — сказала Юханна. — Еще холодно.

\* \* \*

Почти каждый вечер Сири уходила из дому; возвращалась она мрачная, молчаливая и сразу ложилась спать.

— Вы друг с другом разговариваете по-американски? — спросила Майла.

— Да. А как же еще?

— Но ведь ты почти не говоришь по-американски.

— Он тоже.

У Сири вошло в привычку называть Лучо просто «он», после того, первого, утра она ни разу не произнесла его имени. Юханна считала, что Сири делает так ей назло. Она спросила:

— Он что, работает в порту? Чем он занимается?

— Всем понемногу. Помогает брату.

— А чем занимается его брат?

— Точно не знаю. Какими-то сделками.

— Сделками, — повторила Юханна. — Ты знаешь, какого мнения отец был о сделках и как его обманывали те, кто ими занимался? Неужели ты не понимаешь, что если человек не решается рассказать о своей работе, значит, он ее стыдится.

— А ты не стыдишься своей работы? — вырвалось у Сири.

— Нет. Я работаю честно, мне нечего стыдиться. — Лицо Юханны медленно налилось краской. Она взглянула на сестру. — Я знаю, что покраснела, и если это от стыда, то не за себя, а за тебя. Я не писала отцу о твоём замужестве, потому что не могу написать о нём ничего хорошего. Придется тебе самой написать ему, но сначала дашь мне проверить ошибки. И когда ты в следующий раз встретишься со своим итальянцем, расспроси его, пожалуйста, что это за сделки, которыми он занимается. Иначе мне придется выяснить все самой.

Юханна не знала, где живет Лучо Марандино, но это ее не остановило. Она пошла в итальянское паспортное бюро. С помощью словаря она составила несколько вопросов, на которые хотела получить ответ, но узнала только, что Лучо числится разнорабочим. В день полочки, когда сестры отдавали Юханне деньги на хозяйство, оказалось, что у Сири от полочки уже почти ничего не осталось.

— Разве ты что-нибудь себе купила? — удивилась Юханна. — Ты не принесла домой ни одной новой вещи, питаешься ты дома. Можешь не отвечать. Я и так знаю, что ты отдала ему всю свою полочку. Ведь он сейчас ничего не зарабатывает. Когда же у него будут деньги?

— На той неделе, — ответила Сири. — Он должен получить много на той неделе.

\* \* \*

Через неделю Сири принесла домой новые чулки, красное платье и ожерелье, сделанное явно не из стекляшек. Юханна промолчала, она не хотела портить Сири радость и не задавала вопросов. Если б у итальянца была честная работа, Сири сама бы сказала об этом. Но на другой день, когда сестры пошли на работу, Юханна отнесла ожерелье в ювелирный магазин и спросила, сколько оно стоит. Продавец ушел в

соседнюю комнату, вернулся он хмурый и спросил, откуда у нее это ожерелье.

— Это вас не касается, — ответила Юханна. — Я хочу знать, сколько оно стоит.

— Вы получили его в наследство?

— Не понимаю. Оно настоящее?

— Камни настоящие. Вы хотите его продать?

— Нет, я только хотела узнать, сколько оно стоит.

Продавец пожал плечами и сказал, что за оценку положен гонорар. Юханна не поняла его, спрятала ожерелье в сумочку и ушла. Зато она поняла, почему продавец вдруг стал подозрительным и почему его руки с таким почтением прикасались к ожерелью Сири. Она была в отчаянии и не знала, что делать. Весь день за работой она думала только об этом ожерелье. В голове у нее крутились непривычные слова — бриллианты, алмазы. Она не могла сказать Сири, что ее итальянец — вор. Не могла сказать Сири, что та носит на шее целое состояние. Не могла продать ожерелье, чтобы облегчить им жизнь. Она ничего не могла. А между молчанием и ложью не было никакой разницы.

Вскоре у Лучо Марандино снова начались тяжелые времена, получка Сири исчезала, и Юханне приходилось брать деньги из их общих сбережений. Они никогда не говорили об итальянце. Теперь Сири только спала и ела дома, вид у нее был грустный. Уходя по вечерам, она надевала ожерелье. В один прекрасный день оно исчезло. Юханна сразу заметила это. Сири и Майла ничем с ней не делились, и она была вынуждена проверять все их вещи, которые о многом говорили ей. Ожерелья среди вещей не было. Итальянец забрал его обратно, он продал свой подарок. Если бы Сири потеряла ожерелье, она бы не выглядела такой равнодушной и неприступной, словно ничего не случилось.

— Майла, — спросила Юханна, — она тебе что-нибудь рассказывает?

— Нет.

— Разве вы не разговариваете друг с другом? О чем вы говорите, когда меня нет дома?

— Ни о чем.

Юханна рассердилась.

— Ты просто дура! — воскликнула она. — Ну чего ты хочешь? Чего? Тебе хорошо живется — или, может быть, ты несчастна?

— Что ты кричишь? — удивилась Майла. — Что тебе от меня надо?

Им стало трудно жить вместе. Порой Юханна думала, что должна была бы устроить сестрам более веселую жизнь, но не знала, как это сделать. На родине, если у человека становилось тяжело на душе, он уходил на пригорок или в лес, а потом возвращался, и никто ничего не замечал. Здесь же Сири, уходя, хлопает дверью или, наоборот, закрывает ее подозрительно тихо, и ты знаешь, что она сейчас бесцельно ходит по улицам, потому что ей все надоело. Знаешь. Но когда она возвращается, тщетно пытаешься делать вид, будто ничего не случилось.

Я должна помочь Сири, думала Юханна. Так не годится, она все время молчит.

Приближался ежегодный праздник в землячестве, это было важное событие. На празднике каждый старался показать, чего он достиг за прошедший год, все разглядывали и обсуждали друг друга. Как допустить Сири на это судилище? Ведь она придет со своим итальянцем, они будут сидеть рядом — она белокурая, он чернявый, маленький, — и все будут спрашивать, где он работает и где они живут. Все это по-дружески, просто разговоры, но тем не менее опасные разговоры, которые ни к чему хорошему не приводят. А присутствовать на празднике они все трое должны обязательно. Юханна была членом правления.

Наконец знаменательный день наступил — все наступает в свое время. Сири хотела надеть красное платье, которое ей подарил итальянец.

— Но ведь это финский праздник, — заметила Юханна, — наш самый важный праздник в году. Мы надеваем национальные костюмы, чтобы почтить нашу родину. Память о родине — наше единственное достояние.

Неожиданно Сири вся вспыхнула от гнева.

— Отстань от меня со своей памятью! — закричала она, потеряв над собой власть. — Почему всем должна распоряжаться только ты? Оставь себе на здоровье эту старую родину, а я хочу жить на новой и



хочу надеть красное платье! — Она упала на пол, сотрясаясь от рыданий.

Юханна подняла ее на кровать и положила на лоб мокрое полотенце. Когда Сири успокоилась и с ней уже можно было разговаривать, Юханна сказала, что не возражает против красного платья. Все образуется, только не надо плакать, а то лицо распухнет и станет некрасивым. А ведь Сири хочется быть красивой для своего итальянца?

— Я не хочу его видеть, — прошептала Сири и снова заплакала.

— Майла, — сказала Юханна, — сбегай в аптеку и попроси чего-нибудь успокоительного. Возьми с собой словарь.

Вечером они пошли в землячество. Лицо у Сири было красное, глаза отекли и сделались еще меньше, чем всегда. Она держалась чуть ли не вызывающе, заговаривала со всеми, кого встречала в коридоре, тараторила не думая. И все время глядела по сторонам, ища глазами итальянца, но он еще не пришел. Для праздника землячество арендовало школу в восточной части города, пришедшие сидели за партами. Сцена была украшена еловыми ветками, переплетенными синими и белыми лентами, горели свечи. Итальянец пришел в последнюю минуту и сел рядом с Сири, которая заняла для него место. Юханна с Майлой сидели за партой позади них. Юханна смотрела на его короткую жирную шею с черными завитками волос и думала: он плохой человек. Даже странно, что он такой кругленький, похож на ребенка. Оркестр заиграл национальный гимн, и люди встали, Лучо Марандино — чуть позже всех. Странно, думала Юханна, они оба одинаково пухлые, как дети. Наверно, и ребенок у них был бы такой же толстый и пухлый...

Все сели. Сири оглядывалась по сторонам, пытаясь узнать, какое впечатление произвел итальянец на ее земляков, левую руку она положила на парту, чтобы все могли видеть ее обручальные кольца. Итальянец первый раз был в землячестве. Время от времени Сири прижималась к нему, чтобы показать, что он принадлежит ей.

— Видишь, как она себя держит? — шепнула Юханна Майле. — Не надо ей сегодня ничего говорить. Я уже придумала, что нам делать.

Майла бросила на нее долгий внимательный взгляд, снова отвернулась и стала такой же безразличной, как всегда.

После речи и хорового пения все вышли в коридор, там угощали кофе и соком. Сири с итальянцем не подошли к буфету, они остановились в углу за вешалкой.

— Хочешь кофе? — по-фински спросила Юханна у Сири. — Принести тебе чашку?

— Спасибо, не надо.

— Если ты будешь прятаться здесь среди пальто, ты не сможешь ни с кем поговорить. А тебе, кроме дома, не часто случается поговорить на своем родном языке.

— Я разговариваю с Лучо! — ответила Сири с вызовом, словно искала ссоры.

— Смотри, останешься в одиночестве, — сказала Юханна. — Он им не понравился.

Вот и сказала, и сказанного не вернешь.

— Настоящий финский праздник, — заметил Лучо Марандино.

По-американски он говорил плохо. Взгляд у него был острый как нож, он понял, о чем они говорят.

— Он считает, что у нас скучно, — сказала Сири, — и он прав. Мне тоже надоело это твое землячество!

— Не срамись! — сказала Юханна. — И нечего плакать. Вот тебе носовой платок, ступай в уборную, вернешься, когда успокоишься.

Сири взяла платок и ушла. Хуже быть уже не могло, Сири презирает землячество — единственное, что связывает их с родной деревней, — ей наплевать, что здесь хоть раз в месяц она имеет счастье говорить на своем родном языке, что здесь ее поймет каждый, к кому бы она ни обратилась, здесь всегда можно сказать: а ты помнишь?.. Или: ты из каких мест и как у тебя сложилась жизнь в этой чужой стране? Нет, Сири уже отдалилась от них из-за своего итальянца, с которым не может даже разговаривать, из-за этого вора, который ничего не понимает. Юханна повернулась к нему и сказала по-американски:

— Уходите! Оставьте мою сестру в покое! У вас нет денег, чтобы дать ей дом. А у нас вы жить не можете. Вы никому не нравитесь. Все очень плохо.

Он ответил:

— Вы мне тоже не нравитесь. Все финны противные.

Оркестр заиграл народные песни, и люди вернулись на свои места. Сири сидела не двигаясь рядом со своим итальянцем, ее красное платье выделялось в зале ярким пятном. Они прослушали еще одну речь, но Юханне было трудно сосредоточиться, она думала только о деньгах, которые принесла, чтобы спасти Сири от пожизненного несчастья. Это было все, что им удалось скопить: толстый бумажник из черной кожи — он лежал у нее в кармане передника. Место было надежное, но все равно ее рука то и дело ныряла в карман — проверить, там ли бумажник.

Когда итальянец поднялся, Юханна пошла следом за ним. Он вышел на школьный двор покурить. Там было темно, но из окон падал свет, и она могла видеть его лицо. Кроме них, на дворе никого не было.

Юханна сказала:

— Вы не сильный, вы ничтожество. Оставьте мою сестру. У вас нет ни денег, ни дома, мы вам помогать не можем. Уходите.

Он заговорил по-итальянски, очень быстро. Когда он умолк, она подошла к нему вплотную и сказала:

— Вы вор. Я все знаю. Я заявлю в полицию.

Лучо Марандино сразу притих. Видно было, что он хочет что-то сказать.

— Я заявлю в полицию! — крикнула Юханна.

Тогда он вытащил словарь, дал Юханне свой спичечный коробок и, пока она зажигала спичку за спичкой, искал нужное слово. Наконец он сказал:

— Доказательства. У вас нет доказательств.

— Но я знаю.

— У вас нет доказательств.

Тогда Юханна достала бумажник, протянула ему и сказала:

— Сосчитайте.

Он пересчитал деньги и без тени смущения положил их в карман.

— А теперь уходите, — сказала она. Мгновение он стоял, не спуская с нее глаз. Юханна выдержала его взгляд, она думала: можешь ненавидеть меня сколько угодно. Я это переживу. Меня ты не испугаешь.

И итальянец ушел, а она вернулась на праздник. Так они и жили в чужой стране, и дела у них шли все лучше и лучше. Юханна писала

домой каждый месяц: мы живем хорошо, ничего особенного у нас не случилось.

## Тот, кто иллюстрирует комиксы<sup>{25}</sup>

Газета тиражировала имя Блуб-бю уже лет двадцать, когда Аллингтон прервал работу, и продолжать серию<sup>[41]</sup> пришлось с другим художником. Готовых материалов оставалось всего на несколько недель, а дело было спешное. Контракты с другими странами требовали гарантии по меньшей мере на два месяца вперед. А ведь комиксы с Блуб-бю были выгодной серией, она выходила с бешеной скоростью, ее не мог готовить кто угодно. В газету пригласили целую уйму художников на испытательный срок и предоставили им место, это экономило время для наблюдения за их работой. Естественно, задача была для всех одинаковой. Через несколько дней два художника по профессиональной непригодности были уволены и заменены другими. Несколько раз в день совершался обход, и ассистенты пытались помочь художникам понять то, что от них требуется.

Среди проверяющих выделялся один высокий человек, звали его Фрид. У него была больная спина, предположительно оттого, что он вынужден был постоянно склоняться над рабочими столами. А этот новый художник — молодой и не без амбиций — был, возможно, самым лучшим из всех, но все же недостаточно хорош.

— Вы должны помнить, — твердил Фрид, — вы все время должны держать в памяти, что интенсивность работы будет возрастать. У вас будет полоса из трех или четырех картинок, в случае крайней необходимости — пяти, но это нежелательно. Так. Во-первых, вы снимаете напряжение прошедшего дня. Работа над картинкой — игра, которая все время продолжается. Вы накапливаете новую энергию, рисуя вторую картинку, и приумножаете ее в третьей и так далее. Это я вам сказал... Вы работаете хорошо, но теряетесь в деталях и комментариях, мешающих основной линии рисунка. Он должен быть прямолинеен, прост и двигаться к кульминации, климаксу<sup>[42]</sup>, так сказать... Понятно?

— Понятно! — ответил Самуэль Стейн. — Я понимаю! Я попытаюсь!

— Представь те себе человека, который берет в руки газету, — продолжал Фрид. — Он устал, не в настроении, он спешит на работу. Он пропускает заголовки на первой странице и тут замечает комиксы. В самый первый момент он не может понять все нюансы, этого от него требовать нельзя. Но его любопытство нуждается в небольшой разрядке, ему хочется посмеяться над чем-то веселым, это естественно, не правда ли?! О'кей. Все это он получит! Мы это ему дадим! Это важно! Вы понимаете, что я имею в виду?

— Да, — ответил Стейн, — я, пожалуй, все время это понимал. Дело в том, что нужно рисовать так быстро. Я боюсь не успеть сделать сразу все, как надо!

— Все будет хорошо, все получится! — обещал ему Фрид. — Относитесь к работе спокойно! Могу вам сказать, между нами конечно, что вы среди лучших. Линия у вас о'кей, и с фоном вы справляетесь. Ну а теперь мне пора посмотреть другие работы!

Комната была очень маленькая — стены бурые, собственно говоря, всего-навсего небольшой закуток, загроможденный битком набитыми полками и шкапами, рабочий стол — большой и тяжелый, старинный, с ящиками до самого пола. Стены сплошь покрыты старыми календарями и объявлениями, афишами и анонсами. Все это производило впечатление жизни, которая давным-давно прошла и где-то затерялась, потому что ни у кого не было времени навести здесь порядок.

Самуэлю Стейну комната нравилась, она внушала ему чувство уверенности в своем деле, когда остаешься один на один с работой. Ему нравилось быть частью большого механизма уважаемой газеты, это внушало уважение...

Комната была очень холодная. Он поднялся, и тут же стало еще холоднее. Все время слышал он отдаленное ровное постукивание печатных станков, а за ними — шум уличного движения. Он мерз. Рядом с дверью висели рабочий халат и куртка, он надел куртку и сунул руки в карманы. В правом кармане Самуэль Стейн обнаружил обрывок бумаги, список; он прочитал его, стоя у окна. «Использовать, — было написано чрезвычайно мелким почерком, — катание на коньках и т. д. шутки с правительством и современным искусством ходил на бал 1 маскарад 2 коктейль гангстер астронавт 3

раза. Любовь женщины-вамп out<sup>[43]</sup> мясной фарш тушь более светлый фон стирка кольцо».

Это писал тот, кто работал здесь раньше. И куртка принадлежала ему. Стейну стало любопытно, и он выдвинул ящик. Там была обычная мешанина: огрызки карандашей, скотч, пустые бутылочки из-под туши, скрепки и прочий хлам. Хотя, быть может, еще хуже обычного, все свалено в кучу, словно в приступе бешенства. Он открыл еще один ящик. Тот был пуст, совершенно пуст. Он оставил в покое другие ящики и собрался вскипятить воду для чая, на полу под окном стояла плитка.

Возможно, эта комната принадлежала Аллингтону. Кажется, он никогда не работал дома, возможно, он просидел здесь двадцать лет, рисуя своего Блуд-бю. Он резко оборвал работу, прямо на половине очередной истории. А уведомить о расторжении договора следует за полгода до увольнения. Сюжет обрывался на пятьдесят третьей полосе. А нормальная длина комикса обычно восемьдесят полос. Стейн спрашивал Фрида, почему Аллингтон не продолжил работу. Нет, этого он сделать не мог. Может, он не хотел, может, забыл?

— Не знаю, — ответил Фрид, — этим занимался другой отдел. Какая вам разница, продолжайте с того рисунка, которым он закончил, и сделайте что-нибудь свое, но лучше всего так, чтобы шов не был заметен. А подпись можно не ставить.

Вода закипела. Стейн снял с плитки ковшик и вытащил штепсель, достал чашку и сахар с полки, на которой их нашел; ложечки не было. Пакетики с чаем он принес с собой.

Шесть дней спустя явился Фрид и сказал, что решение уже принято. Стейн работал в стол, но контракт будет подписан на днях. На семь лет. Руководство очень им довольны, но хочет еще раз напомнить, что работать необходимо много и очень быстро. Фрид выглядел усталым, хотя его мягкое, с неуловимым выражением, лицо улыбалось. Он подошел и пожал руку Самуэлю Стейну, а потом ободряюще и покровительственно коснулся его плеча.

— Это приятно! — обрадовался Стейн. — Это в самом деле приятно! Вы возьмете то, что я сделал, или мне начать снова?

— Нет, конечно нет, у нас нет на это времени. Мы запустим материал, который есть, а вы ускорите темп своей работы так, чтобы обеспечить материал на два месяца вперед.

— Ответьте мне на один вопрос, — попросил Стейн. — Он работал в этой комнате?

— Кто, Аллингтон?

— Да, Аллингтон.

— Ну да, это его комната. Пожалуй, будет хорошо, если вы продолжите начатое им дело в той же самой комнате, не правда ли?

— Здесь множество его вещей. Хотя я не собирался их рассматривать. Он придет их забрать?

— Я позабочусь, чтобы они исчезли, — сказал Фрид. — В общем-то здесь тесно. Я попрошу кого-нибудь все убрать!

Самуэль Стейн спросил:

— Аллингтон умер?

— Нет, нет, конечно нет!

— Тогда, значит, он заболел?

— Милый мой, не беспокойтесь, — ответил Фрид. — Все абсолютно в порядке. А теперь я пожелаю вам счастья в вашей работе.

\* \* \*

Вначале Стейн работал, ни к чему не притрагиваясь в комнате. Его первые рисунки были опубликованы без подписи, и разницы никто не заметил. Вообще за последние три года, что действовал контракт, Аллингтон не ставил свою подпись, и это сыграло на руку. У Самуэля Стейна было время поднажать и выдавать больше картинок в день. Он работал все лучше и лучше. Он учился делать сразу полдюжины рисунков в карандаше и покрывать их тушью, начиная с совершенно черных поверхностей. Войдя в работу целиком, он дорисовывал детали, а к полудню, обретя уверенность в руке, выводил сложные линии и самые красивые части картинки, которые приходилось писать быстро и *nonchalant*<sup>[44]</sup>. Затем он начинал новый разбег. Он постепенно успевал все быстрее и быстрее.

В редакции его поздравили, когда первая полоса вышла из печати безо всякой реакции со стороны общественности. В тот день он был удручен, но это прошло, и он с чувством спокойной радости продолжал рисовать хорошие картинки, за что аккуратно получал свою плату. Пришло ощущение надежности. Не надо было бегать



вокруг со своими иллюстрациями и обсуждать их с начинающими заносчивыми писателями, совершать три-четыре поездки ради каждой благословенной книжной обложки; принимать заказ, встречаться с автором, сдавать работу и ждать, ходить за гонораром, а иногда не один раз мчаться в типографию проверять, соответствуют ли цвета оригиналу. Сейчас все шло как по маслу. Ему не надо было даже сдавать работу, он оставлял рисунки, сделанные за день, на своем столе, и кто-то их вечером забирал. Заработную плату он получал каждую неделю в кассе. Фрида он больше не видел, разве что иногда встречал на лестнице.

— Вы никогда не приходите взглянуть, — говорил Стейн.

— Незачем, мой мальчик, — шутливо отвечал Фрид. — Ты замечательно справляешься. Но берегись, если застрянешь на месте или начнешь отклоняться от темы. Тогда я тут как тут!

— Боже меня сохрани! — смеясь отвечал Стейн.

Он раздобыл себе обогреватель, и газета оплатила расходы. Им теперь они дорожили, и для этого были все основания. Блуб-бю печатали почти в сорока странах.

Иногда Стейн отправлялся на улицу, где на углу продавались газеты, и выпивал там стаканчик. Ему нравились темные неряшливые бары, переполненные людьми, работавшими в той же сфере, что и он, и говорившими о своей работе. Он выпивал стаканчик и снова шел в газету.

Встречал он и других художников, иллюстрировавших комиксы. Они были дружелюбны и обращались с ним как с новичком, как с мальчиком, что еще не принят в их узкий круг, но подает большие надежды. Они не были снисходительны, скорее — мягкосердечны. Напитки здесь друг другу не предлагали и расходились, лишь повисев недолго над стойкой со своим стаканчиком.

Среди них был один, которым он восхищался, — великолепный художник по фамилии Картер. Картер рисовал прямо без карандаша, он делал ужастики в натуралистическом стиле. Это был тяжелый, очень некрасивый человек с рыжими волосами. Он двигался медленно, никогда не улыбался, но, казалось, забавлялся тем, что происходит вокруг него.

— Скажи-ка мне, — однажды произнес он, — ты один из тех, кому мешало заниматься Высоким Искусством то, что он рисует

комиксы?

— Нет! — ответил Стейн. — Вообще-то нет!

— Это хорошо! — обрадовался Картер. — Они невыносимы! Они ни то ни другое, не поймешь, что им надо.

— Ты знал Аллингтона? — спросил Стейн.

— Не очень хорошо.

— Он был из тех, я имею в виду — из невыносимых?

— Нет!

— Но почему он завязал с этим?

— Он устал, — ответил Картер, осушил свой стаканчик и отправился обратно на работу.

Комнату Аллингтона так и забыли убрать, и это было даже хорошо. Стейну нравилось сидеть одному среди накопившейся за много лет кучи забытых вещей, это было как в старой уютной комнате с выцветшими обоями, которые окружают тебя со всех сторон. Мало-помалу он стал открывать ящики, по одному в день. Он обнаружил письма поклонников за последние месяцы, пачки были связаны резинкой: письма, на которые уже был дан ответ, те, что могут подождать, важные письма, письма, на которые еще надо ответить или послать рисунок с Блуб-бю; снова пустой ящик, ящик с рисунками Блуб-бю на глянцева́й бумаге, сложенный вдвое картон, изысканные виньетки и веселые картинки для детей.

Бумага, бумага, вырезки из газет, счета, носки, фотографии детей, квитанции, сигареты, пробки и шнуры и прочий сор умершей жизни, который скапливается у того, кто не в силах больше уделять этому внимание. И ничего, что касалось бы комиксов. Самуэль Стейн не смог найти больше никаких заметок о работе Аллингтона, кроме того списка в правом кармане куртки.

Пока Стейн занимался серией Аллингтона, тот становился для него все более и более реальным: Аллингтон, который не может нащупать идею и стоя смотрит на улицу сквозь серое стекло; Аллингтон, который заваривает чай и роется в своих ящиках, отвечает по телефону, или совершенно забытый среди своих рисунков Аллингтон, знаменитый и усталый... Чувствовал ли он себя одиноким или боялся людей? Работалось ли ему лучше по утрам или позднее, когда в газете все затихало, что он делал, когда чувствовал, что совсем

увяз в работе, или же он продолжал работать без перерыва двадцать лет?

«Мне надо остерегаться, — думал Самуэль Стейн, — мне не следует превращать его в важную фигуру. Если даже Аллингтон двадцать лет и простоял возле печатного станка, никому и в голову не пришло поднимать из-за этого шум. Он был популярен, и ему хорошо платили. То же будет и со мной».

Однажды Картер спросил Стейна, не желает ли он приехать к нему за город на уик-энд. Это был знак особого расположения: Картер был невысокого мнения почти обо всех людях и хотел, чтобы его оставили в покое.

То было ранней весной, и пейзаж казался абсолютно молчаливым. Картер ходил с ним по владениям, демонстрируя своих поросят и кур. Крайне осторожно приподняв камень на лужайке, он показал ему змей, добавив:

— Они еще немного сонные, но позже оживут.

Стейн зачарованно спросил:

— А чем вы их кормите?

— Ничем. Они кормятся сами. Здесь множество лягушек и всякого другого, что они любят.

Стейн слышал, что Картер никогда не отвечал на письма, он их даже не вскрывал. Он не был любопытен ни в малейшей степени, да и совести у него тоже не было.

— Ты не должен так поступать, — сказал Стейн. — Ты знаменит, тобой восхищаются. Дети пишут тебе и ждут ответа.

— Почему? — спросил Картер.

Они сидели перед домом, каждый со своим стаканом. Было очень тепло и тихо.

— Они верят в это, — продолжал Стейн. — Когда я был маленьким, я написал французскому президенту и просил его покончить с Иностраннным легионом.

— Да ну! И он ответил тебе?

— Ну да. Моя мама написала ответ от президента, где говорилось, что они непременно решат эту проблему. Письмо было с почтовыми марками и всем прочим.

— Ты еще очень молод, — возразил Картер. — Лучше с самого начала привыкнуть к тому, что на деле все не так, как ты думаешь, и

что это не так уж и важно.

Он ушел кормить поросят и довольно долго не возвращался. Когда он вернулся, Стейн заговорил об Аллингтоне, который работал двадцать лет, а потом просто сдался, не оставив после себя даже синопсиса.

— Он устал, — сказал Картер.

— Говорил он с тобой об этом?

— Нет. Он почти ничего не сказал. В один прекрасный день он попросту исчез, оставив на столе записку; вообще-то это была наполовину готовая полоса комикса, и прямо на ней он написал: «Я устал». Он так никогда и не пришел за своими деньгами.

— А они не пытались разыскать его?

— Боже мой! — воскликнул Картер. — Вы только послушайте: «Они никогда не пытались разыскать его». Святой Моисей! Всю полицию подняли на ноги. Все это — сплошная истерия! «Блуб-бю при смерти!» Предприниматели пронюхали об этом деле и забежали как сумасшедшие взад-вперед в редакцию газеты.

— Предприниматели?

— Ты ничего не знаешь, — сказал Картер, зажигая свою трубку. — Те, кто живет за счет Блуб-бю. Ты никогда не видел очаровательного Блуб-бю из пластмассы, из марципана и стеарина? — Он встал и начал медленно ходить по траве, напевая: — Гардины Блуб-бю, маргариты Блуб-бю, куклы, носки и куртки, пеленки и распашонки... Хочешь послушать еще?

— Лучше не надо, — ответил Самуэль Стейн.

— Я могу продолжать хоть целый час. Аллингтон делал все эскизы. Он очень боялся за свою серию, он был педантом, и тут не должно быть ни малейшей ошибки. Понимаешь, он контролировал все до малейшей детали. Текстиль и металл, Блуб-бю из бумаги, резины, из дерева, все, что хочешь... А еще были фильмы о Блуб-бю, неделя Блуб-бю, и детский театр, и журналисты, и всякие ученые труды о Блуб-бю, и благотворительность, и то, что называется мармеладная кампания Блуб-бю... Святой Моисей! Ну ладно! Как бы там ни было, он никогда не мог сказать «нет». А потом он устал.

Стейн ничего не ответил, но вид у него был испуганный.

— Отнесись к этому спокойно, — продолжал Картер. — У тебя ничего общего с этим нет. Ты только рисуешь, а газета заботится об

остальном.

— Но откуда тебе все это известно? — спросил Стейн. — Он ведь ничего не рассказывал.

— У меня острый глаз, — ответил Картер. — И я тоже иллюстрирую комиксы. Но, видишь ли, я могу сказать «нет». И меня ничуть не трогает, если кто-то очернит мою работу. Ты получил много писем?

— Да, — ответил Стейн. — Но они ведь адресованы ему. Фрид сказал мне, чтобы я отнес их в отдел, там есть печать с именем и фамилией Аллингтона, и какие-то люди отвечают на эти письма. Но если я напишу письмо, — сердито продолжал Стейн, — я сделаю это от своего имени, а не от чьего-либо другого.

— Ты жутко боишься за свое имя, а? — усмехнулся Картер.

Больше они об Аллингтоне не говорили; Стейн думал было спросить, неужели он так никогда и не найдется, но внезапная печаль заставила его замолчать.

Позднее они несколько раз встречались в баре, мимоходом.

Самуэль Стейн набросал уже третий синопсис. Он обычно отдавал их Фриду, диалог и предварительные эскизы в карандаше. Через пять-шесть дней они уже возвращались обратно, исправленные, и ложились на его стол. Лучше, но надо ускорить темпы. Вычеркнуть намеки на туалетную бумагу и кладбища! Номера 65–70 слишком много нюансов! Никаких шуток с государством и промышленниками! И так далее.

Сотрудники газеты начали его узнавать, он уже стал своим. А больше всего он нравился Юнсону, с которым имел обыкновение болтать в баре. Юнсон был одним из тех, кто занимался рекламой, иногда, когда у него было время, он отвечал на письма поклонников, адресованные Аллингтону.

— Вот как, Картер! — воскликнул Юнсон. — Я знаю. Его волнуют только его поросята и змеи, да разве что деньги. Он блестящий мастер, рисунки один лучше другого, но он абсолютно лишен всяких амбиций. Да и зачем они ему! Вообще-то он выращивает овощи, а какая-то кузина продает их на рынке.

— Он никогда не отвечает на письма, — сказал Стейн. — Он плюет на них. Послушай-ка! Эти иллюстраторы, рисующие комиксы!

Либо они слишком чувствительны и у них больная совесть, либо тоже плюют на все. Разве я не прав?

— Может, ты прав, а может, и ошибаешься; я не знаю, были они слегка не в себе с самого начала или же стали такими, занимаясь этой чертовой работой. Возьмем еще по одной?

Это было вечером, и они торчали в баре; собственно говоря, было уже слишком поздно, чтобы вернуться домой и сделать что-нибудь путное.

— Эта история с Аллингтоном... — сказал Стейн. — Мне от него не избавиться. Он все время со мной. Что все-таки случилось?

— Он немного спятил, — ответил Юнсон.

— В самом деле, ты так считаешь?

— Ну да, так и есть, пятьдесят на пятьдесят.

Самуэль Стейн перегнулся через прилавок и заглянул в зеркало за рядами бутылок. «У меня усталый вид, — подумал он, — но через какую-нибудь неделю я, возможно, буду воспринимать это иначе. Я могу отправить Блуб-бю в бар. Пожалуй, он побывал там довольно давно. Он заглядывал в бар в комиксах Аллингтона четыре года тому назад, то есть куда дольше, чем обычно помнят люди». Он спросил:

— Знает кто-нибудь, где он? Я хочу с ним встретиться.

— Зачем? Ты прекрасно справляешься.

— Дело не в этом. Я хочу знать, почему не справился он.

— Но ты же знаешь, — дружелюбно сказал Юнсон. — Ты это понял. С ним произошло то же самое, что с музыкантами, которые бьют в барабан в джаз-банде, а потом раз — и всё через столько-то и столько-то долгих лет. Ну как, пропустим еще стаканчик?

— Нет, — ответил Стейн, — не стоит. Вечером я собирался немного постирать.

\* \* \*

На следующее утро Самуэль Стейн зашел в закуток за кабинетом Аллингтона и начал стаскивать вниз с полок бумаги, пачки писем, мешки и коробки, а затем выстроил их в ряд на полу, чтобы остался проход. Четыре коробки и чемодан писем от поклонников, на трех из них было написано: «Ответ послан», на одной: «Послал сувениры», а

на чемодане: «Жалобы и предложения». На маленькой коробке Аллингтон написал: «Письма с благодарностью», а на другой — «Анонимные». Образцы товаров. Блуждающие из всевозможных материалов и во всевозможных упаковках, у всех — голубые глаза навывкате, с большими черными зрачками. Перечеркнутые синопсисы, все, кроме одного, что-то вроде дикого вестерна, с замечанием: «Не использован».

Самуэль Стейн расправил рукопись Аллингтона и положил ее на свой стол. Может, удастся ее использовать. На следующей коробке значилось: «Не рассортировано», она лопнула, когда он ее вытащил, и целое море бумаг хлынуло на пол. «Бедняга, — думал Стейн, — как он, должно быть, ненавидел бумаги!» Сообщения, запросы, требования, уговоры, мольбы, обвинения, объяснения в любви... Там была книжка с адресами, аккуратно записанные имена, а в скобках имя жены или мужа возле нужной фамилии, имена детей, собаки или кошки... Возможно, эта своеобразная учтивость несколько обличала дело, и он быстрее справлялся с письмом.

Внезапно Стейну расхотелось искать еще что-нибудь. Единственное, что ему хотелось, это попытаться увидеть Аллингтона, ему необходимо было понять... У него самого был контракт на семь лет, и надо было успокоиться или испугаться, все что угодно, но только — знать.

Назавтра Стейн попытался найти адрес Аллингтона, но никто не мог ему помочь.

— Мой дорогой мальчик, — ответил ему Фрид, — ты только теряешь время. У Аллингтона никакого адреса нет. Его квартира так и стоит нетронутой, и он туда не возвращался.

— Ну а полицейские? — спросил Стейн. — Они искали его? Скверно они поработали. Здесь у меня его книжка с адресами. Тысяча имен или больше! Видели они ее?

— Ясное дело, видели. Они звонили кому-то, но никто ничего не знал. Чего ты хочешь от него?

— Я и сам точно не знаю. Хочу поговорить с ним.

— Сожалею, — сказал Фрид, — но у нас свои заботы. Он подвел нас, но мы выкрутились. И хватит думать об этом.

В тот же вечер наверху у Стейна появился мальчик-лет шести-семи, Стейн уже отложил работу и собирался уходить.

— Трудно было тебя найти, — сказал ребенок. — Я принес подарок.

Это был большой пакет, перевязанный веревкой. Когда Стейн открыл его, он нашел внутри еще один пакет, накрепко заклеенный скотчем. Ребенок молча стоял, пока Стейн снимал бумагу и разрезал шнур и скотч, когда же он добрался еще до одного пакета, тот оказался замотан пластиковой лентой.

— Это становится все более и более интересным! — воскликнул Стейн. — Все равно что искать клад!

Мальчик был серьезен и молчалив. Пакет становился все меньше и меньше, но каждую обертку было все так же трудно снять. Самуэль Стейн разнервничался: он не привык разговаривать с детьми, и ему было мучительно изображать из себя Аллингтона. Наконец он добрался до конца и, открыв пакет, обнаружил Блуб-бю в форме астронавта из серебристой бумаги и разразился восхищенными комментариями, совершенно явно преувеличенными. Лицо ребенка не изменилось.

— Но как тебя зовут? — спросил Стейн и тотчас понял, что вопрос был ошибкой, дьявольской ошибкой.

Мальчик продолжал молчать. Потом враждебно спросил:

— Где ты был?

— Я был в поездке, — наобум ответил Стейн, — поездка получилась долгой, за границу.

Ответ прозвучал идиотски. Ребенок взглянул на него очень быстро и снова отвернулся.

— Ты часто рисуешь? — спросил Стейн.

— Нет.

Это было ужасно, он был абсолютно беспомощен, его взгляд блуждал по захлавленной комнате, он искал подсказку, искал, что сказать ребенку, восхищавшемуся Аллингтоном. Он взял рисунок, лежавший на столе, — Дикий Запад — и сказал:

— Он еще не готов. Не знаю, как продолжать. Подойди, посмотри немного.

Ребенок подошел ближе.



— Понимаешь, — с внезапным облегчением сказал Стейн, — Блуб-бю находится на Диком Западе. Мошенники пытаются захватить его родник, это единственное место, где есть вода, они нашли адвоката, и адвокат составил коварный план, по которому родник принадлежит вовсе не Блуб-бю, а государству.

— Застрели его! — спокойно сказал мальчик.

— Да, возможно, ты и прав. Сделать это в баре или на улице?

— Нет! Это слишком обыкновенно. Пусть они скачут верхом — один за другим, и адвокат выстрелит первым.

— Хорошо, — согласился Стейн, — важно, чтобы он выстрелил первым, тогда получится, что он уже использовал свой шанс. О'кей, пусть он умрет.

Ребенок посмотрел на него и в конце концов спросил:

— Когда ты опять придешь? Я сделал для тебя алтарь, с картинками.

— Здорово, — ответил Стейн. — Может, чуть позднее, как раз сейчас очень много работы. Ты когда-нибудь рисовал тушью?

— Нет.

— Попробуй. Напиши свой адрес и рядом мой.

— Но ты их знаешь, — ответил мальчик.

— Да, но все равно напиши. С именем и всем прочим.

Мальчик написал, медленно и красиво.

Когда он ушел, Стейн снова занес в чулан вещи Аллингтона — это было обиталище смерти, до которого ему нет дела. Но теперь у него был адрес живого Аллингтона.

\* \* \*

Аллингтон жил в пригороде, в гостинице. Был он средних лет, совершенно обычный человек, один из тех, кто не привлекает внимания в транспорте. Одет во что-то серо-бурое. Стейн представился, объяснив, что он — его преемник в газете.

— Войдите, — пригласил Аллингтон. — Мы можем выпить по стаканчику.

Комната была убрана и выглядела пустой.

— Как дела? — спросил Аллингтон.

— Вполне прилично. Придумываю уже четвертый сюжет.

— А как поживает Фрид?

— Спина, понятное дело... а в остальном как всегда.

— Странно, — сказал Аллингтон, — все это казалось так важно.

На сколько лет у вас контракт?

— На семь.

— Это в меру. И они, пожалуй, не посмеют слишком многого требовать, раз серия тянется так долго. Люди хотят получать новое постепенно.

Аллингтон вышел на кухню за напитками, а вернувшись, спросил, как Стейн нашел его адрес.

— Мне дал его мальчик, Билл Гарвей. Он поднялся наверх с рисунком для вас. Вообще-то я его прихватил.

Аллингтон взглянул на Блуб-бю в форме астронавта и сказал:

— Знаю, он был из тех, кому труднее всего отвечать. То и дело писал. Поверил он вам?

— Не знаю. Я не очень хорошо справился.

— Почта приходит к вам или к Юнсону?

— К Юнсону.

— Это лучше!

— Одно плохо, — сказал Самуэль Стейн, — немного жутко — быть не самим собой. Я к этому не привык.

— Понимаю, — ответил Аллингтон. — Стоит войти во вкус, и тогда все уже кажется обыденным и обязательным, как обязательный экземпляр книги, который сдают в библиотеку. Выплываешь из себя все быстрее и быстрее, а они принимают. Уже предвидишь их реакцию и соглашаешься с их бездонным тупоумием. Одна и та же тема все снова и снова. С глупыми вариациями.

— Но все-таки, — осторожно произнес Стейн, — дело тут в ответственности, разве не так? Ведь все эти люди открывают свою газету и читают комиксы, и так или иначе это на них влияет. Возможно, они об этом не знают, но не могут от этого отказаться... Научите их чему-нибудь. Или утешьте. Или испугайте их, заставьте задуматься. Вы понимаете, что я имею в виду?

— Я знаю, — ответил Аллингтон, — именно этим я и занимался.

На некоторое время наступило молчание.

— Мы так и не нашли ваш последний синопсис, — сказал Стейн. — Он исчез?

— Возможно.

— Но я нашел один, с Диким Западом. Думаю продолжить эту тему. Жалко бросать его.

— Будет обычная история?

— Примерно. Всего шестьдесят полос. Быть может, немного больше.

— Да, да! — согласился Аллингтон. — Думаю, кое-что вы отвергли. Дикий Запад можно брать только раз в году. Но пусть печатается с продолжением. Это не важно. Где вы работаете?

— В вашем кабинете.

— Там по-прежнему холодно?

— Мне поставили обогреватель.

Помолчав немного, Стейн спросил, что ему делать со всеми вещами в чулане и в письменном столе.

— Скажите кому-нибудь, чтобы вынесли все во двор.

— Но я не могу, — ответил Самуэль Стейн, — ведь это целая жизнь, а ее просто так во двор не выносят.

Аллингтон захохотал, и лицо его вдруг стало очень привлекательным.

— Стейн, это не целая жизнь. Это маленькая часть жизни. Видишь — я еще жив! — сказал он, переходя на «ты». — Что тебя мучает? То, что я покончил с работой и сбежал от всего? У тебя контракт всего на семь лет, пожалуй, ты как-нибудь справишься. Ты не повесишься. — Наполнив стаканы, он продолжил: — Один это сделан. Вилла возле Ривьеры<sup>[45]</sup>, и увеселительная яхта, и все прочее, а он идет и вешается. Возможно, это не так уж и странно, но я написал письмо другим художникам, рисующим комиксы, и предупредил, чтобы они не заключали долгосрочные контракты. Письмо в газете, у них в музее. Положить тебе лед?

— Нет, спасибо, — ответил Стейн. — Я выпью так. А что делать с этим мальчиком? С Биллом.

— Ничего! Он станет старше и увлечется чем-нибудь другим. Поверь мне!

— Что ты скажешь... — произнес Стейн. — Я заглянул в твои ящики.

— И что ты подумал?

Стейн заколебался, но потом сказал:

— Что ты очень устал.

Аялингтон поднялся и подошел к окну. Темнело. Он сделал было движение, желая опустить занавеси, но потом оставил все как есть. Он стоял, глядя на улицу.

— Пожалуй, мне пора, — произнес Стейн. — Хочу вернуться и немного поработать.

— Это были их глаза, — не оборачиваясь, сказал Аллингтон. — Их серийные глаза, глаза из комиксов. Все время одни и те же идиотские круглые глаза. Удивление, ужас, восхищение и так далее, ведь стоит только передвинуть зрачки, одну или другую бровь — и прослывешь искусным художником. Подумать только, как много можно получить столь малыми средствами! А ведь на самом деле они выглядят точно так же. Но необходимо было все время делать что-то новое. Все время! Ты знаешь это? Ты научился этому? Так ведь?

Его голос был так же негромок, как прежде, но звучал будто бы он говорил стиснув зубы. Он продолжал, не ожидая ответа:

— Новое! Все время новое. Начинаешь искать идею. Среди знакомых или друзей. Сам ты опустошен и забираешь все, что есть у них, и используешь это, и выжимаешь из этого что можешь и что они рассказывают тебе. И думаешь только о том, можно ли это использовать...

Аллингтон обернулся и в наступившей внезапно тишине уставился на Стейна. Кубики льда задребезжали в стакане, его рука начала дрожать. Он медленно продолжал:

— Ты понимаешь, понимаешь, у нас нет ни сил, ни времени, мы должны торопиться.

Самуэль Стейн поднялся со стула.

— Каждый день, — продолжал Аллингтон, — каждую неделю и месяц, каждый год и Новый год, а им никогда нет конца... и те же самые существа с теми же самыми зрачками маячат вокруг и никогда не перестанут маячить перед тобой...

Лицо Аллингтона изменилось, набрякло, и мышца задергалась возле рта. Стейн опустил глаза.

— Прости меня, — сказал Джон Аллингтон. — Я не хотел. В общем-то все идет хорошо, в самом деле, работа идет все лучше и

лучше. Последнее время я отлично справлялся, они говорят, что я стал гораздо лучше работать. Садись. Посидим немного. Ты любишь сумерки?

— Нет, — ответил Стейн, — нет. Я не люблю их. — Встречаешь ли ты иногда Юнсона?

— Да, иногда, в баре. Он приятный.

— Собирает почтовые марки. Но только с морскими мотивами — лодками и кораблями. Я слышал об одном человеке, который собирал марки с музыкальными инструментами. С коллекционерами весело. Я мог бы заниматься мхами. Ну, ты знаешь, мох... Но тогда ведь надо жить за городом.

— Чтобы мху вырасти, требуется много времени, — сказал Стейн. — И нужно жить за городом. Да и птицы, говорят, уничтожают все, если год выдастся неурожайный...

Он смолк. Ему хотелось уйти, этот визит опечалил его.

Аллингтон сидел, играя карандашом, он катал его по столу туда-сюда, туда-сюда.

«Он так красиво рисовал, — думал Стейн. — Ни у кого не было таких красивых линий. Таких легких и чистых, похоже, ему было весело выводить их».

Вдруг Аллингтон спросил:

— Как ты успеваешь рисовать?

— Как я успеваю? Ну, у меня идет как идет! Рисуюсь себе, и все!

— Знаешь, я тут подумал, — сказал Аллингтон, — мне только пришло в голову, — если тебе не будет хватать времени, для тебя я мог бы, пожалуй, сделать несколько набросков. Когда-нибудь, если захочешь...

## White Lady<sup>[46]</sup>{26}

Им было, наверно, лет по шестьдесят, и они явно принарядились для этого случая. Все трое были возбуждены, и водитель катера даже подумал, что его пассажирки выпили по рюмочке перед уходом из дома. Пока он их вез, они без умолку болтали, называли его капитаном, а у причала, сходя на берег, шумно притворялись, что боятся упасть в воду.

Ресторан находился на островке в гавани — диковинный деревянный павильон с островерхой башенкой, окна — высокие, с вычурными наличниками. Сейчас, в сумерках, это бледно-серое здание казалось очень красивым и навевало грусть. Элинор сказала, что оно похоже на забытую мечту, затерявшуюся среди деревьев. Или на свадебный торт на слишком маленьком блюде. Элинор любила сравнения.

— Так оно и есть! — воскликнула Май. — Именно на торт! На миндальный торт с башенкой. Правда?

— Господи, как тут красиво! — вздохнула Регина. — Вы только взгляните на все эти катера.

Они остановились на лужайке — Май, Элинор и Регина. Трава была мокрая. В вечернем тумане мягко и расплывчато светились огни гавани, и на фоне этих дрожащих огней скользили суда — все они шли к морю.

— Шхуны, галеасы, парусники, — сказала Элинор. — Паруса как лебединые крылья.

Показался теплоход, идущий в Стокгольм, — большой, белоснежный, украшенный гирляндами огней, медленно-медленно скользил этот прекрасный веселый корабль, окруженный другими судами, и каждому из них приходилось отклоняться от курса, чтобы обогнуть островок, где стояли три женщины.

— Идемте внутрь, уже холодно, — сказала Регина.

Сезон заканчивался, в ресторане было пусто. Они поговорили о том, случалось ли кому-нибудь из них бывать здесь раньше, и только Май припомнила, что один раз приходила в этот ресторан с отцом, который был членом яхт-клуба и имел на причале постоянное место

для своей лодки. Лестница была широкая, а потолок — очень высокий, совсем как в церкви. Там, в вышине, под самой башней, образуя причудливую сеть, перекрещивались стропила. Вечер был теплый, окна длинной веранды были открыты, и над пустыми столиками плыли клубы тумана.

— У меня такое чувство, будто все это я уже видела в кино, — сказала Регина. — Большой дворец с пустыми комнатами и люди, не знающие, чего хотят.

— Это «Мариенбад», — сказала Элинор. — Замечательный фильм. Только почему ты говоришь шепотом?

Они расположились в дальнем конце веранды, подошел официант, и, пока они делали заказ, к ним вернулось хорошее настроение: им хотелось вкусно поужинать и выпить, и они выбрали для этой цели новое незнакомое место — ресторан на острове, открытый в самом начале века; когда они были детьми, этот дом уже был старым.

— Как прекрасно, когда все впереди, — сказала Регина. — Я закажу коктейль «White Lady». У меня белое платье, поэтому я хочу «White Lady».

— Он очень крепкий? — спросила Май. — Я тоже хочу «White Lady».

Регина позвала официанта и сказала, что она передумала: ей хочется бифштекс с перцем. И к нему слегка подогретое вино.

— Вы обратили внимание, — спросила Май, — что официант очень молод? В таком ресторане официанты должны быть пожилые. А этот молодой, быстрый и послушный.

— Я хочу есть, — сказала Элинор. — Мне всегда хочется есть. Но я не решаюсь заказывать то, что хочу. Стала толстеть. Сейчас, например, после нашего морского путешествия, я просто умираю от голода. — Они посмеялись над ней, и она вдруг расчувствовалась: — Этот человек, который привез нас сюда... Опытнейший капитан дальнего плавания. И вдруг оказался не у дел. Он сам мне сказал. Ужасно, правда?

— Используй это в какой-нибудь своей книге, — предложила Май.

Она достала пудреницу, быстро провела пуховкой по своему маленькому озабоченному личику, взбила волосы и поставила сумку

на пол рядом со стулом.

— Ты вовсе не толстая. И ты не меняешься.

— Как Юнона, — заметила Регина. — Знаете, один раз в Венеции я пила «White Lady», вернее, под Венецией, в игорном доме, не помню, как он назывался. Это был мой первый коктейль. Ваше здоровье, девочки! Так вот, в этот игорный дом меня не хотели пускать без провожатого, потому что я была слишком молоденькая. Тогда подошел некий директор банка из Фиуме...

— Откуда?

— Из Фиуме. Директор банка из Фиуме. Я была такая юная и хорошенькая, что он пригласил меня и попросил поставить в рулетку сколько захочу, потому что новички всегда выигрывают. Так он сказал. Вечер был туманный. Совсем как сегодня.

— А вот и наш заказ! — воскликнула Май. — Девочки! Девочки! У нас будет настоящий пир!

Официант улыбнулся и спросил, кто из них попробует вино.

— Я самая старшая, — заявила Элинор. — Я на несколько недель старше вас обеих. Я — The Grand Old Lady<sup>[47]</sup>. — Она сделала плоток и улыбнулась официанту. — Прекрасно. Подогрето как раз в меру. За что будем пить?

— За тебя! — воскликнула Регина. — За твои книги для молодежи!

— Спасибо. Очень мило с вашей стороны. Хотя не знаю, читает ли их теперь хоть кто-нибудь. Вы чувствуете, как пахнет ночь?

Регина сказала:

— У тебя всегда очень возвышенные мысли. Но здесь пахнет городом. Канализацией. В Венеции тоже пахло канализацией, но как там было прекрасно!..

Май предложила поменяться местами. Пусть Элинор сядет напротив окна. Там теплоходы и вообще...

— Может, это подскажет тебе какую-нибудь новую идею, — сказала Май.

Но Элинор не видела в этом необходимости. Потом они заговорили о своем общем друге графе. Что-то он давно не звонил. Когда он звонил в последний раз?

— Не помню, кажется, весной. Он всегда очень занят, у него нет времени.



— Кстати, о времени, — сказала Регина. — Тот директор банка из Фиуме сказал мне, что единственное, чего ему теперь не хватает, так это времени. Все остальное у него есть — деньги и все что угодно, — все, кроме времени. Я не стала играть в рулетку, мне это казалось таким ужасным, и мы пошли в бар. «Дитя, — сказал он, — прекрасное юное дитя. Заказывайте все, что хотите. Зеленое, белое, красное, желтое». Так и сказал. «У меня есть все, но у меня больной желудок».

— Да, я знаю, — сказала Элинон.

— У тебя тоже больной желудок?

— Нет. Просто ты уже рассказывала об этом.

— Тебе, но не мне! — вмешалась Май. — И что же ты заказала?

— Белое. «White Lady». Мне очень понравилось это название. На краю бокала был кусочек льда. Он так и стоит у меня перед глазами.

— Что же все-таки с графом? — спросила Элинон. — Он звонил кому-нибудь из вас?

— Never<sup>[48]</sup>, — ответила Регина. — Он нас забыл. Он слишком знаменит. Мы с ним танцевали один, нет, два раза. Между прочим, почему здесь нет музыки?

— Музыка все время играла, ты просто не слышала, — сказала Элинон. — Магнитофон, такая медленная музыка для пожилых. Та-та-та-та-та-та. Как в «Мариенбаде».

— И сигнальные сирены, как всегда в туман, — сказала Май.

Они прислушались.

— Точно, — сказала Регина. — Это сигнальные сирены. Воют и воют. Элинон, скажи, как они воют?

— Как старые усталые животные, — сказала Элинон. — У них уже не осталось сил даже для страха. Какую оценку я получу?

— Высший балл! — воскликнула Май. — У них уже не осталось сил даже для страха! Они могут только выть!

Регина встала — ей было нужно в туалет. Проходя мимо бара, она спросила, нет ли у них музыки, какую любит молодежь.

— Чтобы мы не чувствовали себя такими старыми, — прибавила она и засмеялась.

Официант ответил, что у них, конечно, есть молодежная музыка, только он опасается, как бы от этой музыки она не почувствовала себя еще более старой. Спускаясь в туалет, Регина размышляла, не было ли

это дерзостью со стороны официанта, даже фамильярностью, и что в таком случае ей следовало ответить ему. Впрочем, отвечать было уже поздно. Туалет был просторный и прохладный, на окнах связанные узлом тюлевые занавески, уютные кресла, обитые пестрым глянцевым ситцем, на каждой кабине выцветшие монограммы. На крючке висел забытый кем-то красный кожаный пояс. Здесь, внизу, гудки теплоходов были слышнее. Регине стало грустно. Она смотрела на свое лицо, освещенное неоновым светом, из-за которого черты казались резкими и некрасивыми, и думала, что оно стало каким-то тяжелым. С годами лицо почему-то вытянулось, и нос тоже.

Поднявшись в зал, она сказала подругам:

— Все-таки я не понимаю, почему он не звонит.

— Он очень редко бывает в городе, — ответила Элинора. — А можно ли здесь потанцевать?

— Кстати, о танцах, — сказала Регина. — В тот раз, в игорном доме. Там никто не танцевал. Царила атмосфера страха, напряженности. Понимаете? Игроки, которые делали большие ставки — а суммы были огромные, — сидели отгороженные шнуром. Четыре человека, отгороженные от всех остальных, чтобы им никто не мешал. Было очень тихо, никто не смел даже слова вымолвить.

— Как интересно, — сказала Май. — Ты бывала там после этого?

— Нет. Один раз хотела, но не получилось.

В другом конце веранды появилась группка молодежи.

— Как птичья стая, — заметила Элинора. — Летела, летела и случайно залетела сюда.

Музыка вдруг резко изменилась. За окном стало совсем темно, огни гавани казались теперь более яркими и далекими. Словно остров вместе с рестораном скользнул в море и поплыл вдаль.

— Мне так хорошо, — сказала Май. — Забот как не бывало. Мы, кажется, пьем уже вторую бутылку?

— Да, — сказала Элинора.

Молодежь не танцевала. Зачем им, они могли позволить себе на этот раз обойтись без танцев. Куда бы они ни пришли, они все равно были полны музыки. Сейчас они тихо беседовали между собой.

— Не выпить ли нам «Irish Coffee»<sup>[49]</sup>? — спросила Регина. — For the fun of it<sup>[50]</sup>. Хочется чего-нибудь необычного. Раз уж мы здесь втроем. — Она положила руки на стол и начала подпевать музыке: —

Тари-ра-тари-ра-та-ра. Прекрасные ритмы, правда? Почему они не танцуют? Здесь не хватает графа!

— С его стороны это была просто любезность, — сказала Элинор.

— Как ты думаешь, кто-нибудь из них знает, что ты писательница? Можно с ними побеседовать. Гарсон! Чао! Три «Irish Coffee». В это время года у вас почти не бывает посетителей, правда?

— Да, немного, — согласился официант. — Скоро мы закрываемся.

— Наверно, вам тут одиноко? — спросила Регина. — Я имею в виду — без посетителей. Залы пустые, и повсюду только стулья.

Май сказала, что вообще-то она думала, сливки в «Irish Coffee» будут взбитые. Несколько юношей и девушек пошли танцевать, они танцевали как бы в задумчивости, каждый сам по себе. Регина сказала, что ей нужно выйти в туалет.

— Но ведь ты только что там была.

— Мне хочется тут осмотреться. Мы не часто бываем в таких ресторанах.

Она подошла к молодым людям, сидевшим у бара.

— Здравствуйте, — сказала она. — Веселитесь? Какая чудная музыка, правда?

— Музыка хорошая, — согласился один из парней. Она держала в руке бокал «White Lady»; проходя мимо молодых людей, она приветственно подняла бокал и засмеялась — легкий взмах руки, обезоруживающий прощальный жест.

— Они очень симпатичные, — сказала она, вернувшись к своему столику. — Милые и воспитанные. Надо бы их чем-нибудь угостить. Меня всегда угощали, когда я была молодая.

Май сказала, что сливки не взбили, а только слегка поболтали, это не настоящий «Irish Coffee». Теперь музыка звучала назойливей, она упрямо проникала в сознание, твердя без конца одно и то же. Элинор сравнила ее с ударами пульса.

— Да, только это пульс не вполне здорового человека, — заметила Май. — У этого человека сердце не в порядке. — Она собралась в туалет, чтобы навести красоту.

— Пей свой «Irish Coffee», пока он горячий, — сказала Регина. — А прихорашиваться тебе бесполезно — что тут, что там.

— Я не люблю горячий. Ты как мама. Мне хочется холодного и прозрачного.

Регина сказала:

— Зеленый, белый, красный, желтый! Выбирай любой! — Она засмеялась и откинулась на стуле.

— Регина, — сказала Элино́р, — ты совсем пьяная.

— Этого я от тебя не ожидала, — медленно проговорила Регина. — Правда не ожидала. Ты всегда такая деликатная.

— Девочки, девочки! — воскликнула Май. — Не надо ссориться! Кто из вас пойдет со мной в туалет?

— Опять в туалет, — проворчала Элино́р. — Что вам там все время нужно? Это как в первых звуковых фильмах, в которых герои все время бегают, — и фильм плохой, и режиссер никудышный. Можете идти. А я буду смотреть, как под потолком клубится туман.

По пути к лестнице Регина и Май остановились у бара.

— Чао! — сказал официант и хихикнул. — Что желаете? «Irish Coffee»?

— Ни в коем случае, — сказала Май, тщательно выговаривая слова. — Рюмку коньяку, пожалуйста.

Музыка смолкла. За окном царила тьма, непроницаемая осенняя темень. Они стояли спиной к бару. Регина подняла рюмку и крикнула:

— За здоровье нашей молодежи! За здоровье всех присутствующих!

Молодые люди выпили вместе с ней. Один из парней подошел к стойке. Он посмотрел на Май и спросил:

— Та дама — писательница, верно?

Официант снова включил магнитофон, музыка взорвалась, разговаривать было невозможно, они только улыбались друг другу. Подошла Элино́р, она крикнула, стараясь перекрыть музыку:

— Куда вы пропали? Что вы тут делаете?

Регина наклонилась к молодому человеку:

— А вот и сама писательница. Ее зовут Элино́р. Теперь, кажется, все говорят друг другу «ты», верно? Еще коньяку, пожалуйста. Тебе тоже надо выпить. Как замечательно, правда? Просто сказочно! Вы все так хорошо танцуете. Мне очень нравится ваша новая манера танцевать, так и нужно. Каждый двигается сам по себе. Вот так...

Официант засмеялся. Молодой человек отставил рюмку и поклонился Регине.

— There we go!<sup>[51]</sup> — игриво воскликнула она.

Май и Элинон некоторое время смотрели на танцующих.

— Она переигрывает. Зачем она так раскачивается? И вообще. Элинон, мне нехорошо.

Они спустились в туалет.

— Как странно, — сказала Элинон. — Я пишу для молодежи, а они об этом даже не знают. А я ничего не знаю о них. Странно, правда?

Май села на одно из обитых ситцем кресел.

— Который час? — спросила она. — Но ведь ты теперь больше не пишешь.

— Не знаю, у меня часы остановились.

— Я восхищаюсь тобой, но все же... Слушай, я не смогу ехать обратно на катере. Мне нехорошо. Это все из-за сливок. — Помолчав, она добавила: — Ненавижу «Irish Coffee»! У тебя нет аспирина?

— Нет, он у меня в другой сумке.

В туалет вошла девушка и посмотрелась в зеркало. Элинон спросила, нет ли у нее аспирина.

— К сожалению, нет, — ответила девушка и взглянула на Май. — Что-нибудь с сердцем?

— При чем тут сердце? — вспыхнула Май. — Сердце у меня совершенно здоровое. И вообще мне уже лучше.

Она зашла в кабинку и захлопнула дверцу.

На лестнице она сказала:

— Почему сердце? По-моему, аспирин принимают при головной боли.

— Не сердись, — успокоила ее Элинон. — Просто там такое освещение.

Регина сидела за столиком молодежи, она махнула рукой Май и Элинон и крикнула:

— Эй! Идите к нам! Представляете, бабушка Петера и мой папа были знакомы! Воистину мир тесен! Это Элинон, она писательница, а это — Май. — Молодые люди встали и поклонились, кто-то придвинул к столу еще два стула. — Now, — сказала Регина, — let's go

in for gin<sup>[52]</sup>! Элинор!.. Почему ты такая мрачная? Это мой друг Эрик, он только что стал студентом. Что ты будешь изучать?

— Humaniora.

— Правильно. Humaniora. Гуманитарные науки. Господи, как приятно видеть вокруг только красивые и приветливые лица!

— Ты слишком много болтаешь, — заметила Элинор.

Официант усилил звук.

— Какие красивые лица! — воскликнула Регина. — Такие красивые лица я видела только в Венеции!

Молодежь, как по сигналу, поднялась танцевать. Оглушительно стучал барабан, мелодии не было. Молодые люди танцевали серьезно, отрешенно, двигаясь с изысканной сдержанностью.

— Это как ритуал, — заметила Элинор.

— Что ты сказала? — переспросила Регина. — Я ничего не слышу, тут очень шумно!

— Ритуал! — сказала Элинор. — Они такие серьезные. Жрецы и жрицы в храме Эроса! Ты меня слышишь? Я ничего не понимаю в книгах о молодежи! Я хочу расплатиться и уехать домой!

— О чем вы говорите? — спросила Май. — Мне опять нехорошо.

Но ее никто не слышал. Регина заявила, что еще не хочет домой, у нее только что наладился контакт с молодежью, она должна с ними поделиться.

— Чем ты собираешься с ними делиться? — крикнула усталая Элинор в ухо Регине.

— Опытом! Они меня слушают! — ответила Регина.

— Я убью этого официанта с его ухмылкой, — сказала Элинор. — Дайте нам счет. И не думайте, что мы такие уж безобидные.

Официант наклонился над ними так низко, что невозможно было рассмотреть его лицо.

— У нас нет времени, — сказала Элинор. — Нам некогда.

— Я плачу за себя! — крикнула Май. — Один за всех, все за одного...

В большом зале и в другом конце длинной веранды уже погасили свет.

Проворные руки ставили стулья один на другой, все ближе, ближе, теперь, когда стемнело, туман, вползающий в залу, стал еще

заметнее.

— Как эффектно! — сказала Элино́р.

Счет принесли через минуту. Когда они поднялись, музыка резко оборвалась, молодые люди, остановившись, смотрели на них, несколько мгновений царил глубокая тишина.

— Спасибо за вечер, — сказала Регина. — Было просто замечательно. — Она вдруг смутилась. — Самое главное — иметь контакт. — Она говорила медленно, тихо, с достоинством. — Я уверена, что моей подруге Элино́р будет о чем подумать, ваше внимание к нам произвело на меня, на всех нас очень большое впечатление. Мы желаем вам счастья и долгой-долгой жизни.

Молодой человек, которого звали Петер, быстрым шагом подошел к Регине и поцеловал ей руку. Пока они спускались по лестнице, магнитофон молчал, и только когда они: шли уже по лужайке, музыка снова зазвучала с необузданной жизнерадостностью, но уже вдалеке.

Регина шла и плакала.

— Как было хорошо, — сказала она. — Правда? Совсем как в Венеции. Знаете, что он сказал мне в тот вечер? Он проводил меня до гостиницы — маленького невзрачного заведения, которое мне казалось великолепным. У него все время болел желудок, и вдруг он сказал: «Вы так прекрасны! Если бы я был лет на тридцать моложе, наш вечер закончился бы иначе». Жалко, правда? У него на самом деле был больной желудок. А утром он прислал мне розы, огромный букет роз. Это были первые цветы в моей жизни.

— Я понимаю, — сказала Элино́р. — А теперь возьми себя в руки. Катер уже подходит.

— Смотрите! — воскликнула Май. — Вот он! Словно Харон на своей лодке! Ведь ты любишь сравнения, Элино́р!

— Пожалуйста, уволь, — сказала Элино́р.

Она устала и знать не хотела никаких сравнений, кроме своих собственных.

## Искусство на природе<sup>{27}</sup>

Вечером, когда летняя выставка закрывалась и последние посетители покидали ее, в парке воцарялась тишина. Лодка за лодкой отчаливали от пристани и брали курс на город, лежавший на противоположном берегу озера. На ночь на выставке оставался только сторож, он жил в бане, стоящей на краю большой роши, где среди деревьев была выставлена скульптура. Сторож был очень стар, и у него болела спина, но не так-то легко найти человека, который согласился бы проводить здесь в одиночестве долгие летние вечера. А сторожить выставку было необходимо, этого требовала страховая компания.

Выставка была большая, она называлась «Искусство на природе». Каждый день утром сторож отпирал ворота, и посетители заполняли всю территорию парка, они съезжались на машинах и автобусах со всей округи и даже из столицы, приезжали вместе с детьми, совершали долгие прогулки, плавали среди водяных лилий, пили кофе, гуляли под березами, дети качались на качелях и фотографировались на большой бронзовой лошади. Все больше и больше людей стремились посетить выставку «Искусство на природе».

Сторож очень гордился выставкой. Днем он сидел в огромной стеклянной коробке, где были собраны живопись и графика, и смотрел на сотни проходящих мимо него ног. Из-за того, что у него болела спина, он сидел согнувшись и не мог смотреть на лица, но ноги разглядывал очень пристально, его забавляло гадать, как выглядит обладатель тех или иных ног. Время от времени он с трудом поднимал голову, чтобы проверить свою догадку, и почти всегда оказывался прав. Среди посетителей выставки было много женщин в босоножках, и по пальцам ног сторож видел, что они не так уж молоды. Как правило, ноги переступали очень почтительно. Если они шли с экскурсией, они то и дело ненадолго останавливались, и все носки были повернуты в одном направлении, потом, почти одновременно, они разворачивались в другую сторону, где располагалась новая картина. Одинокие ноги сначала казались растерянными, они



медленно пересекали зал наискосок и останавливались или поворачивались кругом, случалось, что одна нога поднималась и с остервенением чесала другую: в зале было много комаров. Потом они шли дальше, вдоль последней стены — торопливо. Сторож видел много ног в добротной обуви, часто они подолгу стояли неподвижно, потом ускоряли шаг и снова останавливались надолго. Сторож всегда смотрел, как выпядят обладатели старых ботинок. Старики ставили ноги носками в стороны, молодые — чуть внутрь, дети бежали рядом. Сторожа это забавляло. Однажды рядом с ним остановилась пара стоптанных туфель и палочка. Он видел, что женщина очень устала.

— Вы не знаете, — спросила она у сторожа, — что означает экспонат номер тридцать четыре? Он выпядит как пакет, перевязанный бечевкой. Наверно, художник имел в виду, что пакет надо развязать?

— Не думаю, — ответил сторож. — Экскурсовод говорил, что такую манеру создал какой-то иностранец. Теперь многие так делают, скульптуру тоже стали упаковывать, прямо целые глыбы, кажется, он был из Аризоны.

— Нет ли здесь где-нибудь стула? — спросила старая дама. — Выставка такая большая.

Сторож подвинулся, освобождая ей место на скамье, и некоторое время они сидели рядом.

— Меня просто восхищает изобретательность художников, — сказала она. — Чего они только не придумывают — и, главное, верят в то, что делают. Я приеду сюда еще раз, чтобы посмотреть скульптуру. Такую выставку сразу не осмыслишь, на это требуется время.

Сторож сказал, что ему больше всего нравится скульптура.

Фигуры росли как будто из травы, огромные, темные, одни — гладкие, бесформенные и непостижимые, другие — все в зазубринах и колючках, дерзкие и волнующие. Они стояли среди берез, словно рожденные землей, и, когда спускалась летняя ночь и с озера полз туман, казались прекрасными, как скалы или мертвые деревья.

Сторож запирали ворота и шел вдоль берега, гасил жаровни, проверял, чтобы все было в порядке. Он подбирал мох, который дети содрали с валунов, вытаскивал из «Колодца желаний» монетки и раскладывал их на газете, чтобы они просохли. Проверял, чтобы в урнах не осталось горящих окурков, и опорожнял урны в открытую

скульптурную печь. Июньская ночь была тиха, каждый островок отражался в недвижной глади озера. Сторож любил эти ежедневные вечерние обходы закрытого на ночь парка. У ворот пахло сеном и навозом с близлежащих усадеб, на берегу — илом и травой, а также влажной сажой из бани; когда же сторож проходил мимо гипсовых скульптур, он чувствовал запах смолы — скульптуры были просмолены, чтобы они не пострадали от дождя. Он сам и смолил их. Днем сторож не чувствовал никаких запахов, днем он знал только голоса и ноги. Сторож любил вечера и ночи, спал он немного и часто часами сидел на берегу, наслаждаясь покоем, царившим вокруг и у него в душе. Он ни о чем не думал, ни о чем не тревожился, просто жил. Его огорчало только то, что осенью выставку закроют, он уже привык к ней и не мог представить себе другую жизнь.

Однажды сторож совершал свой обычный вечерний обход, ворота он уже запер, все должно было быть в порядке. Вдруг он почувствовал запах дыма, где-то что-то горело. Сторож испугался — пожар! На дрожащих ногах он бросился сперва в одну сторону, потом — в другую, пока не сообразил, что просто кто-то разжег жаровню. Хулиганы спрятались на территории выставки и теперь на берегу жарили колбасу. Сторож вздохнул с облегчением, но тут же его охватила ярость. Быстро, как мог, он зашагал к берегу, стараясь, однако, не выдать своего присутствия. Вскоре он услышал голоса — это были мужчина и женщина, они ссорились. Сторож подкрался к ним, чтобы посмотреть, как они выплядут. Это были люди среднего возраста, такие должны знать, что нельзя нарушать порядок. Мужчина — неестественно бледный, в американской рубашке, шляпу его украшала блесна. Женщина была очень полная, в цветастом платье. Они жарили колбасу, пили пиво и пререкались. Сторож прислушался: обыкновенная супружеская ссора. Наконец он подошел к ним.

— Это еще что такое! — крикнул он, стукнув палкой о землю. — После закрытия разводить огонь в жаровнях строго запрещено. Раз закрыто, значит, закрыто! Что вы здесь делаете?

— Господи! — воскликнула женщина. — Альберт, я же говорила тебе, что нельзя.

Мужчина вскочил и хотел плеснуть на жаровню воды из озера, но сторож остановил его:

— Не надо, а то решетка лопнет, огонь должен погаснуть сам по себе!

Он вдруг почувствовал, что устал, и присел на камень. Мужчина и женщина молчали.

— Ответственность, — сказал сторож. — Это слово вам что-нибудь говорит? Каждую ночь я отвечаю за сохранность этой выставки и всего парка. Здесь собраны работы наших самых знаменитых художников, и все они доверены мне.

— Свеа, — сказал мужчина, — угости сторожа колбасой и налей ему стаканчик пива.

Но сторож отказался от угощения, он был неподкупен. Вечер побледнел, перейдя в летнюю ночь, по озеру, скрывая острова, скользил легкий туман. Стволы берез казались еще белее.

— Наверно, нам следует представиться, — сказал мужчина. — Моя фамилия Фагерлюнд.

— Рясянен, — ответил сторож.

Женщина начала собирать вещи, они явно не смели продолжать свою трапезу.

— А это что такое? — спросил сторож и палкой показал на коричневый пакет, лежавший на камне.

Женщина тут же объяснила, что это картина, которую они увидели и купили на выставке, первая приобретенная ими картина, она напечатана на шелке, они хотели отметить покупку.

— Это вас не извиняет, — сказал сторож. — Вообще-то такие картины называют шелкографией. Их печатают сразу много экземпляров, но все равно это считается искусством. А что изображено на вашей картине?

— Она абстрактная, — ответил Фагерлюнд. — Нам кажется, что на ней изображены два стула, повернутые в разные стороны.

Сторож сказал, что он таких стульев не помнит, а женщина объяснила, что картина висела последней справа — два самых обычных кухонных стула на фоне обоев; женщина говорила оживленно — ей явно тоже хотелось принять участие в разговоре.

— Ты ошибаешься, — сказал ее муж, — это складные стулья, такие, которые легко отставить подальше. И вообще они ни при чем, главное в картине — задний план. — Он повернулся к сторожу: —

Картина как бы открывается вдаль. Мы видим жизнь за ее пределами. По-моему, фон — это большой город, а вовсе не кухонные обои.

Его жена засмеялась:

— Вечно у тебя какие-то идеи. Конечно, это обои, любой человек тебе это скажет. Не оригинальничай, пожалуйста. На этих стульях сидели люди, они только что ушли, а стулья так и остались повернутыми в разные стороны. Может быть, эти люди поссорились? Как думаешь, могли они поссориться?

— Они просто устали, — сказал Фагерлюнд. — Устали и ушли.

— Может быть, и так, — согласилась жена. — Один из них пошел в бар, что находится за углом.

Сторож выждал минутку и сказал, что такое уж оно есть, искусство. Каждый видит то, что хочет, в этом-то весь и смысл.

— А почему вы не купили какую-нибудь более красивую и понятную картину, например пейзаж?

Они не ответили, жена отвернулась к озеру, вытерла глаза и высморкалась.

— По-моему, вам следует поступить так, — сказал сторож. — Раз произведение искусства можно толковать как угодно и каждый видит в нем что захочет, вы можете не распаковывать эту картину, а повесить на стену пакет. Тогда и ссориться будет не из-за чего.

Он помешал палкой угли, они почти прогорели. Помолчав, женщина спросила:

— Как вы сказали, повесить пакет?

— Да, с бумагой, с веревкой, вот так целиком и повесьте. Вы должны были видеть у нас на выставке такие картины-пакеты, это теперь модно. Наверно, хотят, чтобы люди гадали, что там внутри, и каждый раз представляли себе что-нибудь новое.

— Вы это серьезно говорите? — спросила женщина, отвернувшись.

— Господин Рясянен шутит, — сказал Фагерлюнд. — Собирайся, Свеа, нам пора.

Она встала и начала поспешно складывать в сумку все, что у них было с собой.

— Подождите, — сказал сторож. — Я не шучу, я говорю серьезно. Мне это только что пришло в голову. Надо картину красиво завернуть и намотать побольше веревки, лески или сапожной дратвы.

Главное, побольше. Я видел, как это выглядит. — Он стал рисовать палкой на песке. — Вот так и так, аккуратненько и под стекло.

— Но ведь картина стоит больших денег! — воскликнула женщина. — А такой пакет может сделать и повесить на стенку кто угодно!

— Нет! — возразил сторож. — Не думаю. Ведь тогда в пакете не будет ничего загадочного. — Он обрадовался, даже разволновался, поняв наконец идею запакованных шедевров. — А теперь вам пора домой, — сказал он. — Придется вам перелезть через ограду, я не могу снова идти туда, чтобы отпереть вам ворота.

— Альберт, картину понесешь ты, — сказала женщина, глядя на пакет, словно об него можно было обжечься.

Фагерлюнд поднял пакет, но тут же снова положил на камень.

— Нет, — сказал он. — Давай распакуем ее здесь, прямо сейчас. Пусть господин Рясянен решит, что на ней изображено.

— Не надо! — воскликнула она и расплакалась по-настоящему, она хотела понимать картину по-своему и не хотела, чтобы ей морочили голову.

Сторож промолчал.

— Уже темно, — сказал он наконец. — Ничего не видно.

Он встал и попрощался со своими гостями. Когда они ушли, он снова сел и стал наблюдать за жаровней, а потом медленно побрел между скульптурами, которые теперь, в сумерках летней ночи, казались огромными причудливыми тенями. И все-таки я прав, думал он. Важна тайна, загадка, это очень-очень важно. Он лег у себя в бане, его окружали голые стены. Ему было приятно смотреть на них, и сегодня обычные ночные мысли не мучили его перед сном.

## Главная роль {28}

Такой большой роли Марии еще никогда не предлагали, и тем не менее роль ей не подходила: она не взволновала ее. Незаметная, робкая женщина средних лет, бесцветное создание, лишенное всякой индивидуальности. В третьем акте короткая эффектная сцена, но все остальное!.. Какая-то тень; первый раз получить главную роль — и играть тень! Она позвонила Сандерсону.

— Это Мария. Я прочла пьесу; по-моему, героиня слишком бледная. С ней ничего не происходит. Возможно, это литература, не знаю, но уж никак не театр.

— Я знал, что ты это скажешь, — ответил Сандерсон. — И ждал твоего звонка. Послушайся меня. Это твой шанс, не упускай его. И это театр самого высокого класса.

— Ты так думаешь? Интересно. Автор состряпал пьесу по одной из своих новелл. Он не умеет писать для театра.

— А уж об этом предоставь судить нам, — сказал Сандерсон. С Марией лучше говорить резко и категорично. Она владеет актерским мастерством и умеет выполнять указания режиссера, но не больше, должна сама знать. — Положись на режиссера, — сказал он. — Проработай всю пьесу и позвони мне. Вопрос надо решить на этой неделе, а то мы не успеем сделать спектакль к осени.

Через два дня Мария Микельсон позвонила ему и сказала, что согласна.

Лето только начиналось, и она поехала на дачу, чтобы привести ее в порядок. Погода была отвратительная — студень туман, такой же серый и непроницаемый, как образ Элен. Тростник у причала тонул в белесой пустоте, ели от влаги были черными. Туман проникал даже в дом. Дрова не загорались. У Марии опустились руки, она налила себе коньяку и села на тахту, накинув на плечи пальто. Зачем им этот дом — такой большой, без современных удобств и так далеко от города? Но Ханс любит его, здесь прошло его детство, и вообще. Рыбачка по субботам и воскресеньям, обед и баня для приятелей по службе. Добродушная беседа с местными лоцманами и рыбаками. Ну,

как прошла зима? Попадается ли сиг? Не лучше ли попытать счастья на юго-западе?

Она пробовала образумить его. Неужели ты не понимаешь, как здесь одиноко? Меня не интересует ни рыбалка, ни работа в саду. Здесь нет соседей, с которыми можно общаться. Тогда он предложил ей пригласить кого-нибудь, чье общество было бы ей приятно. Кого-нибудь из театра. Или из родственников. Ведь у тебя столько знакомых. Это верно. Но не таких близких. С ними хорошо встречаться в городе, но жить вместе в одном доме... Она уже делала такие попытки. И каждый раз вздыхала с облегчением, когда гости уезжали. О родственниках не могло быть и речи — наивные, серые, заурядные, они банально восхищались ею, не имея ни малейшего представления о ее работе. Как интересно быть актрисой, правда? Такая насыщенная жизнь! Я бы ни за что не могла выступать на сцене! Столько учить наизусть!.. Только кузина Фрида молчала. Молчала и боготворила ее. Серая мышь с испуганными глазами.

Мария поплотнее закуталась в пальто и подняла рюмку. И тут ее осенило, это было наитие свыше. Она отставила рюмку и долго сидела не двигаясь. Кузина Фрида. Кузина Фрида — вот точный прообраз для роли Элен. Фрида и есть Элен! Жесты, походка, наклон головы, голос — все! Мария Микельсон засмеялась, залпом опустошила рюмку и встала. Подошла к зеркалу и посмотрела на свое отражение: холеное лицо, на котором начали появляться первые признаки возраста — тонкие морщинки вокруг глаз и губ. Надо подобрать седовато-пегий парик, сделать некрасивую прическу, как у Фриды... Голова, ушедшая в плечи, беспомощные движения рук... Как Фрида держит руки? Кажется, у нее есть привычка машинально прикрывать рот рукой? А как она, например, держит стакан? Или садится на стул?

А что, если написать: «Дорогая Фрида! Мы так давно не виделись! Нельзя из-за суеты совсем терять связь друг с другом. Правда? Мне пришла в голову замечательная мысль, и я надеюсь, ты примешь мое предложение. Возьми отпуск и приезжай ко мне на дачу хотя бы на две недельки. Все уже распускается, скоро будет тепло...»

\* \* \*

Но тепла не было. В день приезда Фриды дом был окутан туманом. Мария наблюдала, как Фрида осторожно спускается по ступенькам автобуса, как благодарит водителя, который помог ей вынести чемодан. Костюм Фриды не обманул ожиданий Марии. Безупречный. Не то чтобы чересчур скромный. В нем была даже робкая попытка выглядеть элегантно, неудавшаяся попытка.

От очков придется отказаться, это уже слишком. Но взгляд поверх очков можно сохранить.

— Добро пожаловать, — сказала Мария. — Как мы давно не виделись! Дай мне твой чемодан. Нам недалеко...

— Нет, нет, ни за что! — воскликнула Фрида. — Этого еще не хватало! — Она явно нервничала. — Спасибо, что ты пригласила меня сюда. Ведь у тебя столько друзей.

В еловом лесу было темно, деревья обступали их плотной стеной.

Надо записывать все свои наблюдения. Любые мелочи, это как раз самое важное. Каждый день.

Она сказала:

— Интересно, как тебе понравится твоя комната. Она выходит на море. Сейчас в ней холодно, но я затопила печку.

— Большое спасибо, — сказала Фрида. — Но из-за меня, право, не стоит так беспокоиться, я не боюсь холода, никогда не мерзну... Я хотела сказать, вообще... — Незаконченные фразы, затухающий и совсем пропавший голос...

— Тебе будет хорошо, — сказала Мария. — Я очень рада, что ты решила приехать.

Дом был высокий и изящный, белые стены, черная крыша. На длинную веранду вела крутая лестница. В плохую погоду из-за подступавших к самым стенам елей в доме было сумеречно. От веранды к причалу вела дорожка.

— Там море, да? — робко спросила Фрида; сощурившись, она вглядывалась в туман. — Я никогда не жила на берегу моря.

— Море там, дальше, — объяснила Мария. — У нас здесь залив. Лодка сейчас в починке, но, когда потеплеет, Ханс пригонит ее.

— А из-за тумана кажется, что это настоящее море, — сказала Фрида и улыбнулась.

Улыбка изменила ее лицо, теперь оно выражало только безмятежное добродушие. Обернувшись, она внимательно



разглядывала дом, обеими руками держа перед собой чемодан.

— Сейчас дача не смотрится, — с непонятым раздражением сказала Мария. — Она будто создана для больших приемов, ты бы видела ее, когда у нас много гостей, — в каждом окне свет, и на дорожке до самого причала висят фонарики! Всюду жизнь, движение... Моторки снуют туда-сюда, иногда к нам приезжают даже из Швеции.

Фрида усердно кивала, вид у нее был почти испуганный.

Что это со мной, кажется, я хочу пустить ей пыль в глаза, какая глупость...

— Здесь холодно, — сказала Мария. — Идем домой. Ты так долго добиралась...

Конечно, она могла бы заехать за Фридой на машине. Но зачем? Это только смутило бы ее.

В камине пылал огонь. Сумерки наступили рано, пришлось зажечь несколько ламп, из-за абажуров все тона казались мягкими и теплыми. Перед камином стоял низкий столик с рюмками и бутылками. Фрида остановилась на пороге и молча оглядела гостиную. Сделала несколько осторожных шагов, задержалась возле вазы с желтыми розами.

— Цветы, — еле слышно сказала она. — Мне следовало привезти тебе цветы, я думала об этом, но... — Голос потонул в безмолвии.

Мария как замороженная смотрела на нее.

— Идем, я покажу тебе твою комнату, — сказала она. — Ты распакуешь вещи, а потом мы с тобой выпьем перед обедом.

\* \* \*

Мария Микельсон привыкла принимать гостей, она умела заполнять паузы в разговоре, и делала это естественно, без малейшего усилия. Фрида почти не ела, она слушала, не отрывая глаз от лица Марии, вот она снова улыбнулась, и сразу напряженность сменилась в ней мягкостью. Теперь она уже не так походила на Элен. Мария заметила это и замолчала вежливо, выжидательно. Помолчим, пусть выкручивается как знает. Я говорю слишком много.

Пошел дождь, он тихо шуршал по жестяной крыше. Мария выжидала. Она видела, как гостя, вся сжавшись от страха и робости, ковыряет вилкой в тарелке, отчаянно подыскивая, что сказать; наконец Фрида быстро проговорила каким-то непривычно высоким голосом:

— Я видела тебя в твоём последнем спектакле.

— Правда?

— Ты играла великолепно. Так естественно.

— Тебе понравилось? Приятно слышать, — сказала Мария, и снова воцарилось молчание.

Фрида побагровела, она схватила рюмку и быстро выпила, руки у нее дрожали.

Надо запомнить: спина совершенно прямая, плечи немного приподняты и выдвинуты вперед. И характерное движение шей, словно ее душит воротник. Это все пригодится. Мария сжалась над кухней;

— Ты часто ходишь в театр?

— Да, — ответила Фрида. — Главным образом на твои спектакли. — Опять эта улыбка! Искреннее и безграничное восхищение. К кухне Фриде трудно было не проникнуться расположением. Правда, она в то же время раздражала, ее невозможно было представить в сочетании с другими гостями, но было в ней что-то обезоруживающее. Что-то пугливо скрывающееся от чужих глаз и проявляющееся только в улыбке.

После обеда Фрида заявила, что вымоет посуду, она настаивала, умоляла, и когда Мария наконец уступила, благодарность Фриды даже смутила ее. Занявшись делом, Фрида изменилась до неузнаваемости. Движения ее стали быстрыми и ловкими, она вдруг исполнилась невозмутимой сосредоточенности и непостижимым образом в незнакомой кухне сразу нашла все, что ей требовалось.

— Мне очень приятно, что я смогу тебе помогать, — сказала она. — Я хорошо готовлю. И страшно люблю складывать в камине дрова так, чтобы их можно было разжечь одной спичкой. Я встаю рано. Что ты пьешь по утрам — чай или кофе?

Мария курила, сидя на ларе с дровами. Кухня вдруг преобразилась: в ней стало приятно и уютно.

— Просто не верится, что я не в городе, а здесь, с тобой! — сказала Фрида. — Я даже мечтать об этом не смела, это как в сказке!

\* \* \*

Поздно вечером, уйдя к себе, Мария достала тетрадь и исписала несколько страниц. Она постаралась припомнить все движения Фриды, ее интонации, взгляд, молчание. Повторила их перед зеркалом. Все подходит. Это будет великолепно. Рука, прикрывающая рот, напряженная шея... Мария попробовала изобразить улыбку Фриды. Но улыбка не получилась, улыбка была ее собственная.

\* \* \*

Мария допустила ошибку, разрешив Фриде заниматься домашним хозяйством. Фрида все меньше и меньше походила на Элен: беспомощную немоту сменила болтовня о домашних мелочах, уверенными движениями Фрида колдовала над обедом, сметала с веранды хвою, сгребала листья, чистила кастрюли, приносила дрова. И каждый раз, завершив то или иное дело, являлась к Марии с отчетом, ее карие глаза выражали собачью преданность и вместе с тем ожидание: кухня Фрида ждала похвалы. Марии больше не было пользы от ее присутствия. Через два дня она позвонила Хансу и попросила его прислать на дачу фру Хермансон, их прислугу.

— Я знаю, — сказала Мария, — фру Хермансон должна была приехать сюда позже, но мне она очень нужна. Ты сможешь эту неделю обедать где-нибудь в городе?

— Конечно смогу, — ответил Ханс, он был человек покладистый. — А как тебе живется с твоей кухней?

— Хорошо, — сказала Мария. — Я рада, что пригласила ее. Это была удачная мысль.

Фру Хермансон приехала и взяла хозяйство в свои руки: кухню, печи, уборку — все. Фрида вернулась к отведенной ей роли. По вечерам они сидели перед камином. Мария почти все время молчала. Она наблюдала за своей кухней.

— Знаешь, я подумала... — начала Фрида, — может, тебе надо починить какое-нибудь белье... или что-нибудь в этом роде.

— По-моему, нет.

— А я думала... Туман так и стоит.

— Да.

— Прости, если я вмешиваюсь не в свое дело, — очень тихо сказала Фрида, — но ты, наверно, сейчас работаешь над какой-нибудь ролью? Для какого-нибудь будущего спектакля?

— Да, — ответила Мария. — У нас осенью премьера. Я играю главную роль.

— О! Твоя первая главная роль!

— Угу. — Мария рассердилась. Как к этому относиться? Она наклонилась, пошевелила дрова в камине и спросила: — А ты откуда знаешь?

Фрида ответила не сразу, она испугалась. Потом прошептала:

— Я вырезаю все статьи о тебе, по-моему, до сих пор тебе давали слишком незначительные роли. И пишут про тебя не так, как следует. Правда.

Мария встала и подошла к бару, она налила себе рюмку и выпила, не отрывая глаз от залитых дождем окон веранды.

— Я сказала плусть? — еле слышно спросила Фрида.

— Почему? — Мария вернулась к камину, ее голос звучал очень холодно. Ей вдруг надоел этот эксперимент. — Не понимаю, решительно не понимаю, почему Ханс не хочет расставаться с этим вороньим гнездом. Здесь можно умереть с тоски. Особенно по вечерам.

Фрида вся сжалась в своем кресле.

Прекрасно, пусть думает, что это из-за нее. Совсем как Элен. Во втором акте, когда Элен даже не замечает их жестокости по отношению к ней...

Мария не спеша села и протянула руки к огню.

— Конечно, — сказала она, — я могла бы заставить его продать этот дом и приобрести другой — поменьше, поудобней и поближе к городу. Но я не могу быть с ним такой бессердечной. — Она быстро повернулась к Фриде и спросила: — Тебя когда-нибудь мучают угрызения совести?

— Да. — Ответ прошелестел как вздох.

— Часто?

— Не знаю... Наверно, все время. Как-то так...

Фрида прижала руки к животу, как будто ей было больно. Подбородок опущен, лицо застыло, смотрит в сторону.

— Но ведь ты такая добрая, что ты такого делаешь, чтобы у тебя были угрызения совести?

— То-то и оно. — Фрида побледнела. — Я никогда ничего не делаю — ни хорошего, ни плохого.

— Почему? — Мария внимательно наблюдала за ней.

— Наверно, боюсь... Не знаю...

Вошла фру Хермансон, она задернула шторы, заперла дверь веранды и пожелала им доброй ночи. Потом они услышали ее шаги на кухне и щелчок замка. Мария налила в рюмку немного чистого виски.

— Выпей, — сказала она Фриде. — Выпей одним плотком, как лекарство. Сразу станет легче.

Фрида посмотрела на рюмку, протянула руку и вдруг разрыдалась, натужно всхлипывая.

— Прости меня, — рыдала она, — мне так тяжело... Мучительно тяжело... Ты так добра, даже не понимаю, почему ты так добра ко мне...

Мария выжидала с неподвижным лицом. Когда Фрида успокоилась, она сказала:

— А теперь выпей. И давай ляжем спать, ты устала, вот и все. Прими на ночь аспирин.

\* \* \*

Туман немного развеялся, и летняя ночь стала синей. Лежа в постели, Мария читала свою роль, медленно, внимательно прочитывала она каждую реплику кузины Фриды, они оживали одна за другой, звучали убедительно и логично. Роль была замечательная, просто замечательная. Но трудная. Только теперь Мария поняла, что для женщины, которую она должна играть, характерны не только покорность и незначительность, что она обладает еще и свойством, о котором говорят очень редко: естественной добротой. Той добротой, которая светится в улыбке кузины Фриды, но которую она не решается отдать другим, скрывает в себе, подавляет собственную щедрость.

Как же живет кузина Фрида? Чем она занимается? Я ничего не знаю о ней...

Мысли Марии отвлеклись, она отложила тетрадку. Внезапно тишина, царившая в доме, встревожила ее, она встала и открыла дверь на площадку. Нет, в щелке под дверью Фридиной комнаты света нет. Фрида спит. Или лежит и плачет? Мария подошла и прислушалась. Нет, тихо. Она облегченно вздохнула.

Вообще-то жаль, что пришлось вызвать сюда фру Хермансон. Но что поделаешь! Надо будет поручить Фриде починить простыни. Не завтра, конечно. А через день, через два. И может быть, рассказать ей какие-нибудь театральные сплетни, их все любят.

Когда Флура<sup>[53]</sup> Юханссон была молодая, ее часто сравнивали с цветком, она любила свое цветочное имя, считая, что оно ей очень подходит. Тоненькая шея, пышные золотистые волосы, голубые, как незабудки, широко раскрытые глаза, их взгляд мог бы показаться вызывающим, если бы их не затеняли длинные, тщательно покрашенные ресницы. Она выбирала наряды для своей худенькой фигурки в трогательно детской манере, но с большим вкусом, чаще всего носила юбки и девичьи блузки с круглым воротником, похожим на чашелистик. Скрытая такой пуританской униформой, ее кокетливая женственность проявлялась еще ярче, привлекая и волнуя. Тем, кто был с ней близок, казалось, будто они соблазняют школьницу. Флура Юханссон говорила о своих любовных приключениях с обезоруживающей наивностью, словно рассказывала анекдоты о преданных домашних животных, о которых нужно заботиться. Такая откровенность делала ее похожей на покачивающуюся на глади пруда кувшинку, к которой не пристаёт никакая грязь.

Отец Флуры, такой же некрасивый, грузный человек, как и его жена, работал дилером в сфере резиновой промышленности. Ее родители никак не могли прийти в себя от изумления, что произвели на свет такую красавицу, и ужасно баловали ее. Друзья Флуры были ей под стать, они также принадлежали к привилегированному клану любителей легкой и приятной жизни. Все они от случая к случаю спали друг с другом, одалживали, меняли или крали партнера — одним словом, отличались удивительной свободой нравов, чем весьма гордились. Они даже не очень-то старались скрывать свои похождения. Их любовные утехы были свободны от пафоса серьезности и лишены естественной стыдливости и шарма.

Когда Флуре исполнилось двадцать два года, она совершенно неожиданно вышла замуж за американца по имени Джон Фогельсонг<sup>[54]</sup>, одного из партнеров своего отца. Этот Фогельсонг стал объектом весьма остроумных шуток, говорили, что Флура влюбилась в него исключительно из-за его фамилии, идеально подходившей к ее цветочному имени и облику. К их свадьбе друзья

написали уйму изящных виршей и эпиграмм по поводу новой фамилии Флуры и связанных с ней ассоциаций, а также игривые стишки, разумеется о резиновой промышленности, в невинно-скабрезной форме намекающих на богатый любовный опыт невесты, приобретенный до перемены фамилии. Джону Фогельсонгу, любезному, довольно банальному господину с усталым лицом, эти стишки переводить не стали. Наутро он подарил Флуре ожерелье из бриллиантов и сапфиров. Сапфиры удивительно подчеркивали синеву ее глаз. А на другой день новобрачные отправились на Бали, где муж намеревался объединить медовый месяц с кое-какими деловыми встречами, после чего возвратиться в свой калифорнийский дом под Лос-Анджелесом.

Вначале родители и особенно друзья получали от Флуры довольно много писем, она с восторгом рассказывала про свой новый дом, сад, бассейн, яхту, про восхитительные празднества, на которых присутствовала масса знаменитостей всякого рода. Словом, все у нее было до того прекрасно, что просто не верилось. Потом она стала писать реже, и не кому-нибудь из своих друзей, а по письму на всех вместе. Из ее писем они узнали, что Джон слишком много работает, что у него больной желудок. «Дорогие, ребятки вы мои ненаглядные, как мне хочется, чтобы все вы были со мной здесь и подбодрили моего долговязого усталого бизнесмена. Бедняга, не много птичьих песен удается ему послушать в Лос-Анджелесе. Бизнес, бизнес, бизнес... Ах, если бы вы прилетели сюда и осыпали его разноцветными букетами вашего остроумия и веселья! Он все время в разъездах... И его вовсе не радуют великолепные места, где он бывает, да у него и нет времени осматривать их. Ах, если бы я была на его месте!»

Постепенно Флура перестала писать длинные письма. Теперь она посылала красивые открытки из разных частей света. Иногда это были фотографии: Флура в пробковом шлеме верхом на верблюде или в шляпе с круглой тульей на лошади, Флура в бикини на пляже... На каждой открытке была подпись в виде цветка — счастливого, распустившегося, поникшего, в виде бутона, полного ожидания или со скрученными лепестками и виноватым выражением. Иногда на цветок взирала взъерошенная птица с подобающей миной. «Дорогие мои ребятки, такова моя жизнь. И до чего же она все же прекрасна!»



Друзья Флуры отвечали в том же духе, рисовали цветы и птиц, посылали ей дурашливые и ласковые картинки с короткими приписками. «Мы сидим на солнышке, пьем белое вино и думаем о тебе, злючка-колючка, решившая нас покинуть!» И подписи. Под конец весточки от Флуры стали получать лишь папа с мамой. В каждом письме расплывчатое обещание увидеться. «Подумать только, как это было бы замечательно! Вы должны приехать сюда... В следующий раз, когда Джон поедет на север...»

Но до того, как Джон собрался поехать на север, началась война. А прежде, чем война кончилась, папа и мама умерли.

\* \* \*

Спустя тридцать четыре года после того дня, когда Флура стала миссис Фогельсонг, привычный для нее мир рухнул. Усталого Джона Фогельсонга нашли мертвым в постели, а в оставленном на ночном столике письме просьбу простить его. Поскольку он никогда не посвящал ее в свои дела (ей они были вовсе неинтересны и непонятны), он лишь упомянул в постскриптуме, что жене делать ничего не придется, нужно лишь позвонить в фирму «Шун энд Шун», которой он дал необходимые инструкции. Оказалось, что он оставил в этой фирме банковский депозит, довольно скромный, и документы на маленькую квартиру в Сан-Педро. Квартира была очень маленькая, даже синий океан за окном не радовал Флуру, а лишь усугублял ее печаль и чувство одиночества. Она все еще походила на цветок.

\* \* \*

В такси по дороге к гостинице Флура узнала о том, кто умер, кто развелся, у кого уже есть внуки. Все это казалось совершенно невероятным и пугало еще сильнее, чем жизнь в Сан-Педро.

В гостиничном номере на столе стояла бутылка вина и букет незабудок. Флура снова заплакала.

— Дорогие мои, — всхлипывала она, — ведь это мои цветы, мои старинные любимые цветы... Я знала, вы не сможете забыть свою

Флуру!

\* \* \*

Вечером встретились все, кто остался в живых. Встретились в отдельном кабинете ресторана в гостинице, они пили шампанское и весело, шумно вспоминали события тридцатипятилетней давности. Почти каждое восклицание начиналось словами: «А ты помнишь?..» Все пили за Флуру, вокруг ее тарелки лежал венок. Под аплодисменты она надела венок на голову и сидела, улыбаясь; без очков она не могла хорошенько разглядеть лица своих друзей, но наслаждалась яркими красками, движениями, огнями свечей, наконец-то ощущая тепло и спокойствие, чего она и ожидала от возвращения домой. На ней было длинное синее платье и ожерелье из сапфиров, на мгновение она подумала, не чересчур ли она вырядилась, но тут же решила, что это совершенно естественно: их пропавшее дитя цветов, вернувшееся с другого конца света, и должно быть нарядным, как принцесса. Она высказала им это в кокетливо-лукавой речи, заявив в довершение, что никогда более не будет испытывать чувства одиночества, и намекнула на галантные стишки, написанные давным-давно по случаю ее бракосочетания...

Шампанское и общее веселье взволновали ее, — вспомнив свою свадьбу, она начала всхлипывать, не окончив фразу, беспомощно опустила на стул и подняла бокал:

— Чао, ребятки мои, ребятки мои... Ваша Флура просто неисправима, не так ли? Вовсе не изменилась!

\* \* \*

Папино и мамино наследство досталось государству, и с помощью друзей Флура нашла квартиру, маленькую, еще меньше, чем в Сан-Педро. В шутку она называла ее своей берлогой, а иногда — своей мастерской. Друзья навещали ее, но ту великолепную атмосферу, что выдалась в вечер встречи, им не удалось сохранить. Воспоминания, вопросы и рассказы были исчерпаны, а описывать в

деталях события давних дней было нелепо и неинтересно. Для тесного круга за маленьким столом был необходим интимный контакт, которого больше не было. Они вели светскую беседу, а не болтали по душам, иногда вдруг наступало неловкое молчание. Теперь Флура смогла близко рассмотреть своих друзей и увидела, что их одежда и их лица порядком потрепаны. Ах как они изменились! Под конец она решила рассказать о своих путешествиях. Они слушали, смеялись, удивлялись, но замечания их были скупы, а в вопросах не чувствовалось горячего желания услышать ответ.

Флура изо всех сил пыталась исправить положение, пыталась долго. Но они вечно были заняты своими заботами. Работа, состояние здоровья, внуки, нехватка денег и масса других проблем...

— Не обижайся на нас, — сказала ей Хелен, — мы не могли остаться прежними.

— Разумеется, не могли, — ответила Флура, — было бы ребячеством думать иначе. И все же... Хоть что-то должно остаться, стоит только подумать хорошенько...

Она позвонила школьным подругам, каким-то дядям и теткам, которые с трудом вспомнили, кто она такая. Она попыталась читать, но это непривычное занятие только растревожило ее и привело в уныние. Понять героев книг она не могла, чтение вызвало в ней лишь еще более острое ощущение одиночества и сознание, что жизнь проходит мимо.

У Флуры появилась привычка держать дома несколько бутылок шампанского. Выпьет бокал-другой — и становится веселее и спокойнее. И чтобы всегда были цветы. Иногда ей даже не хотелось идти куда-нибудь обедать, она просто открывала бутылку, пробка весело и празднично взлетала к потолку, а Флура, сидя на диване, улыбалась с полузакрытыми глазами, пила шампанское, мысленно чокаясь с этим непонятным миром, который так сурово обошелся с ней. Она обнаружила, что выпитый утром бокал шампанского придает всему дню отблеск какого-то обещания. Постепенно ее комната наполнялась людьми, о которых она вдруг вспомнила или которых где-то встречала, она принималась болтать с ними. Правда, заходили они ненадолго. Она приветствовала их, угощала шампанским. Ей нравилось шептаться с теми, кто приходил и уходил, когда надоедал ей. Это забавляло ее.

Весной цветы стали дешевле, и она могла позволить себе покупать большие букеты, ей стоило только позвонить в цветочную лавку, и их приносили. Шампанское ей тоже доставляли, по целому ящику сразу. Она старалась как можно реже выходить на улицу, здесь понастроили столько незнакомых домов, и город стал намного безобразнее городишек в тех странах, где ей прежде доводилось бывать.

Изредка Флура встречала своих друзей, она старалась держаться с ними холодно и загадочно, стояла чуть нетвердо на ногах и большей частью молчала. Они начали было беспокоиться о ее состоянии и послали Хелен вразумить ее. Флура велела передать им привет, сказать, что она тронута их заботой, и просила не печалиться об их непослушном цветочке. Окружающий мир обволакивал ее все более густым и ласковым туманом. Ей стало все легче засыпать на часок утром, на пару часов днем. Вечерние сумерки, утро, ночь перестали быть для нее неумолимым течением времени, ей больше не нужно было ничего ждать.

Флура Фогельсонг, расстелив на софе соболью шубу и надев синее платье, принимала невидимых гостей и рассказывала им про свою жизнь.

— Глядя на меня, — шептала она, — можно подумать, будто я всегда была примерной замужней дамой. Ах, это вовсе не так! Вы мне не верите? Лежа на этой собольей шубе, я принимала любовников... «Ты такая хрупкая, — говорили они, — как фарфоровый цветок, до тебя едва осмелишься дотронуться...» Чао, хотите шампанского? Вам доводилось бывать в Хуан-лес-Пинсе? До чего же там весело! Там веселятся ночь напролет, разумеется в летний сезон... Ночью взбредет тебе в голову искупаться, побежишь на берег и плаваешь при луне... нагишом... Прыгнешь в машину и помчишься в Монако через границу, казино открыто круглые сутки... Неужто вы уже собрались уходить? Нет, нет, не извиняйтесь, я, по правде говоря, жду одного человека... это очень личный визит... К тому же я хочу немного вздремнуть.

И Флура в самом деле заснула на собольей шубе. День сменился вечером, она проснулась и выпила немного шампанского, всего один бокал, чтобы в голове у нее немного прояснилось, чтобы видеть окружающий мир отчетливее.

## Великое путешествие {30}

— А что станем делать, когда приедем? — спросила Роза. — Что делают маленькие мышки, когда приезжают?..

Елена, лежа поперек кровати, потянулась за сигаретами.

— Сначала, — сказала она, — сдадим вещи в камеру хранения. А потом мы свободны. Утро раннее, и, конечно же, светит солнце. Тепло! Мы идем куда-нибудь и пьем, не торопясь, кофе. Потом выбираем приятного вида улицу и начинаем искать отель.

— Маленький, — добавила Роза. — А разговаривать с портье будешь ты. Разговаривает мышка большая.

— Да. Я закажу комнату, на всякий случай только на две ночи, тогда, если захотим, мы сможем переехать куда-нибудь в другое место. Потом ходим за чемоданами. Пожалуй, придется, поехать в отель на такси.

— А что станем делать потом?

— Купим фрукты. Цветы и кучу фруктов, они почти ничего не стоят.

Роза сказала:

— И чтобы апельсины рвать самим. Мы забыли это сделать вчера, когда ездили в Индию. Вообще-то там было слишком жарко. В следующий раз — мой черед выбирать страну. Выбирать будет маленькая мышка.

Елена зевнула и притянула пепельницу к себе. Затем спросила:

— А когда поедем всерьез? Роза, не ответив, рассмеялась.

— Нет, смотри на меня. Когда мы поедем всерьез?

— Когда-нибудь... Времени у нас навалом.

— Ты так думаешь? Тебе уже за тридцать, а ты никогда никуда не ездила. Я хочу, чтобы в свое первое путешествие ты отправилась вместе со мной. Хочу показать тебе города и природу, научить тебя смотреть по-новому и рисковать, справляться с любыми трудностями в тех местах, которые ты совсем не знаешь, хочу наполнять тебя жизнью, понимаешь?

— Что ты имеешь в виду?..

— Не хочу, чтобы ты была автоматом, который отправляется в свой банк, и снова домой к маме, и опять в банк, и снова домой, и делает и думает только то, что привыкла делать и думать... Ты недостаточно любопытна. Хочу, чтобы ты пробудилась!

Роза лежала на животе, уткнувшись лицом в подушку, и ничего не говорила. Елена продолжала:

— Разумеется, это из-за твоей мамы. Но неужели это катастрофа, если она побудет без тебя один месяц, несколько недель? Подумай...

— Не скандаль со мной, — ответила Роза. — Ты ведь знаешь, что из этого ничего не выйдет. Просто ничего не выйдет, и я тебе это уже говорила!

— О'кей! — сказала Елена. — Ничего не выйдет, говорить об этом нельзя. Запретная тема... — Она включила радио и начала тихонько насвистывать в такт музыке. Роза откинула одеяло и встала.

— Ты что, пойдешь домой?

— Да. Уже двенадцатый час.

Комната Елены была большой и совершенно пустой, скопление мебели ей не нравилось. На стенах — ничего, вокруг ни следа всевозможных мелочей и вещиц, которые постепенно накапливаются в доме, никаких скатерок и подушечек, одна лишь холодная комната со штабелями книг и кучами бумаг, лежавших большей частью на полу. Телефон тоже стоял на полу, словно Елена только что переехала.

Вначале Роза восхищалась впечатком легкой беспечности, отличавшей эту комнату, позднее же это казалось ей своего рода ненужным кокетством, комната эта выглядела какой-то беззастенчивой. Роза восклицала:

— Но почему ты все кладешь на пол?! И почему так неаккуратно натягиваешь чулки, что то и дело спускаются петли! Говорила я тебе, что не надо так натягивать чулки, — возмущалась Роза.

— Вызвать такси?

— Нет. Я пойду.

— А я думала, мы выпьем чаю. Идет дождь. У маленькой мышки нет дождевика. Надень мой!

— Хорошо и так, я ничего не хочу.

— Тогда до завтра. Придешь завтра?

— Не знаю, — ответила Роза. — Я не знаю, что будет завтра, может, я позвоню.

Елена завела свои часы, темные прямые волосы упали ей на лицо.  
— О'кей, — ответила она, — поступай как знаешь!

\* \* \*

Она пришла домой и как можно осторожней открыла дверь... очень медленно, затем вытащила ключ и молча застыла в темной прихожей. Однажды она встретила папу на лестнице, он снял ботинки и держал их в руке. Но это ему несколько не помогло; во всяком случае, он сбил несколько вешалок, он всегда сбивал их, когда пытался не шуметь. Вообще-то он прекрасно знал, что мама не спит.

Они отдали его одежду Армии спасения. Это было уже давным-давно.

Замок снова щелкнул. Она уронила плащ на пол, сняла ботинки и беззвучно поставила их на место.

— Роза, милая, — сказала мама. — Я приготовила тебе немного поесть на кухне. Приятно провела время?

— Очень приятно. Но тебе не надо было... Я разбудила тебя?

— Нет, нет, совсем нет!

Широко раскрытыми глазами Роза смотрела в теплую темень спальни.

— У тебя, надеюсь, ничего не болит?

— Да нет, все хорошо! Я довольно долго читала. Эта Маргарет Миллер замечательна. Психологична, ну, ты понимаешь... не одни только убийства и розыск преступников... Очень весело! Сама увидишь. Как по-твоему, я смогу найти еще что-нибудь из ее книг?

— Да, я принесу тебе, — обещала Роза и пошла на кухню.

Она зажгла лампу и посмотрела на бутерброды. Колбаса, сыр, джем и еще сигареты.

И ваза с цветами. Она села к столу, охоты читать у нее не было. «Я раздобуду побольше романов Миллер. В понедельник после работы. Завтра я пойду и возьму билеты на этот фильм. Или же останусь дома на весь вечер. Она не спрашивает, с кем я была, она уже давно не спрашивала. Я устала. Я жутко устала. Мне плохо...»

Поставив бутерброды в холодильник, она погасила свет.

Мама молчала, пока дочь раздевалась и ложилась спать, только тогда она, как обычно, сказала:

— Спокойной ночи, моя любимая!

И Роза ответила:

— Спокойной ночи, дорогая!

Так они говорили друг другу всегда.

\* \* \*

Было воскресенье. Мама заплетала свои седые волосы в две небольшие косички, которые закручивала на затылке. Она сидела очень прямо. Книга была прислонена к кофеварке, а переворачивая страницу, она всякий раз для верности укрепляла ее шпилькой. Шпильки она держала, как обычно, во рту, в старом, жестоко изборожденном морщинами рту.

Она никогда не накидывала халата, а сразу же, немного отдохнув от возни с корсетом и чулками, одевалась и заканчивала свой туалет, приводя в порядок волосы.

Роза обычно говорила:

— В молодости мама могла сидеть на своих волосах. И это по-прежнему самое красивое, что я видела.

А Елена отвечала:

— Я знаю. У нее все — самое красивое, что ты когда-либо видела. Великолепно! Все, что у нее есть и что она делает и говорит, — великолепно!

А Роза ответила:

— Ты ревнива! Ты несправедлива! Она делает абсолютно все, чтобы я чувствовала себя свободной.

— Странно, — протяжно повторяла Елена, — пожалуй, странно, что ты себя свободной не чувствуешь. И очень огорчительно для нас.

Вначале Елена приходила к ним домой, к чаю, на обед. Они могли все втроем пойти в кино, и Елена, взяв маму под руку, крепко держала ее.

— Я чувствую себя так уверенно, — говорила мама и смеялась. — Ты тащишь меня на буксире, словно настоящий здоровенный мужчина! — А вечером она повторяла: — Как приятно,



что у тебя появился такой хороший друг. Надежный человек, о котором знаешь, чего от него ожидать.

Теперь Елена у них давным-давно не появлялась. Пока мама, уложив волосы, отдыхала, она спросила, словно невзначай, ни к кому не обращаясь, как поживает Елена.

— Хорошо, — ответила Роза. — Как раз сейчас она очень занята у себя в газете.

Мама вернулась назад к кровати, завернулась в одеяло и открыла большой географический атлас.

— Милая Роза, — сказала она, — теперь я их снова где-то забыла, думаю, они в ванной.

Роза пошла за ее очками, и мама сказала:

— Ты ангел. Мне бы надо повесить их вокруг шеи на ленте, но это придает такой глупый вид.

И, прислонив атлас к коленям, начала читать; сегодня это была Америка.

Теперь было уже слишком поздно для маминого великого путешествия. Оно было запланировано двадцать лет тому назад, нет, гораздо раньше, с самого начала — в дни раннего детства Розы, когда делались заверения и давались обещания, а все подробности, подкрепляемые пылкими объятиями, обсуждались в детской. «Я возьму тебя с собой, украду тебя у папы, мы поедем в джунгли или на Средиземное море... Я построю тебе замок, где ты станешь королевой». И они рассказывали друг другу, каким будет этот замок и снаружи, и внутри, они по очереди собирались оформить каждую комнату, а вот тронный зал обставляли вместе.

Время от времени вопрос о путешествии поднимался снова. Меж тем годы шли, но ведь столько всего так никогда и не сбывается! А кроме того, ведь был еще папа.

Роза, стоявшая у окна, не оборачиваясь, спросила:

— Куда бы ты поехала, если бы могла выбирать?

— Возможно, в Гафсу.

— В Гафсу? А где она находится?

— В Северной Африке. Место, которое называется Гафса.

— Но, мама, милая, почему именно туда?

Мама засмеялась своим особым таинственным смехом, хотя на самом деле получалось лишь нелепое хихиканье.

— Гафса звучит приятно на слух, а точно — сама не знаю. Просто пришло мне в голову!

— Но ты в самом деле хочешь поехать туда?

— Незачем делать такой печальный вид, — ответила мама, — мне не нужно никуда ехать.

— Но ты, верно, думаешь, что это все же было бы интересно.

— Конечно. Конечно, это было бы интересно.

Роза сжала губы. Она не видела ни безлюдную воскресную улицу, ни их комнату. Она видела лишь то суматошное время, когда мама внезапно не пожелала больше распоряжаться и брать на себя ответственность. Казалось, будто все на свете пошло ко дну, не за что было держаться. Мама просто отступила; она не хотела ни принимать решения, ни давать советы, а если ее к этому вынуждали, сжимала губы и выходила из комнаты.

— Тебе лучше знать, — говорила она.

Или:

— Этого не знаешь наверняка...

Или вообще, ничего не говоря, меняла тему разговора. Это было не похоже на нее.

— Это пугает меня, — однажды вечером сказала Роза, а Елена, пожав плечами, ответила:

— Естественно. Ясно, ты напугана. Она всю свою жизнь только и говорила вам, что вы должны делать, и любить, и хотеть, и устраивала все для вас так, что вы ни шага самостоятельно ступить не могли, ни одна собственная мысль вам и в голову не приходила. А потом она вдруг становится старой, а твой папа берет и умирает. И она выпускает бразды правления из рук. Ты что, не понимаешь? А теперь — твой черед. Это своего рода смена караула, и она абсолютно права. Такое случается всегда, это неизбежно.

Она какое-то время разглядывала узкое лицо Розы с боязливым ртом, а потом грубо подытожила:

— Попытайся уяснить себе, что твоя королева больше не в силах править. — И более мягко добавила: — Поди сюда! Нечего вешать нос, я хочу, чтобы ты была свободна и выше держала нос. Хоть ненадолго забудь ее.

И Роза, отпрянув, отрезала:

— Теперь, верно, королевой должна стать ты, не так ли, а?

— Боже мой! — произнесла Елена. — Эти старые дочери со своими маменьками. Никогда мне от них не отделаться. Это безнадежно.

Роза заплакала, и ее утешили.

\* \* \*

Она очень боялась, когда Елена впервые пришла к ним. Но с самого начала все шло хорошо, Елена сумела сделать маму веселой, даже игривой, ей удалось заставить ее рассказывать о своей жизни совершенно по-новому. Все вместе они много смеялись. Роза хохотала, она дух перевести не могла от колоссального облегчения и благодарности. Да и потом, когда Елена приходила, мама не уставала вспоминать о давным-давно минувших событиях, но вовсе не о тех историях, которые ее дочь слышала столько раз. То, что она рассказывала, внезапно обрело краски, все ее встречи и странствия, ее разочарования и удачи в работе и любви стали убедительными и такими живыми. Это Елена придала им жизнь, Елена, что нашла к маме подход, развлекая ее с чуть небрежной улыбкой, означавшей взаимное понимание. Елена была волшебницей, умевшей извлекать что угодно из своей шляпы. Если только хотела. Но теперь она убрала шляпу на полку и больше не приходила.

— Лучше мне держаться подальше, — сказала Елена. — Что она, собственно говоря, знает?

— Ничего. Она ничего не знает о подобных вещах. Но она разочарована тем, что ты больше не приходишь.

Елена, пожав плечами, ответила, что весь ее запас исчерпан и она не любит повторяться. А когда она была у них в последний раз, все получилось как-то нелепо. Роза знала, что произошло.

Они сидели на диване и смотрели телевизор, а когда экран погас продолжали сидеть друг с другом рядом. И внезапно тишина стала чересчур напряженной. Ничего общего с передачей она не имела, то был совершенно обычный сюжет о болотных птицах. Елена выпрямилась, а ее рука за маминой спиной ошупью искала руку Розы. Роза отпрянула. Тогда Елена положила руку на мамино плечо.

— Птицы, — медленно произнесла она, — огромное болото, где нет ни души, миля за милей вода, и тростник, и птицы, о которых мы ничего не знаем и которые ничего общего с нами не имеют. Разве это не странно?!

Мама сидела очень тихо. Потом поднялась и сказала:

— Знаешь, ты какая-то наэлектризованная. Руки у тебя — электрические.

И засмеялась на свой особый лад — захихикала. Роза, почувствовав, что покраснела, разглядывала их обеих: Елену, откинувшуюся с улыбкой на спинку дивана, и маму, которая стоя смотрела на Елену через плечо. Собственно говоря, ничего не произошло, вообще ничего, лишь взаимный интерес стал слишком сильным и напряженным... Елена сразу же после этого ушла.

«Я должна подарить маме это путешествие. Я должна спешить, вскоре времени на это уже не будет. Я должна найти единственное место, самое лучшее место, вселяющее покой и восхищение, место, достаточно далекое, чтобы быть настоящим путешествием, но не слишком отдаленное, на случай, если она заболит. Мне надо вовремя забронировать отель и попытаться получить отпуск в банке. Там не должно быть слишком жарко, надо разузнать про климат. Ехать поездом очень напряженно, самолет опасен для старых людей, у них может быть плохо с сердцем при посадке. Если посадка, будет слишком жесткая...»

— Елена, ты бывала в таком месте, которое называется Гафса?

— Боже упаси! Что это за место? Она хочет туда?

— Она и сама не знает... Она что-то сказала о каком-то месте в Северной Африке, которое называется Гафса.

— Бедная маленькая мышка, — пожалела Розу Елена, — неужели ты ждешь, чтоб я спланировала ваше путешествие? Я, наверное, испугаю тебя? Я просила стипендию на поездку и теперь, похоже, получу ее.

Она, не отрывая взгляда, смотрела на Розу и наконец произнесла:

— У тебя лицо сжимается. Ничто не может сделать его таким маленьким и серым, как необходимость выбрать и принимать решения.

— Но у нас ведь есть время, масса времени, — пробормотала Роза.

Елена ответила:

— Не будь так уверена...

Затем она легко и беззаботно заговорила о совершенно других вещах, она как бы спряталась от опасности и отрешилась от нее, передав своей подруге. Станный подарок!

\* \* \*

В то воскресенье, на переломе зимы, мама читала лежа, как бы путешествуя вдоль берега Южной Америки.

— Флорианополис, — читала она. — Рио-Гранде, Сан-Педро, Монтевидео. Там течет река Рио-де-Плата... Сант-Антонио... — Она шептала эти названия.

— Послушай-ка, — сказала Роза. — Что ты знаешь об этих местах? Ничего! Вообще ничего! Неужели у тебя нет ни малейшего желания почитать о них, узнать побольше? Почему ты никогда не читаешь о путешествиях? Все время ты тратишь лишь на книги о бесконечных убийствах.

В голосе ее звучала злоба, и она сама слышала это.

— Право, не знаю, — ответила мама. — Там такие красивые названия... Возможно, мне нравится лишь представлять себе, как выглядят эти места... А книги об убийствах... Знаешь, они так успокаивают. И мне интересно, когда я пытаюсь вычислить убийцу, прежде чем сам автор раскроет карты. — Хихикнув, она добавила: — Правда, иногда я заглядываю в конец книги. Невероятно, сколько хлопот они причиняют себе, чтобы одурачить читателя. Большею частью очень интересно. Но я знаю, куда я хочу. Можно было бы поехать в Гафсу.

И, словно мощная гигантская волна, нахлынула на нее любовь к маме, совершенно беспомощной. Она сказала:

— Мы поедem! Поедем куда-нибудь! Поедем сейчас! Но ты абсолютно уверена, что хочешь именно в Гафсу?

Мама сняла очки и улыбнулась.

— Роза, — сказала она, — ты не должна так печалиться. Иди сюда! Тебя, как в той сказке, бросили одну-одинешеньку в лесу?

Они разыграли свою обычную игру. Она как можно ближе прижалась лицом к маминой шее.

— Да, меня бросили в лесу.

— А кто-то найдет тебя?

— Да, кто-то найдет меня.

И все время мамины руки ласкали ее затылок. Внезапно прикосновения этих рук стали невыносимы, вспыхнув, она вырвалась, но не произнесла ни слова. Мама снова взяла географический атлас и слегка повернулась к стене

В два часа дня они поели: на обед была воскресная курица с овощами.

\* \* \*

Она спустилась к телефонной будке и позвонила.

— Можно прийти?

— Ну приходи! Только предупреждаю, я не в настроении. Ты знаешь, я ненавижу воскресенье!

Каждый раз, когда Роза входила в эту пустую неуютную комнату, ее била дрожь ожидания, беспокойства, казалось, она рискнула ступить на ничейную землю, где можно ожидать чего угодно. В комнате никого не было.

— Привет! — поздоровалась Елена, стоя в дверях кухни, в руках она держала два стакана. — По-моему, спиртное понадобится. Почему ты в плаще? Тебе холодно?

— Здесь чуточку холодно. Я сниму его попозже. — Роза взяла стакан и села.

— Ну, маленькая мышка подумала?

— О чем ты?

— О! Ни о чем, — ответила Елена. — За великое путешествие!

Роза выпила, не произнеся ни слова.

— Когда ты так сидишь, — продолжала Елена, — на самом краю стула и в плаще, ты похожа на пассажирку, а то и вовсе на багаж на железнодорожной станции. Когда отходит поезд? Или вы летите?

Она кинулась на кровать и закрыла глаза.

— Воскресенья, — сказала она. — Ненавижу их. Есть у тебя сигареты?

Роза бросила свою пачку сигарет, и это был жесткий бросок. Пачка угодила Елене прямо в лицо.

— Во-от как, — протянула Елена, не шелохнувшись, — во-от как, мышка может и рассердиться. Ну а как насчет зажигалки? Попробуй еще разок!

— Ты знаешь, — воскликнула Роза, — ты очень хорошо знаешь, что я не могу уехать и оставить ее одну! Это исключено. Мы достаточно говорили об этом. Нет никого, кто мог бы пожить у нее, пока меня не будет. Я не могу впустить к ней чужого человека!

— Хорошо, хорошо, — сказала Елена. — О'кей. Все ясно. Она не может держать у себя чужого человека. Она может только с тобой! Все ясно.

Роза поднялась.

— Ну, я пойду, — сказала она, чего-то ожидая...

Елена по-прежнему лежала, глядя в потолок, с незажженной сигаретой во рту. Где-то в доме играли на пианино, звуки доносились совсем слабо, едва-едва. Там всегда играли по воскресеньям, и всегда опереточные мелодии. Она подошла к кровати и щелкнула своей зажигалкой.

— Я все же пойду, — повторила она.

Елена подняла голову и, опершись на локоть, зажгла сигарету.

— Как хочешь, — ответила она. — Здесь не так уж весело.

Роза спросила:

— Налить тебе?

— Да, спасибо!

Она взяла стакан на кухне. Здесь не было занавесок, никакой мебели, все было только белым. Стоя посреди кухни, Роза почувствовала, что ее тошнит, у нее появилось ощущение нависающей катастрофы. Что-то противное надвигалось на нее, что-то неотвратимое. «Я не справляюсь с этим... Никому с этим не справиться. Но я ведь ничего не обещала, вообще ничего, ведь это была только игра, просто слова, Елене следовало бы понять, что это несерьезно... Я никуда не поеду! Ни с кем...»

— Что с тобой? — спросила рядом с ней Елена.

— Мне плохо. Меня, кажется, сейчас вырвет!

— Вот раковина, — сказала Елена. — Наклонись... Попробуй! Сунь пальцы в рот. — Ее сильные руки сжимали лоб Розы, и она повторяла: — Делай, как я говорю. Пусть тебя вырвет, может, тогда с тобой можно будет поговорить.

Потом она сказала:

— Сядь здесь. Ты боишься меня?

— Я боюсь разочаровать тебя!

— Единственное, чего ты в самом деле боишься, — это того, что ты виновата. Всю твою жизнь во всем виновата ты, и поэтому с тобой никогда не бывает весело. Я не хочу никуда с тобой ехать до тех пор, пока ты думаешь, что должна быть где-то в другом месте. И твоя мама тоже этого не хочет.

Роза ответила:

— Она не знает, каково мне.

— Конечно, знает. Она не глупа. Она пытается отпустить тебя на волю, но ты приклеиваешься накрепко и купаешься в собственной совести. Чего ты хочешь?

Роза не ответила.

— Я знаю, — сказала Елена. — Охотней всего ты поехала бы со мной вдвоем, и, как ни беспросветно было бы это путешествие, ты осталась бы довольна, потому что в этом не было бы твоей вины. Не правда ли? Ты была бы спокойна.

— Но ведь так не получается, — прошептала Роза.

— Нет. Так не получится.

Елена ходила взад-вперед по кухне; в конце концов она остановилась за спиной у Розы и, положив руки ей на плечи, спросила:

— Чего ты больше всего хочешь именно сейчас? Подумай!

— Не знаю!

— Не знаешь. Тогда я скажу тебе, чего ты хочешь. Ты хочешь поехать с мамой на Канарские острова. Там тепло и в меру экзотично. Врачи там доступны. И завтра ты пойдешь и забронируешь места в отеле.

Роза возразила:

— Но самолет...

— Он благополучно сядет, она наверняка выдержит. А теперь иди домой! Скажи ей об этом!



Елена увидела, как лицо сидящей перед ней разглаживается от неслыханного облегчения, оно стало почти красивым. Отпрянув, она сказала:

— Не надо благодарности. Ты — мышка. Можешь теперь потанцевать на столе. Но хотя бы радуйся, пока танцуешь.

— А потом?! — воскликнула Роза. — А что потом?

— Не знаю, — ответила Елена. — Откуда нам знать, как все у нас сложится?! Некоторые королевы правят очень долго.

# Путешествие налегке (1987)

*Посвящается Туути<sup>[55]</sup>.*

## Переписка {31}

*Дорогая Янссон-сан,*

пишет Вам девочка из Японии.  
Мне тринадцать лет и два месяца,  
восемнадцатого января исполнится  
четырнадцать.  
У меня есть мама и две младшие сестренки.  
Я прочла все, что Вы написали,  
а потом читала еще раз  
и думала про снег и одиночество.  
Токио очень большой город.  
Я учу английский и очень стараюсь.  
Я люблю Вас и мечтаю  
стать такой же старой и мудрой,  
как Вы.  
Посылаю Вам одно хайку на японском  
про цветы сакуры.  
Вы живете в лесу?  
Извините, что пишу Вам.  
Желаю Вам здоровья и долгой жизни.  
*Тамико Атсуми*

*Дорогая Янссон-сан!*

Прошлый день рожденья был для меня  
очень важным.  
Ваш подарок мне очень дорог.  
Все любят Вашим подарком и картиной  
с маленьким островом,  
на котором Вы живете.  
Она висит над моей кроватью.

Сколько одиноких островов в Финляндии?  
Могут ли все, кто хочет, на них поселиться?  
Я хочу жить на острове.  
Я люблю одинокие острова,  
люблю цветы и снег,  
но описать все это Вам не сумею.  
Я учусь очень прилежно.  
Я читаю Ваши книги на английском.  
На японском Ваши книги на них не похожи.  
Почему они совсем разные?  
Я думаю, что Вы счастливы.  
Берегите хорошенько свое здоровье.  
Желаю Вам долгой жизни.  
*Тамико Атсуми*

### *Дорогая Янссон-сан!*

Вот уже целых пять месяцев и девять дней,  
как я жду от Вас весточки.  
Получили ли Вы мои письма?  
Получили ли мои подарки?  
Я по Вам скучаю.  
Я стараюсь хорошо учиться.  
Хочу рассказать Вам про свою мечту.  
Я мечтаю увидеть чужие страны, говорить  
на их языках и понимать их.  
Я хочу говорить с Вами,  
хочу, чтобы Вы говорили со мной.  
Чтобы Вы рассказали, что чувствуешь,  
когда вокруг нет домов,  
а на дорогах не видно людей.  
Я хочу понять, как можно писать про снег.  
Хочу сидеть у Ваших ног и учиться у Вас.  
Я собираю деньги на поездку.  
Посылаю Вам еще одно хайку  
про очень старую женщину,

которая видит далекие синие горы.  
Она не видела их, когда была молодая,  
а теперь ей до них не добраться.  
Это очень красивое хайку.  
Берегите свое здоровье.  
*Тамико*

***Дорогая Янссон-сан,***

Вы отправились в далекое путешествие,  
Вас не было дома целых шесть месяцев.  
Я думаю, Вы уже возвратились домой.  
Куда Вы ездили, Янссон-сан?  
И чему научились в этой поездке?  
Быть может, Вы взяли с собой кимоно?  
Оно цвета осени, а осень — пора путешествий.  
Вы писали, что время летит очень быстро,  
но, когда я думаю о Вас,  
оно тянется медленно.  
Я хочу стать старой и мудрой, как Вы.  
Ваши письма я храню в тайнике,  
в красивой шкатулке,  
и читаю их, когда солнце садится.  
*Тамико*

***Милая Янссон-сан,***

значит, вовсе не обязательно быть старой,  
чтобы писать рассказ о том,  
что знаешь, что чувствуешь,  
о чем мечтаешь, чего ждешь.  
О милая Янссон-сан, стало быть,  
когда пишешь рассказ,  
не надо думать о том, что считают другие,  
надо оставаться наедине со своим рассказом

и чувствовать себя по-настоящему одинокой.  
Теперь я поняла, что значит  
любить того, кто от тебя далеко,  
и поспешу написать об этом.  
Вот еще одно хайку, оно про ручей,  
который так радуется весне,  
что всем становится весело.  
Перевести его я не успею.  
Напишите, когда мне приехать.  
Деньги я накопила и надеюсь,  
что на поездку мне дадут стипендию.  
Какой у вас самый красивый месяц,  
для нашей встречи?  
*Тамико*

*Дорогая Янссон-сан,*

спасибо за короткое письмо.  
Я поняла, что лес в Финляндии  
очень большой и море большое,  
а Ваш дом очень маленький.  
Это красивая мысль, что с писателем  
нужно встречаться лишь в его книгах.  
Я все время учусь. Желаю Вам долгой жизни.  
*Ваша Тамико Атсуми*

*Моя Янссон-сан,*

сегодня весь день шел снег,  
я научилась писать про него.  
Сегодня умерла моя мама.  
В Японии, когда становишься старшей в семье,  
из дома нельзя уезжать, да я и сама не хочу.  
Надеюсь, Вы поймете меня, Янссон-сан.  
Спасибо Вам.

Шлю Вам стихотворение Лан Ши Юаня<sup>[56]</sup>,  
великого древнего китайского поэта.  
На Ваш язык его перевели Альф Хенрикссон и Ван Тэу Йи:  
«Ветры плухие доносят резкие крики  
диких гусей.  
Сколько снега вокруг! А небо холодное, серое.  
Что могу я тебе подарить на прощанье?  
Только синие горы, но они будут вечно с тобой».  
*Тамико*

Когда мы подошли к дому и Юнне увидел целый парк личных автомобилей, стоявших у бабушкиного подъезда, он тут же заявил, что следовало бы надеть темный костюм.

— Дорогой, не плути, — сказала я, — спокойнее... Бабушка вовсе не такая, как ты думаешь. Люди приходят к ней и в вельветовых брюках, и в чем угодно, она обожает богему.

— Вот именно, — ответил Юнне, — но я ведь не богема, я совершенно обыкновенный, я не имею права надевать вельветовые брюки на чье-либо восьмидесятилетие. Тем более что в первый раз с ней встречаюсь.

Я говорю ему:

— Мы распакуем подарок перед тем, как войти. Бабушка любит сама открывать их только на Рождество.

С подарком было не так-то легко! Бабушка звонит мне и советует:

— Детка, ты, верно, приведешь с собой твоего парня, чтобы показать его мне, но не вздумай покупать какой-нибудь ненужный и дорогой подарок. У меня сейчас есть в основном все, что мне нужно, а кроме того, вкус у меня гораздо лучше, чем у большинства моих потомков. И я не желаю оставлять слишком много хлама после смерти. Придумайте что-нибудь совсем простое, но с любовью. Только не вздумайте искать что-либо, имеющее отношение к искусству, вам это не по плечу.

Мы прикидывали и так, и этак. Бабушка полагает, что она — идеал терпимости, но при этом она отягощает родственников столь неприятными желаниями, что выполнить их на самом деле совсем не легко. Ведь вроде было бы так просто купить, например, чашу из толстого стекла, но нет: это значило бы, что ты буржуазна, да и подарок твой принесен вовсе не с любовью... Естественно, я кое-что рассказывала Юнне о бабушке и о ее картинах тоже; и он чувствует себя польщенным. Один из бабушкиных ранних эскизов висит у нас



дома, он из Сан-Гвимиignano, куда бабушка прикатила на свою первую стипендию, стало быть, прежде, чем прославилась своими рисунками с изображениями деревьев. Она часто говорила о Сан-Гвимиignano. И мне до сих пор хочется слушать ее рассказы о том, как счастлива она была именно в этом маленьком итальянском городке с его башнями, как ощущала себя сильной и свободной, когда просыпалась на восходе солнца, чтобы приняться за работу, а некая юная синьорина везла по городу свою тележку с овощами. Бабушка открывала окошко и указывала пальцем на нужные ей овощи. Они превосходно понимали друг друга, и было тепло и ужасно дешево, а потом бабушка выходила из дома с мольбертом...

Юнне тоже понравился этот рассказ. И легко представить себе, что случилось потом. Юнне абсолютно самостоятельно отправился в лавку, где продавали разнообразные товары, и нашел там картины с видами Сан-Гвимиignano. И вот у нас в руках подарок для бабушки! В магазине ему сказали, что это литография начала девятнадцатого века. Мы не сочли это чем-то выдающимся, но во всяком случае...

— Юнне, — сказала я, — а теперь пойдём. Будь просто самим собой — она это обожает.

В дверях бабушкиной мастерской толпился длинный ряд поздравителей, несколько молоденьких кузин сновали взад-вперед, принимая верхнюю одежду. Мало-помалу мы тоже прошлюзовались в большую просторную комнату, роскошно декорированную и убранную бабушкиными помощниками. Заметив ее, я зарулила в нужную сторону, поспешно сжав руку Юнне, чтобы успокоить его. Где-то на заднем фоне играла музыка, отнюдь не классическая, но, возможно, специально подобранная и столь элитарная, что лишь в скрытой форме отражала неординарность бабушкиной личности.

Мы направились к ней. Она была одета со свойственной ей сознательно-нарочитой *ponchalance*, а седые волосы легкими, как бы случайными, локонами обрамляли серьезное лицо с очень ясными и насмешливыми глазами, лицо, которое приняло учтивое выражение.

— Это Юнне, — представила я. — Юнне, это бабушка!

— Добро пожаловать, — сказала она. — Финн, не правда ли? — продолжала бабушка, окидывая Юнне нежным взглядом. — Как же ты справишься со старинным закоснелым родом, где болтают только по-шведски? Ну а... вы женаты или нет? Все в порядке?

— Все в порядке, да не совсем, — храбро ответил Юнне, и бабушка засмеялась. Я поняла, что он пришелся ей по душе.

Она спросила:

— Ну, а где же ваши подарки?

Она долго рассматривала картину с видом Сан-Гвимиignano и в конце концов заметила, что «верно, вы в самом деле постарались», и тут же с молниеносной улыбкой добавила:

— Я писала на эту же тему. Только лучше. — С легким жестом, заключавшим в себе и окончание аудиенции, и тайное взаимопонимание, она отправилась дальше.

В большой комнате доминировал бабушкин стол для моделей — подиум, прикрытый барселонской парчой и в изобилии уставленный разными яствами, начиная от оливок и кончая тортом со взбитыми сливками. Младшие бабушкины потомки бегали вокруг с цветочными вазами, которые еще утром наполняли водой. Гости толпились группками, бурно беседуя между собой, и каждому подносили бокал шампанского. А над всем этим, словно картина Шагала, проплывала бабушка; как своего рода нежданная радость, она приходила и уходила, вкрапляя то тут, то там свои маленькие афоризмы. Но я заметила, что она остерегалась представлять гостей друг другу. Ни малейшего намека на скверную память. Представьте друг другу сами, дорогие друзья! Смогу ли я когда-нибудь держаться так же свободно, как бабушка?!

Через всю мастерскую все время с криками пробегали дети. Но, казалось, это ничуть не раздражало бабушку, она очень спокойно советовала матерям позаботиться о том, чтобы дети не причиняли особого беспокойства. Мы с Юнне опустились за стол, где уже сидело множество гостей, и слишком поздно заметили, что ошиблись: этот стол был предназначен для тех, кого бабушка называет «интеллектуалы» и кто общается исключительно друг с другом. Чем они занимались, я не знала. Я отчаянно пыталась хоть что-нибудь сказать и наконец после долгого молчания, обратившись к господину с эспаньолкой, произнесла:

— Как необыкновенно красиво освещена мастерская вечером!

К моему величайшему облегчению, господин с эспаньолкой заговорил о значении света, затем перешел к идее ощущения, но прошло довольно много времени, пока я поняла, что он искусствовед.

К счастью, он не рассчитывал более чем на одного слушателя, а я задумчиво кивала, повторяя: «Ну конечно!», «О! Так и есть!» и иногда поглядывала на Юнне, сидевшего с несчастным видом напротив меня. Он притулился рядом с одним из тех гениев, которые только и делают, что молчат, и ни на йоту тебе не помогут. Во всяком случае, я немного гордилась тем, что мой Юнне принят в клан отпрысков художественно одаренных натур, да еще в клан, где порой демонстрируют парад слабоумия.

Однако он вскоре сумел спастись и, пересев ко мне, прошипел прямо в ухо:

— Пошли домой?

— Да, — ответила я, — скоро пойдем.

И вот тут-то вошли они — трое господ, мужчин неопределенной внешности. Они производили впечатление какой-то неряшливости — перепачканная одежда, была вся в пятнах. Но совершенно точно они не принадлежали к богеме, хотя, разумеется, волосы у них были длинные, но скорее такие, как обычно бывают у людей среднего возраста. Они устроили целый спектакль из своего появления, отвесив глубокий поклон бабушке и поцеловав ей руку. Она сопроводила их к незанятому столу далеко у окна, и каждому из них подали по бокалу шампанского. Вскоре один из бокалов очутился на полу, разбившись вдребезги, бабушка же только слегка улыбнулась, хотя я-то знала, как тревожилась она именно за эти бокалы, — по-моему, бокалы были еще свадебные. Принесли снова кофе и снова пирожных, но вновь прибывшим господам по-прежнему подавали шампанское. Я увидела, что Юнне, пробираясь вдоль стен, прилежно разглядывал все, что там висит, пока не приблизился к столу, где сидели вновь прибывшие. Ведь он, мой дорогой Юнне, не понимал, что это стол неудачников. Как бы там ни было, он, казалось, наконец-то там прижился.

Один из этих господ подошел к столику, где стояло виски, и прихватил с собой целую непечатую бутылку. На обратном пути он делал глубокие реверансы и отвешивал поклоны бабушке, но, возможно, улыбка ее на сей раз производила впечатление усталой.

Мой же искусствовед, немного переместившись за столом, оживленно болтал — кажется, речь по-прежнему шла об идее ощущения. Я поднялась и незаметно подошла к Юнне, меня удручало,

что приходится слушать о вещах, которых я по-настоящему не понимала или до которых мне не было дела.

Один из вновь пришедших господ, тот, у которого были седые обвислые усы, поднял свой бокал и изрек нечто:

— И вот, стало быть, он пишет так же непонятно, как пишет Юксу, черт побери!

— Верно, — согласился Юксу. — И всего лишь семь сантиметров.

— Ты измерял?

— Да, я взял сантиметр и измерил. Точь-в-точь семь сантиметров, словно покупаешь гороховый суп в пакете. Ты точно знаешь, что купил, и никакой картины. Но эти неопиты, по крайней мере, пишут картины.

Третий господин произнес:

— Он, пожалуй, так стар, что подлизывается к молодым.

— Да, точно, черт возьми!

— Но всего в этой жизни не получишь, — сказал тот, что с усами.

— Нет!

Они продолжали беседовать, спокойно и вдумчиво, казалось, они привыкли так беседовать между собой, но спорить больше не желали. Они просто излагали факты. Например, они ни слова не говорили об искусстве, разговор касался больше повышения платы за квартиру, того или иного конкурса, результат которого оказался несправедливым, хотя ведь нечего и ожидать, что...

Но когда бабушка, очаровательно совершая свой очередной обход гостей, оказывалась поблизости, они оживлялись и преисполнялись учтивости, словно настоящие кавалеры. Юнне не произносил ни слова, но я видела, что ему необычайно интересно. Ни один из них не обращал на нас особого внимания, но они следили за тем, чтобы наши стаканы то и дело наполнялись, и любезно предоставили мне место чуть поближе к столу. Их манера вести разговор вселяла спокойствие. Мы сидели словно на мирном заповедном острове, никто из них не спрашивал, чем мы занимаемся, они позволили нам сохранять анонимность. Праздник вокруг нас был уже в полном разгаре, и в комнате казалось совсем сумеречно. Дети исчезли. Вдруг кто-то зажег люстру, и тут же внесли пироги. Тот, кого звали Юксу, поднялся, мы все вместе встали и, так уж это получилось, вышли в прихожую

сплоченной группкой, а после бесконечных реверансов, почтительных поклонов и откровенных любезностей в адрес бабушки спустились на лифте вниз. Но она успела мне шепнуть:

— Не приглашай их! Их трое, а у вас нет денег. Хотя она наверняка видела, что ее бутылка виски спрятана у Юксу под пальто.

## II

Когда мы вышли на улицу, было холодно. И ужасно тихо. Ни машин, ни людей, лишь этот поразительный полусвет, что несет с собой весенняя ночь. После довольно долгого молчания мы представились друг другу. Их звали Кеке и Юксу, а того, что с усами, — Вильхельм.

— Пройдемся, — предложил он. — Спустимся вниз. Но не в наше обычное место!

— Нет, — возразил Кеке. — Там теперь неуютно. Пойдем присядем где-нибудь, а потом посмотрим.

Обратившись ко мне, он на редкость дружелюбно спросил:

— Вы давно живете вместе?

— Два месяца, — ответила я. — Вернее, почти два с половиной.

— И вам хорошо?

— Да, ужасно хорошо!

Вильхельм сказал:

— Пойдем на наше обычное место. Там есть газеты.

Это место находилось за прибрежными утесами, внизу, в гавани. Мы все взяли по газете из мусорного ящика и усадились рядом на краю набережной. Рыночная площадь была совершенно пуста.

— А теперь примем по маленькой, — обратился Юксу к Юнне. — Но пусть твоя жена нас извинит, стаканов у нас нет. Ты не очень-то многословен. Тебе хорошо?

— Ужасно хорошо, — ответил Юнне.

У меня появилось ощущение, что ему следовало бы остаться с ними наедине, без меня. Обратившись к Вильхельму, я вежливо заметила:

— Здесь действительно уютно. Как прекрасно быть с людьми, которые ничего не принимают слишком серьезно.

— Ты очень молода, — ответил Вильхельм. — Но у тебя чудесная бабушка!

Мы выпили все вместе, и вдруг Юнне довольно бойко разговорился:

— Я слышал, что вы там говорили: нельзя ожидать всего в этой жизни. И все же надо ждать, я имею в виду ждать чего-то невероятного — от себя самого и от других. Надо целиться высоко, ведь падать вниз всегда немного дольше, если вы понимаете, что я имею в виду, — как стрела из лука...

— Ясно, абсолютно ясно, — успокоил его Кеке. — Ты абсолютно прав. Посмотри, они входят в гавань. Я люблю лодки.

Мы снова выпили немного виски и стали рассматривать рыбацьи лодки, что медленно причаливали к набережной. Подошли двое приятелей наших новых знакомых. Манеры у них были явно светские.

— Привет, Кеке! — поздоровался один из них. — Извини, я вижу, у вас гости. Сигарет не найдется?

Получив по одной, они отправились дальше. Высоко высоко в весеннем небе, словно белоснежная мачта, покоилась над пустынной площадью церковь Стурчюркан<sup>[57]</sup>. Хельсингфорс был неописуемо красив, никогда прежде я не видела, как красив этот город.

— Церковь Святого Николая, — сказал Юксу. — Всего им надо переименовать. Стурчюркан — вот идиотство! Это название ни о чем не говорит.

Он дал пустой бутылке соскользнуть в воду и упомянул мимоходом, что они не могут больше писать настоящие стихи.

Теперь ночь казалась уже такой темной, какой она может быть в мае, и никакие фонари ей вовсе не нужны.

— Объясни мне, — попросила я, — что подразумевается под ощущением?

— Наблюдательность, — ответил Вильхельм, — то, что внезапно видишь, и тебе вдруг приходит в голову какая-то старая идея. Или даже новая.

— Да, — подтвердил Кеке. — Новая!

Мне показалось, что стало холодно, и, внезапно рассердившись, я сказала, что восьмидесятилетие — это абсолютно дурацкий праздник.

— Дружок, — произнес Вильхельм. — Праздник был настоящий и по-своему красивый, но он уже кончился. Остались теперь только

мы, что сидим тут и пытаемся размышлять.

— О чем? — спросил Юксу.

— О нас! Обо всем на свете!

— Как, по-твоему, о чем думает бабушка?

— Это никому не известно.

Вильхельм продолжал:

— А история с этими пятьюдесятью выставками в неделю! Да они ведь с ног сойдутся. Им ведь не успеть больше, чем молодым, этим дьяволам.

— Каким таким дьяволам? — спросила я.

— Критикам! Пятьдесят выставок в неделю.

— И никто больше ни о чем не спрашивает, — сказал Кеке. — Насмотрелись досыта. И своя критика была.

Он продолжал:

— Ниже спины замерз. Подвигаемся?

Когда мы пошли дальше вдоль берега, он дружески спросил, чего я хочу от жизни.

Немного поколебавшись, я ответила:

— Любви! Может быть, верности...

— Да, — сказал он, — вот это правильно. В известном смысле. Для тебя, по крайней мере.

— И путешествовать, — добавила я. — У меня такое желание — путешествовать.

Кеке ненадолго замолчал, а потом произнес:

— Желание! Как видишь, я жил довольно долго, стало быть, работал тоже довольно много. Это одно и то же. И знаешь, во всем этом спектакле, именуемом жизнью, единственное по-настоящему важное — желание. Оно приходит и уходит. Сначала получаешь его бесплатно и не понимаешь, что это, только расточительствуешь. А потом оно становится чем-то, за что испытываешь страх.

Было ужасно холодно, Кеке шел слишком медленно, и я замерзла. Затем он сказал:

— Целиком картину трудно увидеть. По-моему, сигареты кончились.

— Вовсе нет, — возразил Юксу. — Вот «Филипп Моррис», бабушка сунула их мне в карман. Она свое дело знает.

Кеке перешел к остальным, они зажгли свои сигареты и так же медленно продолжили путь.

Мы с Юнне шли за ними, и я шепнула ему:

— Ты устал от всего этого? Не пойти ли нам домой?

— Тихо, — попросил он. — Я хочу послушать, о чем они говорят.

— Давай, Вильхельм, начинай, — сказал Кеке.

— Его глина... — произнес Вильхельм. — Она досталась дилетанту. Ничтожному выскочке. Не прошло и двух дней со дня его смерти, как явилось это дерьмо и скупило всю глину у вдовы за бесценнок. А покойный был стар, подумать только, какая глина!

— Юнне, подожди немного, — попросила я, — мне в туфлю попал песок.

Но он пошел дальше, к ним. Когда они вернулись обратно, Юнне поспешно рассказал, что глина все время оживает, все больше и больше. Для каждого скульптора это всегда одна и та же глина, и ее постоянно надо держать влажной, а новая глина совершенно не такая, она не живет...

Я спросила, кто из них, собственно говоря, скульптор, но он не знал.

Он был очень разгорячен и спрашивал, нет ли у нас чего-нибудь дома, чего-нибудь, чтобы их пригласить.

— Ведь еще не очень поздно, — добавил Юнне, — а с ними нам никогда больше не встретиться, для меня это важно.

Я знала, что многого предложить мы не в состоянии, и Юнне тоже очень хорошо это знал. Немного анчоусов, и хлеб, и масло, и сыр, но всего лишь одна бутылка красного вина.

— Все будет хорошо, — сказал Юнне, — если мы только сделаем вид, будто пьем, пожалуй, им тогда хватит, как по-твоему? Да и дом наш как раз за углом.

— Ладно, — согласилась я, и он засмеялся,

В Бруннспарке<sup>[58]</sup> было очень красиво, все росло и распускалось.

Вдруг усталость с меня как рукой сняло, я только знала, что Юнне наконец рад.

Мы все остановились перед высокой черемухой. Она стояла в полном цвету и светилась, белая как мел, в весенней ночи. Пока я рассматривала дерево, меня вдруг осенило, что я не любила Юнне, как могла бы его любить... абсолютно.



Взглянув на меня, Кеке сказал:

— Она годится на подарок, но это ровно ничего не значит.

Я не поняла его. Мы пошли дальше. Он сказал:

— Собственно говоря, твоя бабушка ничего не рисовала, кроме деревьев, и как раз деревьев из этого самого парка. В конце концов она постигла дерево, идею дерева. Она очень сильная. Она никогда не теряла своих желаний.

Естественно, я питала колоссальное уважение к тем, кто только и делал, что искал свои утраченные желания и не интересовался ничем другим, но одновременно я беспокоилась, хватит ли кофе и убрано ли дома. Думала я и о том, что висело у нас на стенах, может статься, наши картины совершенно ужасны, они нечто, что всего лишь нравится глазу, но чего совершенно не понимаешь. Кеке подошел ко мне и спросил, не мерзну ли я.

— Нет, — ответила я, — надо только подняться вверх по этой улице, и мы уже пришли.

— Твоя бабушка, — спросил Кеке, — когда-нибудь говорила о своей работе?

— Нет, не говорила.

— Это хорошо, — сказал Кеке, — это хорошо. Хоть они и причислили ее к шестидесятникам, но она, во всяком случае, придерживается своего стиля. Ну вот что, дружок, как тебя, собственно говоря, зовут?

— Май! — ответила я.

— Знаешь ли ты, что именно тогда процветал повсюду формализм, все должны были делать все одинаково. — Поглядев на меня, он увидел, что я его не поняла. Он объяснил: — Формализм — это все равно что непонятно рисовать, один лишь цвет. Получилось так, что старые, очень хорошие художники затаились в своих мастерских и попытались рисовать точно так же, как молодые. Они были напуганы и пытались рисовать точь-в-точь как молодые. Кое у кого получалось кое-что, а кое-кто утратил самого себя и никогда так и не обрел вновь. Но твоя бабушка сохранила свой стиль, и он у нее остался, когда все рухнуло. Она была мужественна или, возможно, упряма.

Я сказала очень осторожно:

— Но, возможно, она не могла работать ни в одном стиле, кроме своего собственного?

— Замечательно! — воскликнул Кеке. — Ей всего-навсего пришлось... Ты утешаешь меня!

Мы были уже у ворот, и я попросила:

— А теперь не шумите, соседи у нас нудные. Юнне, пойд и достань из холодильника, ну, ты сам знаешь что!

Мы пришли домой, Юнне выставил на стол красное вино и стаканы, наши гости сели и продолжили беседу. Лампы мы не зажигали, достаточно было ночного света. Немного погодя Юнне упомянул, что у него есть кое-что для них, они могут взглянуть, и я поняла: он хочет продемонстрировать им модель своей лодки. Он занимался ею несколько лет, и каждая самая мелкая деталь была сделана им собственноручно. Они пошли в чулан, и Юнне зажег лампу на потолке. Я слышала их негромкую беседу, но не стала им мешать и приготовила кофе.

Спустя какое-то время Юнне появился в нашем уголке на кухне.

— Они сказали, что у меня есть желание, — прошептал он. — У меня есть идея! — Он был очень взволнован и продолжал: — Но это вовсе не их идея, это идея, которую многие ищут.

— Чудесно! — ответила я. — Возьми кофе, а я принесу остальное.

Когда я вошла к ним, Вильгельм говорил о цветущей черемухе, которую мы видели по дороге к дому. Он сказал:

— Что делать с таким явлением?

— Дать черемухе цвести! — решил Кеке. — А вот и наша красавица хозяйка! Не правда ли, надо дать ей цвести и восхищаться ею. В этом и есть смысл жизни! Попытаться изобрести его еще раз заново — совсем другое дело! Это — целая история!

Когда мы расстались с нашими гостями, Юнне молчал до тех пор, пока мы не легли спать. Тогда он произнес:

— Мое желание, быть может, не столь примечательно, но оно, во всяком случае, мое.

— Так оно и есть, — ответила я.

С самого начала было ясно, что никому в Баккене не понравился этот худенький, хмурый одиннадцатилетний парнишка. Вид у него был какой-то голодный, но жалости и естественного желания приласкать он почему-то не вызывал. Быть может, отчасти из-за того, как он смотрел на них на всех, вернее, наблюдал за ними пристальным, отнюдь не детским взглядом. Наглядевшись вдоволь, он, словно маленький старичок, произносил длинную витиеватую фразу. И надо же ребенку так задаваться!

Будь Элис из бедной семьи, было бы легче простить ему все это, но его дорогая одежда, шикарный чемодан и папина машина, на которой его привезли к парому, не свидетельствовали о бедности. Он приехал по объявлению, после разговора по телефону. Фредрикссоны взяли ребенка на лето по доброте душевной и, разумеется, за небольшую плату. Аксель и Ханна давно говорили о том, что городским детям нужны свежий воздух, лес, вода, здоровая пища, и вот наконец решили, что пора действовать. Им еще только предстояла подготовка к летнему сезону, большинство лодок еще лежало в сарае, некоторые из них нужно было привести в порядок.

Мальчик привез хозяйке букет роз.

— Ну к чему было беспокоиться! — воскликнула польщенная Ханна. — Это, поди, твоя мама, Элис, прислала?

— Нет, фру Фредрикссон, — ответил Элис. — Она замужем за другим. Это папа купил.

— Как любезно с его стороны. А что, подождать нас он не мог?

— К сожалению, не мог, у него важная конференция. Он велел передать вам привет.

— Вот как, понятно, — сказал Аксель Фредрикссон. — Тогда садитесь в лодку, поплывем домой. Ребятишки тебя ждут не дождутся. Какой у тебя шикарный чемодан!

Элис объяснил, что чемодан стоит восемьсот пятьдесят марок.

Лодка у Акселя была довольно большая, прочная рыбацкая моторка с кабиной, он построил ее сам. Парнишка не без опаски сел в лодку.

Как только его обдало брызгами, он ухватился за банку и зажмурился.

— Сбавь-ка скорость, слышишь! — велела Ханна мужу.

— Так ведь он может сидеть в кабине.

Но Элис не захотел уходить в кабину и за всю дорогуши разу не взглянул на море.

У причала их с нетерпением ждали ребята: Том, Освальд и малышка Камилла, которую в семье все звали Миа.

— Ну вот, — сказал Аксель, — это Элис, он ровесник Тому, будете играть вместе.

Элис ступил на мостки, подошел к Тому, подал ему руку, поклонился и представился:

— Элис Грэсбекк.

Столь же церемонно он представился Освальду, на Миу он только взглянул. Она отчаянно захихикала и закрыла рот руками. Они вошли в дом. Аксель нес чемодан, Ханна — корзину с покупками. Она поставила на плиту кофейник, бутерброды были уже готовы. Ребятишки уселись за стол и уставились на Элиса.

— Погодите налетать, — велела Ханна, — Элис — гость, пусть он первый и берет.

Элис привстал, слегка поклонился, взял бутерброд и сказал, что для этого времени года погода стоит необычайно жаркая. Дети продолжали, как замороженные, таращить на него глаза, а Миа спросила:

— Мама, отчего это он такой?

— Умолкни, — оборвала ее мать. — Элис, попробуй лосося. Мы в прошлый четверг поймали четыре штуки.

Он снова привстал и заявил, что удивляется, как это лосось еще водится в такой загрязненной воде. Потом сообщил, сколько лосось стоит в городе и кому по карману его покупать. Им всем как-то стало не но себе.

Вечером Том пошел прополоскать в море помойное ведро, Элис увязался за ним и принялся болтать без умолку про загрязненную воду, про асоциальных элементов, способствующих загрязнению всего земного шара.

— Он чокнутый, — заявил Том. — С ним и говорить-то нельзя. Он только и знает, что нести какую-то муть про загрязнения. Да еще

что почем.

— Уймись, — ответила мать, — он наш гость.

— Тоже мне гость! И чего он всюду таскается за мной?

И это была чистая правда. Куда бы Том ни шел, Элис плелся за ним: в лодочный сарай, на берег к сетям, к поленницам дров — словом, повсюду. И все время приставал к Тому с вопросами, например:

— Что это ты делаешь?

— Разве не видишь? Черпак, вычерпывать воду.

— А почему вы не купите пластмассовые ведерки?

— Еще чего! — презрительно ответил Том. — Черпаки удобнее.

Только делать их приходится долго, они должны иметь специальную форму.

Элис кивнул с серьезным видом:

— Понятно, да еще с орнаментом! Только жаль такую красивую вещь.

— Это почему?

— Ведь все равно мир погибнет, так и пластмассовые ведерки сошли бы!

И снова принялся болтать про атомную войну и еще бог знает про что — без умолку.

Элиса поселили в комнате Тома на чердачном этаже, над кухней, в маленькой комнатушке со скошенным потолком и видом на луг. По вечерам Элис аккуратно и нудно сворачивал и развешивал свою одежду, ставил ботинки ровненько, правый к левому, и заводил наручные часы.

— Послушай-ка, — сказал ему Том, — зачем это ты так стараешься? По-твоему, атомная война может начаться в любую минуту, ну хоть завтра утром. Ведь тогда все полетит к чертям, как огурцы Фриберга.

— Какие огурцы? — спросил Элис.

— Да это просто поговорка такая.

— Что за поговорка? Кто такой Фриберг?

— Ложись-ка спать, хватит придуриваться. Надоела твоя болтовня.

Элис повернулся к стене и замолчал, но Том знал, что он не спит, а продолжает думать о том же самом и долго не сможет молчать. И в

самом деле он затянул ту же унылую песню про отравленное море, загрязненный воздух, про разные войны, про тех, кто голодает, про тех, кто умирает, про то, что помочь всему этому никак нельзя.

Том сел на постели и сказал:

— Но ведь все это где-то далеко! Что с тобой, в самом деле?

— Не знаю, — ответил Элис и немного погодя добавил: — Не сердись на меня.

Наконец наступила тишина.

\* \* \*

Том привык, как старший брат, командовать Освальдом и Мией, так уж повелось. Но с одногодком Элисом ему было труднее. Он мог только злиться на него. Даже когда Элис хвалил его, ему это не нравилось. И потом, он был несправедлив. Взять хотя бы случай с поганкой. Том был тут ни при чем, птица сама застряла в сети, такое бывает. Он швырнул ее в полосу прибоа, а Элис устроил из-за этого целую историю.

— Этой птице пришлось долго мучиться, пока она не умерла, Том. Они могут нырять на несколько метров. Подумай только, каково ей было, как долго она пыталась задерживать дыхание...

— Ты спятил, — сказал Том, и настроение у него испортилось.

Или вот еще:

— Я знаю, что вы делаете с котятками, вы их топите. Вы даже не представляете себе...

И пошел-поехал. У Тома просто сил не было его слушать.

Элис похоронил поганку возле проселка на пожоге, где между пнями рос кипрей, только Элис и мог отыскать такое место. Он поставил там крест с номером. Крест номер один. Там появились и другие могилы — в них упокоились жертвы крысоловок, птицы, разбившиеся о стекла, отравленные полевки. Все они были молча похоронены и пронумерованы. Иногда Элис мимоходом упоминал про одинокие могилы, до которых никому нет дела. «А где, между прочим, тут у вас кладбище? Много у вас там похоронено родственников?»

Он ловко умел заставить всех чувствовать себя виноватыми. Иной раз достаточно ему было поглядеть на кого-нибудь печальными, по-

страшному недетски ми глазами, как тот тут же вспоминал о всех своих проступках.

Однажды, когда Элис особенно рьяно нагонял на всех тоску, Ханна оборвала его:

— Ты, Элис, я вижу, только и думаешь про мертвых и про тех, кому плохо.

— Я должен думать о них, — серьезно ответил он. — Ведь больше никому до них нет дела.

На мгновение Ханну охватило странное чувство, ей захотелось прижать этого ребенка к своей груди, но его строгий взгляд остановил ее. А после она подумала: «Я не должна быть такой жестокосердной, должна исправиться, стать добрее».

Но добрее к нему она не стала, потому что вскоре случилось нечто ужасное и непростительное. Элис обещал дать Мне три марки, если она покажет ему попку.

— Он хотел посмотреть, как я писаю, — сказала Миа.

Почти так же скверно с его стороны было спросить хозяина:

— Сколько тебе заплатят за меня?

— Ты это о чем?

— Сколько ты получишь за меня? За каждый месяц. По-черному? Я хочу сказать, налог ты, наверное, платить не будешь?

Аксель обменялся с женой взглядом и вышел из кухни.

Вдобавок ко всему у Элиса была удивительная способность находить разное выброшенное барахло. Он то и дело приносил и показывал Тому какую-нибудь сломанную вещь.

— Ты сумеешь это починить? Ведь ты можешь исправить что угодно. Погляди-ка, вот эта штука лежала под дождем и заплесневела. А ведь это была хорошая вещь.

— Выкинь ее! — отвечал Том. — Я люблю делать новые вещи, а не чинить сломанные.

Элис собирал разный хлам и складывал его рядом с кладбищем. Эта куча все росла, и Элис, казалось, гордился своей печальной коллекцией. Прежде они не замечали, сколько непригодного хлама валялось вокруг. А зоркий, критический взгляд Элиса подмечал все. Когда он смотрел на хозяев строгим немигающим взглядом, они вдруг замечали, что их рабочая одежда заляпана, а руки заскорузли от грязи.

Однажды Ханна сказала строго:

— Гляди-ка, Элис, лучше в тарелку, что опять задумался? Тебе надо нарастить малость мяса на костях, чтобы нам не стыдиться, когда папа приедет за тобой осенью.

— А вы сможете дотерпеть до осени? — спросил он и, когда никто не ответил, добавил: — Вы не экономите еду. Подумайте о тех, у кого ее вовсе нет. Жаль, что мне приходится это говорить, но я видел, что вы бросаете остатки в помойное ведро, а после выкидываете все это в море.

— Ну, с меня будет! — воскликнул Аксель и встал из-за стола. — Пойду попляжу, как там лодки.

Фредрикссоны и в самом деле были немного избалованы. Еду они ели только самую свежую, будь то мясо, рыба или испеченный Ханной хлеб. Поэтому многое из харчей летело, по их выражению, к чертям, как огурцы Фриберга. Элис это сразу же заметил. Он стал сам открывать холодильник и доставать то, что было уже несвежее и, стало быть, могло быть выброшено. Он спасал эти остатки, съедая их.

Нет, я не буду есть котлеты, спасибо. Доем лучше уху.

— Ха-ха! — смеялся Освальд, он все время поддразнивал старшего брата, который просто не выносил этого дачника. — Я пляжу, он у нас теперь вместо помойного ведра!

— Каждый ест что ему нравится, — оборвал его отец. — Не дело указывать гостю, что ему есть, и вообще, не принято говорить о том, кто что ест.

— Неправда, — ответил Элис. — Подумайте обо всех голодных.

Но закончить фразу он не успел. Аксель стукнул кулаком по столу и сказал:

— А ну замолчи! И вы все тоже молчите! Покоя в доме не стало.

Но за окном царили мир и покой. Погода стояла безветренная, шел мелкий летний дождь, на лугу цвели пышным цветом яблони. Том любил бродить по лесу и по берегу моря белыми ночами, но теперь у него пропало к этому всякое желание. Он знал, что за ним увяжется Элис.

— Мама, — сказал он, — как долго он у нас еще пробудет?

— Как приехал, так и уедет, — ответила Ханна. — Успокойся. Всеу свое время, не век же ему здесь жить.

Хуже всего было то, что Элис подкреплял свои высказывания неопровержимыми статистическими данными. Каждый день, слушая



радио, он собирал новые факты о всяких бедах или факты, подтверждавшие его прежние высказывания. Из всех программ его интересовали только новости. Иной раз он сопоставлял факты о случившихся катастрофах со своими фантазиями о том, что случится в ожидающем их ужасном будущем, и просто изводил этим Тома.

От Элиса можно было ждать только плохих новостей. У Фредрикссонов была больная бабушка, она лежала в городской клинике. Один раз Элис вбежал в дом и сказал:

— Она только что умерла.

Оказалось, речь шла не о бабушке, а об одноногой вороне, за которой Элис ухаживал целую неделю.

Когда Ханна собралась поехать на автобусе навестить бабушку, Элис увязался за ней. Ханна согласилась. Мол, он жалостливый, печется обо всех, кому плохо.

Но во второй раз ему ехать не довелось. Бабушке не понравились его охи и вздохи. Он горестно покачал головой, пожал ей руку, словно хотел сказать последнее прости. Когда он вышел на минутку, бабушка сердито сказала:

— Что за несносного мальчишку ты притащила с собой?

Волей-неволей Элис повлиял на всех в доме, они немного побаивались его. Аксель больше не курил за столом после еды, а сразу отправлялся в лодочный сарай. Один раз он чуть не поперхнулся ухой, когда Элис спросил про его годовой доход и о политических взглядах. Маленькая Миа была еще глупа и не понимала, в чем дело, но, чувствуя какую-то перемену в доме, стала капризной и непослушной. А Освальд не скрывал своей ревности. Теперь Тому было не до него, и, даже когда они изредка рыбачили вместе, прежних добрых отношений уже не было. Освальд спрашивал его с убийственной иронией:

— Неужто ты в самом деле убьешь эту бедную треску? Или:

— Погляди-ка, сколько трупов у нас сегодня в сетях?

И тому подобное. Никакого удовольствия от рыбалки, чему уж тут радоваться?

Аксель и Ханна понимали, что взвалили этого дачника Тому на плечи. Но что им было делать? Им приходилось заниматься своими неотложными делами, и ребята были предоставлены самим себе.

Однажды Аксель сказал:

— Том, можешь не колоть эти чурки, пригляди лучше за Элисом.

— Нет уж, я лучше буду колоть чурки, — ответил Том. — Хотя он все равно будет привязываться ко мне. Так что мне все равно.

— Поступай как знаешь, — беспомощно согласился отец и пошел по своим делам, но потом обернулся и добавил: — Мне жаль, что так получилось.

Они собирались позаботиться о чужом несчастном ребенке, но не тут-то было! Вместо того они посадили себе на шею строгого соплядателя, который вдобавок все время напоминал им про зло и страдания мира. Зачем городские позволяют своим детям расти со страхом за все и с больной совестью? Для этого они слишком малы. Аксель сказал об этом жене, и она с ним согласилась. Пареньку нужно сменить обстановку, размышлял Аксель, что, если прокатиться с ребяташками по морю? Погода стоит тихая, солнечная. Ханна тем временем может навестить родственников в Лувисе, а сам он отвезет газовые баллоны на маяки. Аксель решил, что он это здорово придумал. Как раз утром звонили из береговой охраны и сказали, что маяк на Вестербоде не горит. Аксель пошел залить в мотор бензин и наполнить баллоны, а Ханна стала готовить им в дорогу еду.

Элис сильно разволновался, он то и дело стучал по барометру, боялся шторма, без конца спрашивал про острова, где стоят маяки, на самом ли деле это настоящие острова, ну... совсем маленькие.

— Маленькие, как мышинное дерьмо, — сказал Том. — Ну и что дальше? Для чего ты спрашиваешь?

Элис ответил, что однажды читал про «Остров Блаженства» и что этот остров был очень маленький.

— Ну-ну, хватит болтать, — оборвал его Том, — пошли, папа ждет.

— Прыгай в лодку! — крикнул Аксель. — Сейчас мы устроим хорошую прогулку, и чтобы никаких ссор!

Ребятишки забрались в лодку. Ханна стояла на причале и махала им вслед. День был солнечный и безветренный, высокие кучевые облака отражались в гладкой поверхности воды, горизонта не было видно вовсе. Элис держался за поручни и искал глазами острова. Время от времени он поворачивал голову и улыбался. Похоже было, что на этот раз он против обыкновения доволен. «Я вижу, ты сделал передышку, придурок, — подумал Том. — Позабыл, что мир скоро погибнет, теперь тебе дело только до себя самого». Волна обиды

захлестнула его, и он решил не замечать Элиса всю дорогу, туда и обратно.

Первый маяк стоял на отлогой шхере, в центре которой развеялся потрепанный ветрами вихор мелкокося. Когда они причалили к берегу, чайки взлетели и стали с криком кружить над островком. Аксель вынес на берег запасные газовые баллоны и потащил их по камням к маяку.

Сначала Элис замер, молча тараща глаза, потом по мчался вверх к лесочку, а после снова вниз. Самки гаг с шумом и гамом взмыли ввысь со своих гнезд, но он вряд ли замечал это, а лишь носился с громкими криками туда-сюда, а под конец бросился навзничь на кустики вороники.

— Говорил я тебе, что он чокнутый, — сказал презрительно Освальд. — И этому чудику ты позволяешь бегать за тобой с утра до вечера! Хорошего же ты приятеля завел себе!

Том медленно подошел к Элису, который лежал и со счастливым до неприличия видом глядел на небо.

— Я никогда еще не бывал на настоящем острове, где сразу видно, что это остров. А этот островок такой маленький, что мог бы быть моим собственным.

— Хватит молоть чепуху. Между прочим, гаги тоже хозяева этого острова, — сказал Том и ушел.

Когда Аксель собрался отправиться к следующему маяку, Элис не захотел плыть с ними.

— Я остаюсь здесь, — заявил он. — Мне нравится этот остров.

— Но ведь мы сможем вернуться только через несколько часов. Нам надо ехать к маякам на дальних островах. А там еще красивее, высокие горы... и все такое... Тебе бы там понравилось.

— Ну и пусть. Отправляйтесь. Я останусь здесь.

Уговорить мальчика Аксель не смог, под конец он отвел Тома в сторону и сказал:

— Хорошо бы ты побыл с ним, пока я не вернусь за вами. Он может свалиться в воду и утонуть или еще какой номер выкинуть. А отвечать придется нам.

— Я хочу к другому маяку! — закричала маленькая Миа. — Хочу к другому маяку!

— Но, папа, — испугался Том, — я не могу сидеть с ним так долго на этой несчастной каменюге!

— Нет, можешь, — ответил папа и оттолкнул моторку. — Что поделаешь, не всё по охоте, иной раз приходится и потерпеть.

— Набери ему побольше дохлых птиц! — крикнул Освальд с лодки. — Нянька!

Лишь возле следующего маяка Аксель хватился, что не оставил мальчикам еду. Вот Ханна точно бы не забыла! Да ладно, невелика беда, бывает и хуже. Однако часом позднее случилась и в самом деле беда: потек бензопровод, а чтобы починить его, нужно время.

\* \* \*

— Знаешь что? — сказал Элис чуть ли не благоговейно. — Этот остров просто замечательный. Он находится так далеко от остального мира, что никакая опасность ему не грозит. И вода здесь совсем чистая.

— Это ты так думаешь! — ответил Том.

Он отошел подальше и стал бросать в воду мелкие камешки. Оставалось лишь ждать и попусту терять время. «Ха-ха! Какой замечательный остров! Остров Блаженства! Тоже мне выдумал! — Том помрачнел. — Все лето пропало, всю дорогу выслушивать мрачные предсказания, смотреть на идиотские похороны и крестики, на кучи хлама... Мало ему неприятностей, он еще расписывает, как худо будет потом, еще хуже, чем сейчас. А кому интересно это слушать!»

Вот Элис прибежал с вытаращенными глазами и закричал:

— Зброшенный остров в мировом океане! Фантастика, да и только! Как здесь чисто! Как пустынно и дико!

— Сам ты фантастика, — ответил Том. — Не так уж и пустынно, погляди, сколько здесь нынче гаг! — И, пожав плечами, добавил: — Хотя выводков будет не так уж много.

— Это почему же?

— Да потому, что когда гагу испугаешь, она к своему гнезду уже не вернется. Очень осторожная птица.

Элис промолчал. Было забавно смотреть, как он медленно зашагал прочь по воронике, прижав локти к бокам и вытянув тощую шею. «Пооди, теперь его самого мучает совесть», — подумал Том и пошел вслед за ним. Элис остановился и уставился на гнездо с пятью птенцами: крошечные, с темными хохолками, они сидели не шевелясь.

— Что теперь с ними будет? — прошептал он.

— Зачем тебе о них думать? Думай о том, что ты на острове, забытом в мировом океане, — так, что ли, ты сказал? Может, тебе интересно узнать, что эта шхера и в самом деле может оказаться забытой. Дорогу сюда очень трудно найти.

Элис продолжал молча таращить глаза.

— Не веришь? Так уже не раз бывало, что о людях, оставшихся здесь, забывали.

Том сел на камень и подпер голову рукой.

— Не хочу пугать тебя, но случалось, что здесь на берегу находили скелеты. Подумай только, каково им было ждать, ждать... и не дожидаться. Никто так и не пришел им на помощь.

— Но ведь у твоего отца с собой карта, — сказал Элис.

— Ты так думаешь? Я тут как раз вспомнил, что карта осталась дома... Ай-ай-ай! Плохо дело.

Том вздохнул и, прикрыв рукой глаза, бросил быстрый взгляд на Элиса. Ему ужасно хотелось расхохотаться. «Вот тебе твои катастрофы, — подумал он, — то ли еще будет! Уж я тебе устрою кое-что похуже, только погоди!»

Элис уселся за большим камнем. Солнце медленно склонялось к западу, пищали комары, морские птицы понемногу возвращались к своим гнездам.

Том проголодался и радостно сказал Элису, что дело плохо, есть им нечего. Мол, придется поголодать, как и остальным бедолагам в мире.

— Ты можешь поесть вороники, — предложил он. — Но после от нее живот болит, спасу нет. А пить захочешь — можешь напиться хотя бы вон из той лужи, правда, вода эта соленая и до того затхлая, что даже все мальки подохли. Ты можешь цедить ее сквозь зубы, чтобы их трупы не попали тебе в рот.

Но он тут же понял, что перегнул палку и напугал Элиса. Тот бросил на него долгий, пронзительный взгляд и отвернулся.

Море приняло более теплый оттенок. Часы шли, Акселю давным-давно пора было возвратиться. Оставалось только пугать Элиса, больше делать было абсолютно нечего. Почему Аксель не возвращается? Почему заставил их беспокоиться и терять напрасно целый день? Тому стало жутковато, по телу поползли мурашки. Терпение у него лопнуло.

— Элис! — заорал он. — Где ты? Поди-ка сюда!

Элис подошел к Тому и уставился на него исподлобья.

— Послушай-ка! — сказал Том. — Я должен кое-что сказать тебе. С погодой не все ладно. Будет шторм.

— Но ведь море совсем спокойное, — недоверчиво ответил Элис.

— Просто мы в центре шторма. Так всегда бывает — бац! — и волны захлестывают всю шхеру.

— Так ведь тут есть маяк.

— Он заперт. Нам в него не попасть. А ночью змеи поползут по камням, — продолжал Том нагнетать обстановку.

— Брось выдумывать.

— Может, выдумываю, а может, и нет. А сам-то ты разве не выдумываешь всякую всячину?

— Ты меня недолюбливаешь, — медленно ответил Элис.

\* \* \*

Заняться им, к сожалению, было нечем. Том вынул складной нож и пошел в лесок нарезать еловых веток для шалаша. Он не раз строил шалаш для Освальда, когда они отправлялись куда-нибудь далеко от дома. Он резал и рубил до седьмого пота, но чувствовать на себе неотрывный взгляд Элиса было по-прежнему невыносимо. Близился вечер, а моторка все не приходила... Элис спросил, не собирается ли Том подавать сигналы бедствия.

— Какие еще сигналы? Ведь у нас и спичек-то нет.

Том взял охалку лапника и стал мастерить крышу шалаша в кустарнике. Вот идиотство! Надо же такому приключиться! И лодка все не приходит и не приходит! Может, там с маяком что-нибудь

стряслось? Нет, тогда бы отец сразу вернулся. Видно, случилось что-то серьезное... И вдруг крыша шалаша обрушилась. Том резко повернулся к Элису и завопил:

— Да что ты знаешь про шторм! Ты его никогда и не видел! Становится совсем темно... И слышишь вдали странный звук, который все время приближается. А птицы вовсе затихают... Я-то уж его слышал. Иной раз вода прибывает, а иногда, наоборот, убывает, — продолжал он. — Катастрофа, и только! Ты видел, как мелко здесь у берега? Одна зеленая тина. А когда волны нахлынут стеной, ничто здесь не удержится и никто!

— И зачем ты все это говоришь? — прошептал Элис.

— Ты это о чем?

— Почему ты так меня не любишь?

— А чего ты ко мне все время вяжешься? Устал я, вот и все! Надоел ты мне. Ложись и спи, понятно?

— А как же змеи? Я боюсь.

— Да ну, нет здесь никаких змей! — нетерпеливо воскликнул Том. — На таких маленьких островках их вовсе не бывает. Надоело мне все это! Как я ни старался с тобой поладить, ничего не выходит. Ты только и знаешь, что плести какую-то чушь, с тобой и сам спятишь! Да и отец почему-то не едет, а он должен давным-давно быть здесь.

— Мне страшно, — повторил Элис, — сделай что-нибудь... Ведь ты все умеешь!

Внезапно он вцепился в Тома и начал лепетать, повторяя, что ему страшно.

— Ты меня напугал! — кричал он. — Сделай что-нибудь, ты все можешь!

Том вырвался из рук Элиса так резко, что тот отлетел назад и упал на мшистую землю. Его большие глаза превратились в узенькие щелочки.

— Ясное дело, — сказал Элис медленно и очень тихо, — твой отец давно должен был вернуться. Почему он не приехал? Совсем не потому, что не смог найти нас. Это ты сказал, просто чтобы напугать меня. С ним что-то случилось! — Элис помолчал немного и злорадно продолжал: — Может, он сломал ногу и не в силах двигаться! Мы ждем и ждем его, а он не придет!

— Хватит чепуху молотить! — в ярости крикнул Том. — Такое может случиться только зимой, когда камни обледенеют.

И тут же вспомнил, как прошлой осенью они сидели и ждали, а папа с Освальдом отправились к маякам. На одном острове загорелся газ, линза взорвалась, и осколки полетели папе в лицо. Он чуть не ослеп, они еле добрались до дома, Освальд подсказывал ему, куда рулить, а сам все время ревел...

Элис продолжал захлеб тараторить, не сводя при этом глаз с Тома:

— А у вас дома ничего и знать не знают. Уже поздно. Под конец они поймут: что-то случилось. Что ты на это скажешь?

— Я скажу, что ты трус! — крикнул Том. — Ты боишься! В штаны наделал от страха! От тебя уже воняет!

Элис внезапно вскочил и бросился на Тома. Блеснули два ряда мелких зубов, рот исказился в отчаянной гримасе. Ослепленный яростью, он налетел на Тома и вцепился в него с такой силой, что тот повалился навзничь. Они стали кататься под навесом из спутанных веток среди кривых елей, где царил полумрак. «Тоже мне гость на лето, чертов дачник, проси пощады, а не то я не знаю, что тебе сделаю!» — думал Том. Он лупил изо всех сил подмятое им худое, костлявое, натянутое, как пружина, тело. Было ясно, что ни один из них не согласится на поражение. И они продолжали драться. Они лупили друг друга в полной тишине, беззвучно, не слышно было даже их тяжелого дыхания. Вот Том отшвырнул обидчика, они оказались чуть на расстоянии друг от друга, но подняться на ноги им не хватило места, они поползли навстречу друг другу и снова схватились врукопашную. Что еще им оставалось делать?

Самка гаги, одного цвета с землей, неподвижно лежала в гнезде. Она продолжала лежать, когда они заметили ее. Мальчики осторожно вылезли из ельника, поднялись на ноги и разошлись в противоположные стороны.

Наступила ночь. У самого горизонта на западе небо еще алело, но ночь уже вступила в свои права. Том спустился к берегу, туда, куда Аксель обычно подгонял моторку. Он дрожал всем телом и старался ни о чем не думать. «Давай-ка успокойся, успокойся, просто сядь на камень, — уговаривал он себя, — прижми руки к глазам и сиди спокойно». Сначала это помогло, но потом воспоминание бомбой



взорвалось у него в голове, — воспоминание о том, как взорвался газ на маяке. Мама после спросила: «Аксель, что ты сделал, когда этостряслось?» А папа ответил: «Я полз, покуда глаза не стали видеть хоть немного, потом посадил Освальда в лодку и стал его успокаивать. Хорошо хоть, что погода тогда была тихая. Ничего не поделаешь, надо принимать все как есть, все как есть». А я сказал тогда: «Папа справится с чем угодно, он ничего не боится». А папа ответил: «Ошибаешься, я еще никогда за всю свою жизнь так не путался, как в этот раз».

Был час, когда небо на западе гаснет, чтобы уступить место восходу солнца на противоположной стороне небосвода. Стало ужасно холодно. Когда Том поднялся наверх, он различил силуэт Элиса на фоне моря.

— Теперь он скоро приедет, — сказал Том. — Видно, у него было важное дело, неотложное.

— Ты так думаешь? — спросил Элис.

— Да. Хорошо еще, что море спокойно. Надо принимать все как есть.

Они постояли, молча глядя на море. Несколько чаек с криком поднялись с мыса, потом снова наступила тишина.

— Иди давай, поспи немного, — сказал вдруг Том. — Я разбужу тебя, когда он приедет.

\* \* \*

Аксель вернулся на рассвете. Сначала послышался стук его моторки, как слабое биение сердца, потом стук усилился, в сером прудутреннем море маленькой черной точкой показалась моторка, она стала расти, и вот уже можно было различить белопенные усы у ее носа. Аксель плавно обогнул мыс и медленно причалил к берегу. Оба мальчика стояли как ни в чем не бывало и ждали его. Он понял все с первого взгляда. У одного из них до неузнаваемости распух нос, у другого еле открывался один глаз, и одежда на обоих была изрядно порвана.

— Ну вот, — сказал Аксель, — теперь, кажется, все в порядке. Дело в том, что мотор отказал — потек бензопровод. Мне жаль, что

так вышло, но нужно принимать все как есть. Как вы тут?

— Нормально, — ответил Элис.

— Тогда прыгайте в лодку, поехали домой! Только не будите младших, они устали.

Они уселись возле машинного отделения, выбрали место потеплее и накрылись брезентом.

— Вот вам пакет с едой. Съешьте все, ничего не оставляйте, не то она рассердится. Кофе в термосе.

Пока моторка бороздила фиорд, небо на востоке посветлело, заалело, над горизонтом поднялась маленькая огненная верхушка солнца нового утра. Было холодно.

— Погодите-ка, не засыпайте, — сказал Аксель. — Я кое-что припас для Элиса, это ему понравится. А ну, погляди! Видел ли ты когда-нибудь такой красивый птичий скелет? Ты можешь похоронить его с музыкой!

— Он в самом деле очень красивый, — ответил Элис. — И с вашей стороны очень любезно подарить мне его, но, к сожалению, он мне не пригодится.

Элис свернулся калачиком на нижней палубе вплотную к Тому и мгновенно уснул.

## Чужой город {34}

Мой внук и его жена давно приглашали меня погостить у них; они писали, что дедушка, мол, должен поскорее выбраться из холода и темноты, пока не поздно.

Я не очень-то люблю путешествовать, но решил принять их любезное приглашение. К тому же у них месяц назад родилась дочка... Нет, кажется, год тому назад. Они объяснили, что длительный перелет будет для меня утомительным, и удобнее всего сделать остановку, переночевать в приличном отеле и на следующий день продолжить полет. Это было ни к чему, но я с ними согласился.

Когда самолет шел на посадку, было уже темно.

В зале аэропорта я обнаружил, что забыл свою шляпу, и хотел было пройти назад в самолет, но на паспортном контроле меня не пропустили. От долгого сидения у меня занемели ноги. Я нарисовал шляпу на обложке билета, но они меня не поняли и показали на следующее окно. Я представил все бумаги — все бумаги, которые мне дал мой заботливый и аккуратный сын. Между прочим, большинство из них были уже проверены и проштампованы, но я показал их тоже, на всякий случай: во-первых, я был сильно обескуражен потерей шляпы, а во-вторых, терпеть не могу летать. В конце концов я понял, что они желают знать, сколько у меня при себе денег. Я достал бумажник и предоставил им самим посчитать; кое-что еще я нашарил в карманах. Эта процедура заняла уйму времени, почти все остальные пассажиры уже исчезли, и я боялся пропустить автобус в город. Меня отослали к другому окошку, куда я, по-моему, уже обращался. Я начал нервничать, видно, они поняли это и, обратив наконец на меня внимание, проверили мой багаж. Я никак не мог объяснить им, что волнуюсь исключительно из-за потери шляпы и боюсь пропустить автобус. Ну и, разумеется, из-за того, что терпеть не могу самолеты, правда, об этом я уже упоминал. Они позвали пожилого господина, который, спокойно поглядев на меня и на мой рисунок, сказал, очевидно, что-то вроде: «Неужели не понятно, что этот пассажир потерял свою шляпу». Во всяком случае, я почувствовал, что меня поняли, и нисколько не удивился, когда меня отослали еще к одному

окну, откуда провели в маленькую комнату, где было полным-полно шляп, перчаток, зонтов и тому подобных вещей. Я достал свой рисунок и, чтобы им было понятнее, заштриховал его черным. Все пассажиры уже ушли, и в зале начали гасить свет; тележки с багажом покатали прочь, и я понял, что от меня хотят поскорее отделаться. Я указал на шляпу на полке и постучал тростью по полу. Когда мне подали ее, я понял, что шляпа не моя, но вся эта история так измотала меня, что я напялил эту шляпенцию на голову, подписал какую-то бумажку; разумеется, я поставил подпись не на той карточке, где надо, и им пришлось оформлять новый документ.

Наконец я выбрался на улицу. Она была пуста. Какая-то непонятная пустота, окружающая, как обычно, аэродромы, простиралась во все стороны. Ночь была холодная и туманная. Я прислушался к далекому шуму города, и меня охватило странное ощущение чего-то нереального. Но я тут же сказал себе: «Волноваться нет причины, правда, ситуация не слишком приятная, но она больше никогда не повторится. Успокойся. Наберись терпения». Я собрался уже было вернуться и попросить кого-нибудь заказать мне такси, ведь слово «такси» звучит, поди, одинаково на всех языках, к тому же можно нарисовать маленький автомобильчик. Но мне почему-то ужасно не хотелось возвращаться в темный зал аэропорта. Быть может, последний самолет уже улетел, а прибытия больше не ожидают, откуда мне знать, какое расписание у этих противных летательных машин, как их называли в дни моей молодости! Ноги у меня болели, настроение было скверное. Улица казалась нескончаемой с длинными темными промежутками между фонарями. Я вспомнил, что здесь экономят электричество.

Я стал ждать. Меня снова начало мучить сознание того, что память все чаще изменяет мне, это фатальное чувство часто охватывает меня именно тогда, когда я вынужден чего-то ждать. Я не могу не замечать, что стал повторяться, рассказывать одно и то же по несколько раз одному и тому же человеку, но замечаю это только позднее, с неизменным чувством стыда. Слова исчезают из памяти, как шляпы, как лица и имена.

Когда я стоял и ждал такси, в голову мне закралась кошмарная мысль, сначала это было неясное подозрение, которое постепенно росло, крепло и превратилось в уверенность. Я понял, что забыл

название отеля. Позабыл его напрочь, окончательно и бесповоротно. Я достал все свои бумаги и тщательно просмотрел их — никакого намека. Разложил их на чемодане, встал на колени, чтобы при свете фонаря разглядеть хорошенько все записи, еще раз пошарил в карманах — ничего. Мой аккуратный сын наверняка дал мне бумажку, подтверждающую, что гостиничный номер оплачен. Но где она могла быть? Где-нибудь в зале аэропорта? В самолете? Нет, я непременно должен вспомнить название отеля. Но как я ни напрягал свой мозг, ничего не получалось. И мне было известно, что номер в любом из здешних отелей нужно бронировать задолго до приезда. Теперь я уже не знал, зачем мне такси. От волнения я вспотел и снял шляпу. Между прочим, она была мне мала и сильно сжимала голову. И тут при тусклом свете фонаря я разглядел на чужой шляпе фамилию, владелец шляпы написал ее на подкладке. Я надел очки. И в самом деле, там была фамилия и адрес. Это было уже кое-что, хотя и слабое, но утешение, соломинка, за которую я уцепился. Все же какая-то информация. Я попытался сбросить с себя усталость. Когда я устаю, память вовсе ускользает от меня. Я подумал, что необходимо собраться с мыслями, быть внимательным, принять нужное решение, не распускаться, а не то и в самом деле можно заблудиться, потеряться. И нельзя повторяться. Люди это сразу замечают, становятся подчеркнуто вежливыми, до обидного участливыми. Я тут же понимаю, что повторялся, хотя спохватываюсь уже после... однако, я уже об этом рассказывал.

Но вот подошло такси, эта машина катила по длинной улице, постепенно приближаясь ко мне, освещая дорогу тусклыми фарами, и наконец остановилась возле меня. Я, естественно, показал шоферу шляпу с адресом. Он, не говоря ни слова, поехал в город. Я решил отключиться и отдохнуть. Путь был неблизкий, мы ехали мимо домов с темными окнами, туман сгущался. Когда машина остановилась, я достал бумажник, шофер выключил счетчик и молча ждал. Под конец он сказал: «Доллары». Я стал подавать их ему, один за другим. Мне было трудно понять, сколько я ему должен, он только поднимал плечи и смотрел на меня. Могу вам сказать, что, когда я наконец вылез из такси со своим чемоданом, мне уже было невмоготу, я проклинал эту поездку.

Я очутился перед старинным, пожалуй, средневековым домом, на совершенно пустой площади.

Отворив ворота, я решил, что мне повезло, ведь они вполне могли бы быть запертыми. Лестницы, коридоры с высокими потолками, номера квартир, но ни одной фамилии... Я поменял очки, надел самые сильные, те, что надеваю, когда вожусь с марками, и прочитал адрес на шляпе. Спасибо человеку, потрудившемуся отчетливо написать свой длинный адрес. Ага, номер двенадцать. Я постучат, и дверь мгновенно открылась.

Я вообразил, что шляпа принадлежит пожилому господину, ну, господину, который полагает, что может забыть ее где-нибудь. Но он оказался совсем молодым, высоким, с мощной фигурой и гривой блестящих темных волос. Разумеется, мне следовало бы выучить хотя бы несколько фраз, ну, скажем, «добрый вечер», «извините», «к сожалению, я не говорю на вашем языке»... Но я только протянул ему шляпу и сказал: «Sorry»<sup>[59]</sup>. Он помедлил немного, быть может, подумал, что следует положить что-нибудь в шляпу, я быстро перевернул шляпу вверх тульей и снова сказал: «Sorry».

Он улыбнулся и спросил:

— Can I help you?<sup>[60]</sup>

Я вздохнул с огромным облегчением.

— Это ваша шляпа, не правда ли? — спросил я. — Весьма сожалею, я взял ее по ошибке... Взгляните, ведь это правильные адрес и фамилия?

Он взглянул и сказал:

— Поразительно. Это шляпа моего кузена. Он жил здесь полгода назад. А где она была?

— В самолете.

— Понятно. Ему приходится иногда летать самолетом. По служебным делам. Входите, вечер холодный. Очень любезно с вашей стороны привезти эту шляпу, да еще в такое позднее время.

Комната была маленькая, при свете одинокой настольной лампы я увидел, что здесь царит уютный беспорядок. Повсюду книги, газеты, стопки бумаг. И довольно холодно.

Он спросил, откуда я и знаю ли город. Ах вот оно что, проездом. Обычно люди здесь редко останавливаются проездом. Разве что по службе. Как насчет чашечки чаю?

Он снял с камина чайник, достал чашки. Я наблюдал за его спокойными движениями. Время от времени он с улыбкой поглядывал на меня. Я испытывал большое облегчение, сидя у него, распивая чай и без всякого волнения пытаюсь вспомнить название отеля. Я ужасно устал. Задав несколько вежливых вопросов, он замолчал, но это молчание было приятным.

Под конец я выразил удивление, что у него много книг. Мол, нынче нелегко достать книги, которые хочешь иметь.

— Да, совсем даже нелегко, — ответил он. — Люди заранее справляются о том, что будет напечатано, и рыщут в поисках книг, стоят в очередях. Я, по правде говоря, горжусь своей библиотекой.

— Может, вы и сами пишете?

— Нет, не пишу. Разве что статейки иногда.

— А какие книги вас интересуют?

— Самые разные, — ответил он с улыбкой.

Я скромно сообщил, что опубликовал кое-что на тему возрастных изменений, и предложил присылать ему свои опусы, если его это интересует.

— Буду весьма благодарен. Надеюсь, ваши книги дойдут до меня. Почта нынче не слишком-то надежная.

Настало время уходить, было уже очень поздно. Мой чемодан стоял у дверей. Разумеется, нужно заказать такси. Я обшарил комнату взглядом в поисках телефона. Он поймал мой взгляд и сказал:

— Нет, телефона у меня нет. Но я могу выйти на улицу и поймать такси, это вовсе не трудно. Вам придется только немного подождать.

Он поднялся. Когда он дошел до двери, я воскликнул:

— Одну секунду!.. Весьма сожалею, пренеприятная история... — Сконфуженный, я пытался обратить все в шутку. — К вопросу о возрастных изменениях... Не знаю, как это могло случиться, но я забыл название отеля, где мне забронирован номер.

Хозяин квартиры не засмеялся, не стал подыскивать вежливых фраз для оправдания моей забывчивости, а, подумав немного, предложил мне переночевать у него, коль скоро номер в отеле получить мне не удастся. Я счел излишним отклонять из приличия его предложение. Сказав, что у него иной раз ночевала целая дюжина гостей, он достал спальный мешок и пообещал разбудить меня

вовремя, чтобы я мог успеть к самолету. Спать мне было предложено в его постели. Я согласился.

Я, слава богу, еще не успел раздеться, как в дверь постучали. Вошла молодая темноволосая женщина. Бросив на меня равнодушный взгляд, она подошла к окну и, осторожно раздвинув шторы, поглядела на улицу. Они начали быстро о чем-то говорить. Слов их я не понял, однако догадался: случилось что-то важное. Он стал ходить взад и вперед по комнате, открывать ящики, доставать какие-то бумаги, быстро просматривать их и пихать в сумку. Было ясно, что он торопился, но движения его были по-прежнему спокойными и размеренными. Под конец он повернулся ко мне и сказал:

— К сожалению, я должен уехать. Но вы можете спать спокойно, моя приятельница вовремя разбудит вас. Не забудьте про книги, я буду очень рад получить их.

Я только кивнул, не желая задерживать его. Когда они ушли, я стал прислушиваться. Послышались шаги на лестнице, потом хлопнула дверь в подъезде. Я продолжал прислушиваться. Шаги на площади. В переулке. Я лег в кровать и попытался заснуть.

Примерно полчаса спустя кто-то начал барабанить в дверь, в коридоре кто-то что-то кричал на непонятном мне языке. Я вскочил и открыл дверь. Я настолько устал, что с трудом разглядел людей в униформе, сплошные униформы, они заполнили всю комнату. Меня заставили показать паспорт, авиабилеты. Эти люди перевернули все в комнате вверх дном, рылись в ящиках и шкафах. А я тем временем думал: «Мой друг спасен, он успел уйти».

Молодая женщина утром пришла и разбудила меня. Она раздобыла такси и проводила меня в аэропорт. Мне показалось, что она не позволила шоферу требовать у меня доллары, во всяком случае, он разозлился. Я даже не сумел поблагодарить свою провожатую на ее языке, но она, кажется, все же поняла меня.

Как вам уже известно, я часто повторяюсь, но этот случай я точно еще никому не рассказывал. Если не ошибаюсь.



## Женщина, одолжившая память {35}

Парадный подъезд с цветными витражами на окнах был таким же темным и холодным, как пятнадцать лет тому назад. Гипсовый орнамент на потолке частично обрушился. И совсем как пятнадцать лет тому назад, уборщица фру Лундبلاد занималась тем, что мыла лестницу. Она подняла глаза, когда дверь открылась, и с неподдельной радостью воскликнула:

— Да нет, не может быть, неужели это Маленькая фрёкен! Столько лет прожить вдали от родины! И одета точь-в-точь так же, как прежде: trenchcoat<sup>[61]</sup> и без шляпки!

Стелла взбежала вверх по лестнице и почти робко остановилась перед фру Лундبلاد; между ними было много общего, но не было привычки обниматься или здороваться за руку.

— Все как прежде, — сказала Стелла. — Дорогая фру Лундبلاد, как поживает ваша семья? Шарлотта? Эдвин?

Фру Лундبلاد отодвинула ведро в сторону и сказала, что Шарлотта по-прежнему с удовольствием катается на велосипеде фрёкен, но только после отъезда фрёкен они стали снимать за городом маленький летний домик. У Эдвина хорошая работа в страховом агентстве.

— А господин Лундبلاد?

Он скончался шесть лет тому назад, — ответила фру Лундبلاد. — Скончался тихо и без особых страданий. Я вижу, вы, фрёкен, пришли с цветами. Они, верно, для нее, для той, что живет наверху в вашей старой мастерской, фрёкен. Есть у вас время на перекур? — Она села на ступеньку. — Похоже, у вас та же марка сигарет, что и в прежние времена. Да, так! А вы, Маленькая фрёкен, уехали и прославились своими картинами!.. Мы-то уж читали о вас в газетах, так что позвольте вас поздравить также и от имени моей семьи. Картины все такие же, как тогда?

Стелла засмеялась:

— Вовсе нет, они — большие, они не пройдут в дверь там, наверху! Вот такие огромные!

Она расставила руки.

Миг — и лестничная клетка наполнилась звуками танцевальной музыки, но ее почти сразу же выключили. Стелла узнала... Это был «Evening Blues»<sup>[62]</sup>. «Наша с Себастьяном мелодия. У нее сохранились мои старые граммофонные пластинки...»

— Вот так она и живет, старый уже человек, — сказала фру Лундблад и бросила в ведро окурок сигареты. — На пять лет старше вас, фрёкен, а кажется, будто у нее вечный бал; но к ней никто не приходит, там пусто. Все было иначе, когда там, наверху, жили вы, фрёкен. А все эти артисты, что взбегали по лестнице! Веселое было времечко! Целый день они работали, а вечером приходили сюда, играли и пели, а вы, фрёкен, готовили спагетти на всю компанию, она же, что там наверху, таскалась за всеми и пыталась подражать. А потом, — продолжала, понизив голос, фру Лундблад, — потом ей пришлось жить там долгое время, потому что у нее не было средств платить за квартиру. И когда вы, фрёкен, получили стипендию и уехали за границу, она заняла всю комнату. Целых пятнадцать лет прошло с тех пор! Нет, нет, ничего не объясняйте, я знаю то, что знаю. Отгадайте, фрёкен, как мы называли вашу мастерскую? Ласточкино гнездо! Но ласточки улетели. И все так, как говорят старики: когда ласточки снимаются с места, это значит, что дому изменило счастье. Ведь одна ласточка погоды не делает. Да, больше я ничего не скажу, так что я ничего не говорила. А теперь, пожалуй, продолжу мыть лестницу. Вообще, с задней стороны дома, во дворе, установлен лифт. Хотите воспользоваться случаем и попробовать?..

— Может, в другой раз. Скажите мне, фру Лундблад, неужели я действительно бегала наверх, но всем этим лестницам?

— Да-да, Маленькая фрёкен, вы бегали. Но время — оно идет.

На дверях было множество табличек с новыми именами.

— Да, конечно, я бегала, может, только потому, что мне хотелось бегать и я не могла остановиться.

Дверь мастерской была перекрашена в другой цвет, но дверной молоток с маленьким, желтой меди львом был тот же — подарок Себастьяна. Ванда крикнула из-за двери:

— Кто там? Это Стелла?

— Да, это я, Стелла.

Прошло некоторое время, прежде чем дверь открылась.

— Дорогая, как приятно! — воскликнула Ванда. — Подумать только, наконец-то ты здесь! Чтобы открыть дверь, нужно немного времени, но ты ведь понимаешь... Время нынче такое, что никаких мер предосторожности не хватает... Предохранительная цепочка, секретный замок, все... Но это вызвано необходимостью, исключительно необходимостью — воры грабят! День и ночь приходится бояться, они приезжают в больших крытых машинах, забирают всё и уезжают... Оставляют пустоту, понимаешь, пустоту! Но только не у меня! Здесь все заперто. На замок. Но входи же и посмотри, как я живу! Цветы, очень мило...

Отложив в сторону цветы, завернутые в целлофан, она неотрывно разглядывала Стеллу, все тем же блеклым пристальным взглядом, взгляд не изменился, но лицо несколько отяжелело. Все тот же настойчивый голос. Стены по-прежнему были покрыты белой известью, но все остальное в этой очень маленькой комнате было новое и чужое: нагромождение мебели, ламп, безделушек, драпировок... Было слишком тепло. Стелла сняла плащ. Изменившаяся комната пугала ее, комната как бы сжалась и снова выросла, словно молодой кустарник на сплошной вырубке.

— Садись же, — сказала Ванда, — что тебе предложить? Вермут? Или красное вино, обычно в те времена я подавала вам красное вино и спагетти! Постоянно красное вино и спагетти! Значит, ты наконец вернулась. Сколько лет прошло с тех пор... нет, не будем считать. Ну да, теперь ты — здесь. А сколько открыток я тебе написала... Но ты только и делаешь, что исчезаешь, великая художница исчезает в великом молчании. Вот так-то!

— Но ведь я писала, — возразила Стелла. — Довольно долго. Но от тебя не было ни слуху ни духу...

— Милая Стелла, не обращай на это внимания, не думай об этом, забудем обо всем... Теперь ты снова здесь. Как тебе моя милая берлога? Мала и без претензий, но уютна, не правда ли? А главное, атмосфера.

— Очень красиво. А сколько красивой мебели. — Стелла закрыла глаза, чтобы вспомнить свою мастерскую. Вот там была скамья, там стоял верстак, все эти ящики из-под сахара... И незашторенное окно, выходившее во двор.

— Ты устала? — спросила Ванда. — У тебя ужасно усталый вид. Круги под глазами. Но теперь, вернувшись из большого мира, ты можешь немного отдохнуть и успокоиться.

Стелла сказала:

— Я попыталась вспомнить мастерскую. Здесь так счастливо жилось! Подумать только, семь лет молодости! Ванда, сколько времени, собственно говоря, длится молодость?

Ванда ответила довольно резко:

— У тебя — слишком долго, Звездоглазка<sup>[63]</sup>. Да, мы называли тебя Звездоглазка, красиво, не правда ли? Ты была так наивна и верила всему, что тебе говорили. Чему угодно!

Стелла поднялась и подошла к окну, отдернула драпировки и посмотрела на серый, совершенно обычный, но по-прежнему чарующий двор со всеми его окнами и вдруг вспомнила: «Здесь я стояла с Себастьяном. Мы смотрели вдаль поверх этих крыш. И дальше — через гавань, и еще дальше — через море, через весь мир, которым мы будем владеть, за который будем бороться и побеждать. О, это окно!» Она обернулась к Ванде:

— Ты сказала, что я верила чему угодно. Но ведь было столько всего, во что можно было верить, разве не так? И вероятно, стоило в это верить, разве не так?

Опустились сумерки, и Ванда зажгла все свои лампы под шелковыми абажурами. Она сказала:

— Тебе было весело в этой комнате, не правда ли? Тебе было весело семь лет, вплоть до самого последнего праздника, моего прощального праздника. Помнишь его?

— Помню ли я его! Мы произносили ужасно высокие слова, мы были так глупокомысленны! Кажется, это было в июне, и солнце взошло в два часа ночи. И тогда я залезла на стол и воскликнула: «Да здравствует солнце!» А русский, который сидел под столом и пел... откуда он, собственно говоря, взялся?

— Русский? Он был один из тех, кто постоянно водил с вами компанию... ведь вас было так жалко. А вас было много, слишком много! Но я разрешала всем приходить. Приводи их с собой, говорила я, приводи их непременно с собой. Таковы мои принципы. Уж если праздник, то с большим размахом! Вас было двадцать два человека,

двадцать два. Я сосчитала вас. Это был один из лучших праздников, которые я устраивала в честь своих друзей.

Стелла сказала:

— Что ты имеешь в виду? Ведь это был мой праздник?

— Ну да, ну да, если тебе так хочется, я устроила для тебя прощальный прием, так что некоторым образом это был и твой праздник. А потом ты уехала утренним поездом.

«Да... Утренним поездом, — подумала Стелла. — Себастьян провожал меня к поезду. Какое было чудесное летнее утро... Он обещал приехать следом за мной, как только выяснит все относительно своей стипендии и как только я найду для нас мастерскую или комнату, дешевую гостиницу, все что угодно, где мы смогли бы работать... У него редко бывало постоянное жилье, я должна была послать свой адрес Ванде... „Прощай, любимый, береги себя!“ И поезд загудел и ринулся в далекий мир».

— Стелла! Не думай об этом моем празднике. Но ты, верно, помнишь, что это я жила здесь. Здесь жила я. Будь честна, разве это не так? Ну да, ты сама понимаешь. — Ванда положила свою руку на руку Стеллы и ласково продолжала: — Забавно, до чего обманчива бывает память. Но об этом не стоит беспокоиться, это абсолютно естественно. Ты и сейчас такая же желанная гостья, как и в те времена. Ты всегда была готова помочь, ты помогала мне всем, чем могла, чистила лук и выносила помойное ведро... И принимала участие во всем происходившем, наша милая бедная Звездочка... Погоди немного, лифт...

Было отчетливо слышно, как поднимается лифт.

— Четвертый этаж, — сказала Ванда. — Забавно, как часто он поднимается на четвертый этаж. Да, все как всегда, все, и теперь ты сидишь на своем прежнем месте, как раз между Ингегерд и Томми, а я — на диване против Бенну. Себастьян обычно сидел на подоконнике. Вы болтали без конца об искусстве, вас интересовали лишь ваши собственные дела. А многие ли из вас стали знамениты, можешь мне сказать?

Стелла ответила:

— Я так мало знаю о том, что случилось с тех пор с друзьями.

— Ты не знаешь? Разве никто из них тебе не писал? Ну, как это может быть, Стелла, дружок!

Стелла закурила сигарету, а затем сказала:

— Я послала свой адрес тебе. Я просила тебя передать его моим друзьям.

— Ты послала его мне? погоди минутку, сигарета не раскурилась, вот тебе зажигалка. Возьми зажигалку, у тебя руки начали дрожать, только чуть-чуть, только чуть-чуть, нечего обращать на это внимание. Как бы там ни было, но Себастьян, можно сказать, стал довольно знаменит. Но ты ведь знаешь, как бывает с великими людьми, они забывают тех, кто верил в них, когда они были чуть-чуть менее значительны. Выпьешь вина?

Стелла спросила:

— Ты знаешь, как он поживает сейчас? Ты знаешь, где он?

Лифт снова зашумел, они сидели молча.

— Пятый этаж, — заметила Ванда. — По-моему, теперь пора приступить к спагетти. Al burro<sup>[64]</sup>. И с parmigiano!<sup>[65]</sup> Ты любишь parmigiano?

— Да, спасибо! Ты по-прежнему служишь в городской конторе?

— Конечно служу — как и все, в ожидании пенсии. Вообще-то получила повышение. Я теперь — шеф отдела.

— Повышение? А чем еще ты занимаешься? Хобби у тебя прежние, ты все так же ходишь по вечерам на гимнастику?

— По вечерам? Ты сошла с ума! В этом городе после шести вечера не смеешь носа на улицу высунуть!

Войдя в кухонный уголок<sup>[66]</sup>, Ванда поставила кипятить воду. А потом накрыла на стол.

— Хочешь посмотреть фотографии Яска?

Альбом был красивый, с довольно скверными фотографиями, изображавшими стайку молодых смеющихся людей, тесно прижавшихся друг к другу... На маскараде, на береговом склоне — на ветру, идущими куда-то с мольбертами в руках. Фотографии просто обезоруживающие и не представляющие ни малейшего интереса для тех, кто не изображен на них. Стелла сказала:

— Вот этот снимок сделан на Хамнхольмене. Я стояла рядом с Себастьяном, на мне — белое платье. Лоскуток от платья еще остался.

Посмотрев на фотографию, Ванда сказала:

— Это не ты, это кто-то другой. Фотографию засветили, и мне пришлось отрезать край. Ты любишь кетчуп?

— Нет, не люблю. Ты знаешь, где сейчас Себастьян?

— Быть может, знаю. Но видишь ли, дружок, этот адрес — секретный, я обещала его никому не давать. Что бы обо мне ни говорили, я, во всяком случае, беспристрастна. Вообще-то — это не Хамнхольмен, это Эггшер. И тебя в тот раз в компании не было. Забавные вещи происходят с человеческой памятью! Кое-что исчезает, а кое-что никогда не забывается. Твои воспоминания важны для тебя? Будь откровенна, подумай... то время, когда вам так легко жилось, эта комната... Тебе хочется обратно, в прошлое, ты тоскуешь, не так ли?

— Теперь больше не хочется, — ответила Стелла. — Кажется, вода закипела.

Но вода не кипела: газ в баллонах кончился.

— Я ужасно огорчена, — сказала Ванда. — Надеюсь, ты простишь меня?! Я могу спуститься вниз и одолжить газовый баллон у фру Лундبلاد, но она — такая неприятная...

— Оставь... Она, наверное, моет лестницу.

— Ты встретила ее? Что она сказала?

— Мы поболтали немного о том о сем.

— А что она говорила обо мне?

— Ничего.

— Ты уверена?

— Да, она ничего о тебе не сказала. Ванда, здесь очень душно, ты не можешь ненадолго открыть окно?

Весенний вечер, прохладный и живительный, ворвался в комнату.

— О, это окно! — сказала Ванда. — Тут вы стояли и смеялись, ты и Себастьян... Вы смеялись над нами. Что вас так забавляло? Над кем вы смеялись?

Голос Ванды, бесстрастно-настойчивый и властный, вывел Стеллу из себя; в приступе внезапного гнева она ответила:

— Ни над кем! Или над всеми и над всем! Над чем угодно, потому что мы были счастливы! Мы смотрели друг на друга и смеялись, мы играли. Неужели так трудно понять?

— Но почему ты злишься? — огорченно спросила Ванда.

— Я устала. Ты слишком много болтаешь.

— Разве? Как плупо, какое легкомыслие с моей стороны. Я ведь вижу, что тебе живется несладко. Ты так переменилась. Что-нибудь стряслось? Расскажи мне, Стелла! Садись сюда, на диван. Тебя

взволновали эти фотографии? Но это ведь лишь невинные старые воспоминания, чего же их бояться!

— Да, ты права, они невинные. В этой мастерской также обитала невинность. Это было место, где царила доброжелательность, где все было ясно, где работали и верили друг другу, это было честно, понимаешь. Я всегда вспоминаю о мастерской, когда не могу заснуть.

— Ты плохо спишь? Это нехорошо. Совсем нехорошо. Стелла, послушай меня, ты сама на себя не похожа. Ты советовалась с врачом? И то, что ты забываешь разные вещи... Хотя это, пожалуй, не так страшно, не думай об этом.

— Лифт! — закричала Стелла. — Он снова поднимается. Разве ты не слышишь, лифт поднимается!

На этот раз он поднимался на пятый этаж. Ванда закрыла окно и наполнила бокалы. Она снова заговорила:

— Он покупал мне иногда граммофонные пластинки, хотя они стоили недешево. И другие великие артисты также приносили время от времени пластинки. Даже свои собственные... Мы танцевали до самого восхода, и знаешь, что я делала тогда? Я вставала на стол и, чокаясь с вами, кричала: «Да здравствует солнце!» И, когда праздник подходил к концу и все уходили домой и оставались только мы одни, мы с Себастьяном... Стелла? Хочешь послушать музыку? Старая пластинка, он подарил ее мне. «Evening Blues».

— Нет, не сейчас.

У Стеллы разболелась голова, она чувствовала мучительную боль в затылке. Лифт снова поднимался, почти до самой крыши. В этой изменившейся комнате был всего лишь один-единственный предмет, который она узнала, — книжная полка; протянув руку, она коснулась ее.

— Я смастерила ее однажды вечером, — сказала Ванда. — Она довольно хорошо сделана, не правда ли?

Стелла воскликнула:

— Неправда! Это моя книжная полка, я сама ее смастерила!

Ванда откинулась на спинку кресла и, слегка улыбнувшись, произнесла:

— Что ты говоришь? Старая книжная полка? Ты получишь ее, получишь в подарок. Стелла, дружок, я боюсь за тебя. Где ты потеряла свои глазки-звездочки? Что с тобой, можешь мне сказать? Ну вот, ты



снова берешь сигарету. Ты слишком много куришь. У тебя нездоровый вид. Расслабься, прошу тебя. Не пытайся вспоминать, как все было, тебя охватывает лишь неуверенность и печаль. Не правда ли, будь откровенна, ты чувствуешь лишь неуверенность и печаль? Это было так давно, и ты знаешь: годы не пощадили тебя. И вообще, что такое книжная полка? Ровно ничего. Подумай о чем-нибудь приятном. Ты помнишь Томми? Он был так мил, ты ему нравилась. Он говорил всегда: «Мы должны оберегать нашу бедную милую Звездочку, ей все хорошо, она верит всему, что ей говорят, она — наше маленькое помойное ведро, куда все всё бросают и для всего находится место...» Стелла прервала ее:

— Пожалуй, не будем больше говорить о тех временах. Поговорим о том, что происходит сейчас. За стенами этого дома.

— Что ты имеешь в виду, говоря «за стенами этого дома»?

— Во всем мире — о великих переворотах, о всех бурных событиях, обо всем важном, что происходит все время, повсюду. Мы можем поговорить об этом.

Видя, что Ванда не понимает, она добавила:

— О том, что пишут в газетах.

— Я не выписываю газет, — сказала Ванда. — Стало быть, ты нравилась Томми. Ты нравилась всем моим друзьям; можешь мне поверить — ничего общего с состраданием в этом не было...

— Лифт! — воскликнула Стелла. — Он снова поднимается.

— Да, он снова поднимается.

— Ты ждешь кого-нибудь или боишься?

— Чего боюсь?

— Воров, Ванда, всех воров, что явятся и отнимут твои вещи.

Ванда пристально посмотрела на свою гостью и произнесла:

— Не будь ребенком! Сюда никто не явится.

Немного погодя она продолжила:

— Ты напоминаешь мне кое-кого, ну из тех, кого было жаль и кто приходил сюда, только чтобы поесть. Одна такая всё ела и ела и никогда не произносила ни слова. Как забавно — она была похожа на тебя. Бедняга! Она всюду следовала за мной по пятам. И знаешь, что она сказала однажды: «Ты такая сильная, ты — словно ток высокого напряжения... С тобой идешь быстрее, с тобой живешь полной

жизнью!» А потом она исчезла. Никто не знал куда, и никого это не интересовало... Стелла! Что с тобой? Тебе нехорошо?

— Да... — ответила Стелла. — Мне нехорошо. У тебя есть аспирин?

— Конечно, сейчас... Прошу тебя, дружок, приляг на диван, хоть ненадолго. Да, да, я настаиваю на этом. У тебя ужасный вид, тебе необходимо отдохнуть. Ни слова. Обещай мне пойти к доктору, ведь это так просто!

Глубокий сон все ближе подкрадывался к Стелле, комната исчезла. Неотступный голос продолжал все ближе шептать:

— Тебе хорошо? В этой комнате ты у себя дома, здесь можно забыться и расслабиться... Они приходят, они все приходят в мою комнату, они стоят за дверью, в ожидании, и я слышу их и позволяю им войти, они все говорят и говорят... Заботы, заботы, заботы. А потом говорю я. Абсолютно откровенно, честно, ведь надо быть честной, не правда ли? Не надо говорить много, надо говорить обдуманно, верно? Но ты мерзнешь?! Подожди, я подоткну тебе одеяло, плотно-плотно... с головой... Нет, нет, позволь мне позаботиться о тебе — разве я не права, нужна смелость, чтобы быть честным?

Стелла закричала:

— Отстань от меня!

Но одеяло ползло по ее лицу, а голос продолжал:

— Я сказала ему, что я думаю, я сказала честно: она душит тебя, избавься от нее...

— Лифт! — закричала Стелла, и руки на миг ослабли.

Она вскочила и побежала. Ванда по-прежнему сидела на диване.

— Стелла! Что ты ищешь?

— Сумку, мою сумку! Ванда засмеялась и заметила:

— Я, во всяком случае, ее не украла. Она, вероятно, где-то здесь, я заперла дверь изнутри, Садись и успокойся, я расскажу тебе, как обстоят дела. Выпей еще немного вина. Не хочешь? Видишь ли, быть дома, в своей комнате, где все — твоя собственность и все на месте, где все, что случилось, и все, что говорилось, — также остается, все остается в стенах, все обволакивает тебя, как теплый плащ, и он становится все плотнее и плотнее... ты не веришь мне? У меня есть

доказательства. Они — на пленке. Будь добра, прислушайся, и ты поймешь.

Это был непонятный хаос голосов и фальшивой музыки.

Ванда закричала:

— Ты слышишь, да? Это — доказательство, разве не так? Вот это разбился стакан, ты слышала?..

Стелла стояла у дверей, держа в охапке сумку и плащ:

— Ванда, выпусти меня! Дай мне уйти!

— Нет, не уходи, прошу тебя, не уходи, останься еще ненадолго, только на минутку, ведь так много времени прошло, а нам еще надо о стольком поговорить... Чего ты боишься, еще не поздно, вовсе нет, на улицах еще пока не опасно, чуть позднее ты можешь вызвать такси, а я провожу тебя вниз и посмотрю, как ты уехала... Стелла! Не стоит беспокоиться... Я имею в виду, если у тебя в сумке много денег, если ты боишься, чтобы тебя не обокрали...

— Меня уже обокрали, — ответила Стелла. — Выпусти меня!

Ванда подошла к двери и коснулась руки Стеллы:

— Стелла, неужели это из-за книжной полки? Я отдам ее тебе. Я охотно отдам ее тебе! Она небольшая, можешь взять ее с собой в такси. Как ты ужасно выглядишь, не держи на меня зла...

Ее рука все еще касалась руки Стеллы... Стелла взяла ее руку в свою и стояла молча, не произнося ни слова. Ванда отперла дверь и отошла в сторону. Стелла спускалась вниз по лестнице с ужасным и безутешным чувством освобождения. Там, где лестница делала поворот, она обернулась, чтобы помахать рукой, но дверь была уже заперта. Включили «Evening Blues», но музыка почти тут же смолкла.

Густой туман спустился на город, первый весенний туман. Это хорошо: теперь хоть знаешь, что лед мало-помалу тронется.

## Путешествие налегке {36}

Не могу описать, какое облегчение я ощутил, когда наконец убрали трап! Только тогда, нет, пожалуй, позднее, когда теплоход отошел от пристани на такое расстояние, что с берега перестали кричать... спрашивать мой адрес, вопить, будто случилось нечто ужасное... я почувствовал себя уверенно. Вам просто не понять охватившего меня головокружительного ощущения свободы. Я расстегнул плащ, достал дрожащими руками трубку, однако зажечь ее не смог, продолжал сжимать зубами, это некоторым образом помогает держать все окружающее на расстоянии. Чтобы не видеть город, я прошел на нос теплохода и, как беспечный пассажир, облокотился на поручни. Небо было голубое, маленькие облака казались мне капризными, блуждающими наугад ради собственного удовольствия. Все осталось позади, все и вся утратило какое бы то ни было значение. Ни тебе телефонных звонков, ни писем, ни незваных гостей. Не стану распространяться, скажу только, что я заранее обо всем позаботился, все продумал до малейших деталей. Еще накануне я написал все необходимые письма и сообщил о своем внезапном отъезде, даже не подумав извиниться. Занятие это было тяжелое и занято весь день. Разумеется, я не сообщил никому, куда еду, когда вернусь и, вообще, вернусь ли когда-нибудь. Цветами я предоставил заниматься жене дворника; эти усталые растения вечно чахли, как я ни старался ухаживать за ними; они меня раздражали, и я не хотел их больше видеть.

Быть может, вам интересно знать, что я взял с собой? Только самое необходимое! Я всегда мечтал путешествовать налегке бодрым неторопливым шагом, ну, скажем, по залу аэропорта, небрежно покачивая маленьким чемоданчиком, обгоняя нервничающих людей с тяжелым багажом! На этот раз мне впервые удалось взять с собой минимум вещей, я, не колеблясь, решил не брать фамильные реликвии и милые пустяки, напоминающие о... одним словом, о каких-то мгновениях жизни, о нет, это мне было вовсе ни к чему. Чемодан мой был так же легкий, как мое легкомысленное настроение, я взял с собой лишь то, что требуется для ночевки в отеле. В своей квартире я не

оставил никаких инструкций, но перед отъездом навел чистоту и порядок, на что я большой мастер. Это был последний штрих. И за все это время телефон не зазвонил ни разу. Хороший знак. Стало быть, ни один из этих, ни один... однако я не хочу сейчас говорить о них, мне больше нет до них дела, нет, они ни на миг не заняли мои мысли. Итак, я отключил телефон и проверил содержимое своего бумажника: паспорт, билеты, дорожные чеки, пенсионная книжка... Я бросил взгляд в окно и убедился, что на стоянке есть такси, запер двери и бросил ключи в почтовый ящик. По старой привычке я не вошел в лифт, терпеть не могу ездить в лифте. На третьем этаже я споткнулся, схватился за перила и замер на несколько секунд. Меня аж в жар бросило. Подумать только, а вдруг я и в самом деле упал бы, вывихнул ногу или, того хуже, сломал? Вот ужас-то. Все было бы напрасно, ничего было бы не исправить. В другой раз я уже не смог бы собраться и решиться уехать. Уже сидя в такси, я все никак не мог успокоиться и принялся оживленно беседовать с шофером, говорил что-то про раннюю весну, стал расспрашивать про его работу, но он отвечал мне весьма неохотно, и я наконец замолчал. К чему мне было его расспрашивать, ведь меня теперь вовсе ничто не интересовало! Какое мне дело до шофера и его проблем! Мы приехали на пристань задолго до отплытия теплохода, шофер достал мой чемодан, я поблагодарил его и дал ему на чай. Он даже не улыбнулся. Меня это неприятно задело, но зато человек, который проверял билеты, обошелся со мной очень любезно.

Итак, мое путешествие началось. Постепенно на палубе похолодало, здесь было довольно пусто, я решил, что пассажиры ушли в ресторан, и неторопливо отправился искать свою каюту. Я сразу понял, что буду в каюте не один: на одной кровати лежали пальто, портфель и зонт, а на полу стояли два элегантных чемодана. Я незаметно отодвинул их. Ведь я требовал, нет, ясно выразил желание поселиться в отдельной каюте: спать в отдельной комнате было всегда важно для меня, а сейчас, когда я собирался в полной мере насладиться новой жизнью, это мне было просто необходимо. Идти жаловаться помощнику капитана не имело смысла, он тут же ответил бы, что свободных кают на теплоходе нет и исправить эту ошибку никак нельзя, разве что заставить моего соседа провести бессонную ночь в кресле на палубе. Туалетные принадлежности моего соседа

были очень дорогие, особенно сильно меня поразили электрическая зубная щетка и маникюрный набор с монограммой «А. С». Я достал свою зубную щетку и все, без чего, как мне представлялось, обойтись уж никак нельзя, положил пижаму на свою постель и попытался понять, голоден ли я. Одна мысль о ресторане вызвала во мне отвращение, я решил пропустить ужин и удовольствоваться рюмкой спиртного в баре. В это время здесь было довольно пусто. Я уселся у стойки на высокий стул, уперся ногами в металлические перила, ограждающие каждый бар на свете, и зажег трубку.

— Будьте добры, «Black and White»<sup>[67]</sup>, — сказал я, взял стакан, коротко кивнул, показывая всем своим видом, что в беседу вступать не намерен, и принялся размышлять об идее своего путешествия. Ехать сам не зная куда, ощущая себя ничем не связанным, не отвечать за то, что осталось позади, ничего не планировать, не думать о будущем. Вкушать душевный покой. Мне захотелось вспомнить предыдущие поездки, и я с удивлением понял, что никогда не путешествовал один. Вначале я ездил с мамой на Майорку или Канарские острова. Когда мама умерла, я съездил с кузенком Херманом в Любек и Гамбург. Он только и делал, что ходил по музеям, и это приводило его в уныние; ему не довелось изучать живопись, и это его ужасно огорчало. Это было малоприятное путешествие. Потом я ездил с Вальстремами, они никак не могли решить, разводиться им или нет, и надумали поехать втроем. Куда же мы отправились?.. Ах да, конечно в Венецию. По утрам они ругались. Нет, эта поездка тоже была неудачной. А потом поездка с группой в Ленинград. Но там был жуткий холод... А еще я составил компанию тете Хильде, которая боялась ездить одна... Правда, только до Мариехамна. Помню, мы побывали там в Морском музее. Вы поймете меня: когда я мысленно повторил все свои путешествия, сомнения в правильности моего решения окончательно исчезли. Я повернулся к бармену и сказал:

— Еще виски, — и с довольным видом оглядел бар.

Сюда начали стекаться люди, сытые, веселые. Они садились за столики, заказывали кофе и напитки, толпились вокруг меня у стойки. Вообще-то я терпеть не могу толкотню и стараюсь по мере возможности избегать ее в трамвае и автобусе, но в этот вечер мне было даже как-то уютно и надежно в этой толпе. Пожилой господин с

сигарой деликатным жестом дал понять, что ему нужна моя пепельница.

— Пожалуйста, — ответил я ему и хотел даже извиниться, но вовремя опомнился, мне это было вовсе ни к чему.

Уверенным и небрежным жестом я подвинул пепельницу ближе к нему и с безучастным видом уставился на свое отражение в зеркале позади батареи бутылок. Вам не кажется, что в барах есть что-то специфическое? Атмосфера самых немислимых случайностей, убежища на нелегком пути от желаемого к неизбежному. Однако я должен признать, что посещал бары крайне редко. Я взглянул на свое лицо в зеркале, и оно вдруг показалось мне довольно симпатичным. Пожалуй, прежде я не удосуживался столь внимательно разглядывать свою внешность. Худощавое лицо, довольно красивые, немного удивленные глаза, волосы, правда, седые, но импозантно пушистые, падающая на лоб прядь, пожалуй, придает физиономии выражение озабоченной внимательности. А может быть, внимательной озабоченности. Нет, просто-напросто внимательности. Я осушил стакан и внезапно почувствовал непреодолимую потребность выговориться, однако решил умерить свой пыл. Во всяком случае, разве это не был подходящий момент, чтобы... нет, не слушать кого-нибудь, а самому выговориться? В мужском обществе, в баре. Я мог бы, например, будто невзначай упомянуть о том, какую значительную роль играл в работе Почтового управления. Нет, ни в коем случае. Лучше казаться загадочным, не говорить, кто я такой, а ограничиться намеками.

Сидящий слева господин показался мне крайне нервным, он все время менял позу, ерзал на стуле и старался держать в поле зрения все, что происходило в баре. Я повернулся направо и сказал:

— Однако здесь много народу нынче вечером.

Мой сосед погасил о пепельницу сигару и сказал, что корабль забит до отказа, что сила ветра — восемь метров в секунду и что к вечеру ветер усилится. Мне понравилась его спокойная и деловая манера говорить, захотелось узнать, пенсионер он или нет и зачем едет в Лондон. По правде говоря, я сам удивился, что меня это вдруг заинтересовало. Ведь любопытство и сострадание мне абсолютно чужды, и я, зная, сколь сильна потребность людей излить душу и жаловаться на свои беды, изо всех сил стараюсь не вызывать их на

откровенность. За свою долгую жизнь я, понятно, наслушался всякого, да и поделом мне. Но в эту минуту я, будучи на пути к новой, абсолютно свободной жизни, осторожно спросил:

— Вы едете в Лондон? По делам?

— Нет, я люблю морские путешествия.

Я понимающе кивнул. Мне было видно в зеркале его лицо, довольно тяжелое, помятое, отвислые усы, усталые глаза. Одежда на нем была дорогая и элегантная, «континентальная», — я надеюсь, вы понимаете, что я хочу этим сказать.

— Я еще с молодых лет понял, — продолжал он, — что беспрестанно путешествовать на корабле обходится, включая питание, значительно дешевле, чем жить в городе.

Я смотрел на него с восторгом, но он больше ничего не сказал. К счастью, он, очевидно, был не любитель откровенничать. Где-то наверху под потолком упорно и назойливо зудела музыка. Люди стали болтать все оживленнее, нагруженные рюмками и стаканами подносы доставлялись к столикам с поразительной точностью и быстротой. «Вот я сижу с заядлым путешественником, — пришло мне в голову, — с человеком, который сумел взять от жизни все и знает, что говорит». И тут он достал бумажник и показал мне фотографию своей семьи и своей собаки. Это был сигнал опасности. Я мгновенно почувствовал острое разочарование. Однако с какой стати мой спутник должен был отличаться от всех прочих? Во всяком случае, я, решив не давать ему втянуть меня в пространную беседу, взглянул на фотографию и отпустил обычный вежливый комплимент. Его жена, дети и собака имели весьма обычный вид, разве что отличались некоторым самодовольством. Он вздохнул, из-за шума я не услышал его вздоха, но его широкие плечи поднялись и тут же опустились. Очевидно, дома у него было не все ладно. Обычная история. Даже у такого вот элегантного путешественника с сигарой в золотом мундштуке и семейной фотографией на фоне собственного бассейна! Я быстро начал говорить о каких-то пустяках, о преимуществе путешествовать налегке и тому подобном, намереваясь поскорее найти подходящий повод, чтобы деликатно удалиться. С целью намекнуть о своем намерении я достал ключ от каюты, положил его рядом со стаканом и попытался привлечь внимание бармена, что было, разумеется, бесполезно: толкучка у стойки была ужасная, клиенты делали свои



заказы так громко и нетерпеливо, что бедняга совсем выбивался из сил.

— Два «Black and White», — сказал мой спутник негромко, но столь весомо и отчетливо, что его слова моментально были услышаны. Он выразительно поглядел на меня и поднял стакан. Я понял, что пропал.

— Благодарю, — ответил я ему. — Не мешает выпить на сон грядущий. Однако время уже позднее.

— Не за что благодарить меня, господин Меландер, — ответил он. — Меня зовут Коннау.

И он положил свой ключ рядом с моим.

— Невероятно! Как вы узнали мою фамилию? — воскликнул я.

— Очень просто, — ответил он. — Я видел, как вы выходили из каюты. На вашем чемодане висит этикетка с четко выведенной фамилией.

Внезапно молодой человек, сидящий слева, резко наклонился к стойке, толкнув меня, и сердито потребовал «Cuba libre»<sup>[68]</sup>, который он заказал давным-давно. Мол, всем кому попало приносят их заказы, а он должен ждать, старая история! Мистер Коннау холодно взглянул на юнца и сказал мне:

— Мне кажется, нам пора уходить отсюда. — Но мое облегчение тут же улетучилось, когда он добавил: — У меня в каюте есть виски, ведь ночь длинная.

Что оставалось делать? Сказать, что я не ужинал? Он все равно стал бы ждать меня в каюте. Он поднялся, рослый, самодовольный, решительный. Я, разумеется, пожелал оплатить половину счета, но он жестом отверг мое предложение и направился к двери. Я пошел за ним. Мы втиснулись в битком набитый лифт. На теплоходе была уйма народу, люди толпились у игровых автоматов, сидели на лестницах, их юные отпрыски с криками носились взад-вперед, и меня снова охватил страх. Когда мы наконец добрались до каюты, я дрожал с головы до ног. Мистер Коннау убрал на место свой багаж, достал бутылку виски и поставил на маленький столик у окна два серебряных бокала, которые он тоже прихватил с собой. Потом сел на койку, которая под ним затрещала, для него она оказалась слишком хрупкой и тесной. Каюта была первого класса, мне обещали отдельную, с баром, таким элегантным шкафчиком, где хранятся

прохладительные напитки, чипсы и соленые орешки. Я открыл дверцу бара.

— О нет, только не с содовой, — сказал мистер Коннау. — Виски нужно пить на шотландский манер, с обыкновенной водой. Мой отец был шотландцем.

Я поспешил в ванную, наполнил стакан из-под зубной щетки водой и чуть не споткнулся о слишком высокий порог.

— Лед нужен? — спросил я.

Он покачал головой. Налив немного воды, он откинулся назад и помолчал. Мое настроение внезапно переменилось, спокойствия как не бывало. Я был абсолютно уверен, что он будет сидеть и пить еще несколько часов.

— То you<sup>[69]</sup>, — сказал он. — Все в жизни повторяется.

— То you, — ответил я.

— Едешь, едешь, то туда, то сюда. И знаешь точно, куда приедешь. Каждый раз одно и то же. Домой и из дома, из дома и снова домой.

— Вовсе не обязательно, — возразил я. — Бывают случаи...

Но он прервал меня. Я собирался рассказать ему, что понятия не имею, где остановлюсь, что я даже не заказал номер в отеле. Мне хотелось нарисовать ему романтическую картину моей новой, свободной, можно сказать, беспечной жизни, но он уже начал излагать мне свои проблемы: жена, дети, дом, собака, которая умерла при трагических обстоятельствах... Я полностью отключился. Пожалуй, впервые в жизни я замкнулся в себе, решив, что ни за что не стану сочувствовать, ведь это кошмарное чувство, я повторяю, кошмарное, не раз доставляло мне, да и окружающим, жуткие неприятности. Теперь вы, быть может, поймете, почему я уехал, все бросив? Быть может, вы почувствуете, насколько я устал, устал до отвращения постоянно жалеть кого-нибудь?

Разумеется, я жалел людей. Ведь каждого мучит какая-нибудь тайная печаль, разочарование, страх или стыд, нечто неизбывное. И стоит какому-нибудь бедолаге только повстречаться со мной... у них просто какой-то нюх на меня... Ну вот, потому-то я и сбежал от них.

Я слушал мистера Коннау вполуха, и в груди у меня все сильнее закипал несвойственный мне гнев. Я опустошил стакан и резко оборвал своего собеседника:

— А что вы от них ожидали? Ведь вы явно избаловали их. А может, и напугали! Предоставьте им быть самостоятельными, пусть они делают что хотят! — Возможно, виски повлияло на меня, потому что я решительно добавил: — Прекратите давить на них! Оставьте их всех в покое! И про дом забудьте!

Но он почти не слушал меня и снова достал фотографии.

Мне кажется, что жалобы людей в основном похожи друг на друга, во всяком случае, будничные проблемы почти одинаковы, ну разумеется, если крыша не протекает, есть что положить в рот и жизни ничто не угрожает, я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. По моим наблюдениям, судьбы людей, не считая катастроф, повторяются довольно однообразно: он или она изменяет, либо разлюбили, надоела работа, лопнул воздушный шарик амбиций или мечты, время вдруг начинает бежать с ужасающей быстротой, члены семьи ведут себя как-то непонятно, пугающе, дружба как-то совершенно незаметно переходит во вражду, силы уходят на какие-то пустячные дела, а долг и обязанность не дают покоя, — и все это вместе вызывает безотчетное чувство неуверенности, страха. Старая история. Поводов для недовольства жизнью не счесть, они возникают постоянно, мне хорошо известны все оттенки огорчений и неудовольствий. Пора бы мне к этому привыкнуть и иметь на все готовый совет, но я на это не способен. Да и можно ли найти такие советы, которым стоит следовать наверняка? Волей-неволей приходится просто выслушивать каждого. Между прочим, похоже, что никто и не ждет дельных советов, каждый продолжает без конца поверять тебе свои горести, вцепившись в тебя мертвой хваткой. И вот теперь мне приходилось сидеть с мистером Коннау и отчаянно пытаться не сочувствовать ему. Да, путешествие мне предстояло утомительное и долгое. В данный момент он рассказывал о том, как его никто не понимал в детстве.

Началась качка, правда не очень сильная. Меня никогда не укачивает в море. Однако я решительно сказал:

— Меня начинает подташнивать, мистер Коннау.

— Не мистер Коннау, а Альберт. Разве я не просил тебя называть меня запросто, Альбертом? И вот этот страх...

— Альберт, мне надо подняться на палубу и подышать свежим воздухом. Я чувствую себя скверно.

— Пустяки, — возразил он. — Выпей немедленно чистого виски. А воздуха тебе и здесь хватит вволю.

Вы, верно, знаете, что иллюминаторы задраены намертво, но он тем не менее удивительно ловко с этим справился, резкий порыв влажного ледяного воздуха ударил мне в лицо с такой силой, что я чуть не задохнулся. Гардины взлетели вверх, мой стакан упал на пол.

— Отлично, — бодро сказал он. — Недурно я справился с этим окном. Знаешь, а ведь я когда-то мечтал стать боксером.

Я накинул плащ.

— Послушай, Альберт, а чем ты собственно говоря, занимаешься?

— Бизнесом, — коротко ответил он.

Видно, мой вопрос заставил его приуныть. Наступило долгое молчание. Мы выпили. Время от времени наш стол обдавали соленые брызги. Я попытался неудачно пошутить, сказав, что у нас в стаканах прибавилось водички, и тут, к своему ужасу, увидел, как в глазах мистера Коннау появились слезы и его лицо исказилось.

— Тебе этого не понять. Ты не знаешь, каково мне сейчас...

Я просто не выношу слез, стоит кому-нибудь заплакать при мне, я пропал. Я тут же готов обещать что угодно: вечную дружбу, деньги (хотя в данном случае дело было не в них), свою постель, выполнение любого поручения. И надо же было этому большому сильному человеку заплакать... Я пришел в отчаяние, вскочил, стал предлагать все, что приходило на ум, — пойти в ночной клуб, в бассейн, куда угодно. Но тут теплоход сильно качнуло, и я влетел в объятия мистера Коннау. Он вцепился в меня, словно утопающий, и прижался лицом к моему плечу. Это было ужасно. Мое положение было во многих отношениях крайне неудобным. В такой ситуации я еще никогда не оказывался. К счастью, теплоход основательно качнуло еще раз, в окно влетел целый шквал соленых брызг. Мистер Коннау рванулся к столику, он успел спасти свою бутылку и принялся закрывать иллюминатор. Я выскочил в коридор, помчался наугад, потом остановился в полном изнеможении перевести дух. Вокруг было пусто и тихо. Я выпянул в открытую дверь и увидел палубу. Довольно большое пространство заставлено креслами, у многих из них спинки уже откинута. Некоторые пассажиры уже спали, завернувшись в одеяла. Я осторожно прошел на нижнюю палубу, взял одеяло и выбрал кресло у самой стенки. Великолепно! Наконец-то можно уснуть,

погрузиться в тишину и забыть. У меня ужасно болела голова, одежда намочла, но меня это мало беспокоило. Я натянул одеяло на голову и растворился в абсолютном, безразличном покое.

Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Кто-то пытался стянуть с меня одеяло. Женский голос повторял: «Это мое кресло, номер тридцать один. У меня есть на него квитанция...» Я сел, совершенно ошеломленный, и стал извиняться, объясняя, что занял это кресло случайно, мол, освещение здесь плохое, и я очень сожалею...

— Ничего, — уныло ответила женщина, — я привыкла к подобным недоразумениям.

Голова у меня разболелась еще сильнее, к тому же я ужасно замерз. Почти все кресла были заняты спящими пассажирами, я просто-напросто уселся на пол и стал массировать затылок.

— У вас что, нет квитанции? — строго спросила женщина.

— Нет.

— Вы потеряли ее? Все каюты заняты. И здесь, на палубе, ни одного свободного места.

Я ничего не ответил. Может, они разрешат мне спать хотя бы на полу.

— Где вы так промокли? — продолжала она. — От вас разит виски. Мой сын Херберт тоже пьет виски. Один раз он упал в озеро.

Она сидела, закутавшись в мое одеяло до подбородка и положив шляпу к ногам, маленькая, костлявая, седовласая, с загорелым лицом и крошечными пронзительными глазками.

— Мой чемодан стоит вон там. Принесите его сюда, если сможете. В таком месте, как это, надежнее держать свои вещи рядом с собой. Осторожнее, не поломайте коробку с печеньем. Я везу ее Херберту.

Чуть погодя пришли еще пассажиры и стали искать свои кресла. Теплоход сильно качало, кого-то поодаль стошнило в бумажный мешок.

— В Лондоне все будет по-другому, — сказала старая дама, подвинув чемодан поближе к своему креслу. — Нужно только отыскать его адрес. Вы не подскажете, где узнают адреса?

— Нет, — ответил я. — Но, быть может, помощник капитана...

— И вы собираетесь спать так всю ночь?

— Да, я очень устал.

— Понимаю. Виски стоит дорого, — добавила она чуть погодя. — Вы ничего не ели?

— Нет.

— Так я и думала. У них есть еда в гриль-баре. Но мне он не по карману.

Я свернулся калачиком на полу, запахнул поплотнее плащ и тщетно попытался уснуть. Как могла эта старуха отправиться в Лондон, даже не зная адреса сына? Ведь ее непременно задержат, когда она сойдет на берег.

Времена нынче таковы, что нужно предъявить бумагу, к кому едешь, и иметь определенную сумму денег, а не то тебя не впустят в страну... Откуда она сама-то? Верно, из глухой провинции. Она испекла сыну печенье... Господи, до чего же люди беспомощны и бестолковы!

Я поспал немного и снова проснулся. Она храпела, свесив руку с кресла. Рука у нее была усталая, морщинистая, загорелая, на пальце два широких обручальных кольца. Теперь затошнило многих, и воздух стал просто невыносимым. Я решил выйти на верхнюю открытую палубу. Из-за давнего отвращения к лифтам, я стал подниматься по лестнице и остановился напротив гриль-бара, где люди все еще сидели и жевали. После некоторого колебания купил несколько больших бутербродов и бутылку пива. Потом снова спустился вниз и пошел на прежнее место. Старуха не спала.

— Ах, как вы добры, — сказала она и тут же принялась уписывать бутерброды. — Оставить вам половину?

Но есть мне уже расхотелось. Я сидел и думал, сколько ей понадобится денег, чтобы сойти на берег. Найдется ли в Лондоне какой-нибудь благотворительный отель, готовый приютить заблудившуюся путешественницу? Нужно будет спросить помощника капитана, он, наверное, знает...

— Меня зовут Эмма Фагерберг, — сообщила она.

Лежавший рядом пассажир высунул голову из-под одеяла и сказал:

— Хватит болтать! Не дают заснуть.

Эмма Фагерберг вытащила из-под подушки сумочку.

— Вы такой добрый, — прошептала она. — Я покажу вам фотографию моего сына. Вот таким был Херберт в четыре года. Снимок плоховатый, но у меня есть еще много, получше этого...

Однажды февральским днем в горное селение к западу от Аликанте прибыла профессор Виктория Юханссон. Селение, где ей предстояло жить некоторое время у своей крестной дочери Элисабет, было небольшим и очень старым. Узкие дома, плотно прилегающие друг к другу, карабкались вверх по горному склону, точь-в-точь как на красочных открытках с видами здешних мест, которые Элисабет время от времени посылала своей крестной матери.

Поездка была долгой и утомительной. Виктория была несколько разочарована тем, что Элисабет не встретила ее в аэропорту, как они договорились, хотя, скорее, быть может, удивлена: они обе так долго готовились к этой поездке и так искренне ждали ее. Колокольчика у ворот не было. Виктория постучала в ворота, но в ответ ничего, только две пестрые кошки шмыгнули вниз со стены и замаякали. Тогда Виктория вытащила из сумочки запасные ключи Элисабет и вошла в патио<sup>[70]</sup>. Оно было небольшим, но почти таким, каким и должно быть: вымощенный камнем дворик, растения в выстроенных, как на параде, пузатых глиняных горшках, а над головой — легкий покров зелени. Виктория поставила чемоданы и сказала самой себе: «Ага, патио».

Патио казалось таким надежным, оно отвечало ее мечтам об этой дальней чужеземной стране. Поскольку Элисабет дома не было, Виктория отперла следующую дверь. После яркого солнечного света комната казалась совершенно темной. Там было лишь одно-единственное окошко, совсем маленькое. Его обрамляла ярко-зеленая листва, усеянная апельсинами. «Можно бы высунуться из окна и сорвать фрукты, — подумала усталая Виктория, — если бы точно знать, чье это дерево — Элисабет или, возможно, соседей...» Стояла мертвая тишина. И тут она увидела, что в комнате полнейший беспорядок, все разбросано: платья, бумаги, остатки еды, повсюду следы спешки, а посередине стола — письмо. Виктория прочитала его стоя: «Дорогая крестная только что узнала мама тяжело больна сейчас же вылетаю самолетом. Надеюсь ты справишься ужасно огорчена что так получилось если газовый баллон кончится Хосе что из кафе возле



площади поможет тебе и с дровами тоже он немного говорит по-французски спешу Твоя Элисабет. P. S. Надо бы написать тебе поподробней но не успела».

«Бедное дитя, — подумала Виктория, — и надо же, чтобы Хильда заболела именно в такой момент... Но она была болезненной уже тогда, и взбираться на холмы ей было не под силу. В тот раз, когда мы ездили в Шотландию, должно быть, это было в тысяча девятьсот... ну да, во всяком случае, мы были очень молоды. Но ездить с ней было довольно обременительно... она вечно хныкала. Мы часто говорили о том, чтобы поехать в „Das Land, wo die Citronen bliihen“<sup>[71]</sup> или в Испанию... Я напишу ей. И Элисабет тоже. Но всему свое время, надо все делать по порядку. Интересно, как зажигают газовую плиту...»

Виктория сняла шляпу. Сидя на стуле с прямой спинкой, в побеленной чопорной комнате Хильды, она попыталась и дальше думать о подруге своей юности. Но образ Хильды становился все более и более туманным, едва ли чем-то иным, нежели почти забытым угрызением совести. Виктория закурила третью за этот день сигарету и посвятила себя разглядыванию апельсинов за окном.

Викторию Юханссон в свое время обожали ученики, она умела пробудить их интерес, ее неожиданные паузы не имели ничего общего с рассеянностью; во время этих пауз формулировалась идея, которую следовало изложить с абсолютной ясностью. Да и позднее, в университете, где она читала курс лекций по филологии Севера, Виктория внушала всем большое уважение, несмотря на свою мягкость и тотальное неумение что-либо хулить или навести хоть какой-нибудь порядок в своих бумагах и заметках, которые она вечно теряла или забывала.

Возможно, причиной этого уважения была беспомощная непрактичность Виктории, обезоруживавшая ее учеников, и постоянная ее доброжелательность, пресекавшая всяческую попытку критиканства или насмешки. И кроме того, она внушала уверенность; Виктория казалась надежной уже издалека: невысокая крепкая фигура, которая в тупоносых туфлях спокойно шагала тебе навстречу. Виктория любила ходить в trenchcoat и вообще в широких платьях, но это не мешало тому, что ее tatercape<sup>[72]</sup> была из шиншиллы, а жемчуг — натуральным. Она надевала свое жемчужное ожерелье, когда к ней приходили в гости ученики. Еще до того, как Виктория начала

работать в университете, она имела обыкновение устраивать для них раз в неделю небольшие party<sup>[73]</sup>; в те времена она угощала их горячим шоколадом с пирожными, потом — мартини с маслинами, и можно было, если захочешь, привести с собой своего друга. Кому-то это могло показаться несколько нарочитой любезностью, но все в конце концов тушевались пред Викторией и заведенным ею порядком вещей; ее не стоило критиковать, ее поступки можно было лишь принимать или нет. Когда молодые люди приходили в гости к Виктории, они держали пари: с чем она не справилась на сей раз; это становилось своего рода игрой. Быть может, она не смогла вытащить пробку из мартини, или же пробка провалилась в бутылку, в квартире погас свет, и никак не исправить повреждение, окно не закрыть, какой-то важный документ завалился за книжную полку и так далее... С известной нежностью приводили они все в порядок, а потом смеясь говорили: «Милая старушка Виктория». Элисабет, возможно, не принадлежала к числу лучших ее учеников, но была прелестна, просто очень прелестна.

Комнату на верхнем этаже в доме Хильды, предназначенную для Виктории, Элисабет привела в порядок. Халат положен на кровать, букет камнеломки, пепельница — на столе. А самое большое внимание со стороны Элисабет — книга Стенли Гарднера<sup>[74]</sup> — милое дитя не забыло, что Виктория питает слабость к детективам.

Окошко здесь было таким же маленьким, но зато сверху видны были длинные террасы, что, поднимаясь все выше и выше, окаймляли горный склон белыми и розовыми рядами цветущих миндальных деревьев. Элисабет рассказывала о террасах, удерживавших землю от обвалов и строившихся столетиями, она говорила, что в нынешние времена не много найдется таких людей, кто умеет строить стены на старинный манер, без строительного раствора, но как бы обрамляя каждый камень тончайшей деревянной инкрустацией. Виктория как раз чрезвычайно интересовалась стенами; однажды за городом она пыталась подправить каменный причал у берега, но если уж у тебя нет практической сноровки, то ее у тебя, к сожалению, и не будет.

Еще одна маленькая лесенка вела вверх, на террасу на крыше. И оттуда внезапно открывались просторы невиданной красоты. Перед Викторией с истинной величавостью простирались горные цепи, а внизу, в глубокой чаше долины, сама Виктория меньше блохи. Пейзаж

выпядел трагическим, торжественным и абсолютно замкнутым. Создавал ли он настроение? От него веяло совершеннейшим одиночеством. Виктория молча стояла и прислушивалась, а потом вдруг заметила, что тишина не была абсолютной: то время от времени — собачий лай, то внизу на проселочной дороге у городка — автомобиль, а очень-очень далеко — звон церковных колоколов. «Все познается в сравнении, — думала она, — ведь и море становится более просторным, если видишь несколько островов, прерывающих линию горизонта... Необходимы контрасты. А теперь, теперь я думаю, что этот трудный день оказался довольно длинным для меня. Я не стану распаковывать вещи и не стану готовить еду. Пойду лягу».

Сон Виктории был преисполнен мирным покоем и таинственными картинами. Перед восходом солнца запели петухи, в селении, должно быть, было множество петухов. Настало утро. В комнате сделалось ужасно холодно, особенно остыл каменный пол. Виктория надела все шерстяные вещи, какие только у нее были, и спустилась вниз по лестнице, открыла окошко, обрамленное ярко-зеленой листвой, усеянной апельсинами, и высунулась наружу; она держала в руке апельсин, но не могла заставить себя сорвать его, каким-то образом это было бы не в ее стиле. Пожалуй, лучше выпить чашку чаю.

Слава богу, горелка зажглась, газовый баллон еще не кончился. Был в кухне еще другой аппарат, который, возможно, имел отношение к теплой воде. Виктория осторожно нажала на кнопку, и аппарат, обеспокоенно шипя, зашумел, так что она снова выключила его и вскипятила чай на конфорке. Холодильник был полон мелких аккуратных полиэтиленовых пакетов, она открыла один из них, но поняла, что в нем замороженная каракатица, и снова быстро закрыла пакет. Баночка с джемом показалась ей такой, какой ей и должно быть. Возможно, именно эта добропорядочная баночка омрачила мысли Виктории: «Вторгаться в жизнь другого человека, в холодильник Элисабет, в ее постель, в ее исполненный страха отъезд... Я эгоистична. Что мне известно об Элисабет? В умывальной комнате — безопасная бритва, может, ему пришлось куда-то переехать из-за меня?»

Виктория надела плащ и шляпу, налила молока кошкам и вышла. Утро было прохладным, солнце едва перевалило через гребни гор.

Улица заканчивалась у рынка маленькой красивой площадью с фонтаном посредине и парой деревьев, на которых листва еще не появилась; надо будет выяснить, что это за деревья. Быть может, платаны? Там был магазин и кафе, о котором писала Элисабет, кафе, принадлежавшее некоему Хосе, и большой желтый почтовый ящик, показавшийся Виктории каким-то по-домашнему уютным и надежным. Надо купить марки и послать красивые открытки нескольким бывшими ученикам. Все двери были еще заперты. Какой-то старый человек пересек площадь, и они поздоровались. «Теперь я здесь живу, — подумала Виктория, и легкий холодок радости пробежал у нее по спине. — Со мной, проходя мимо, здороваются... Все будет хорошо».

В тени патио она раскрыла «Путеводитель для туристов» с самыми обычными выражениями: «Не будете ли вы столь любезны... Я огорчен, прошу прощения, где мне найти сапожника, портного, магазин сувениров, салон красоты...»

Около двенадцати в ворота постучали и вошел молодой человек с ящиком. Он улыбнулся и стал что-то объяснять, чего Виктория не поняла. Затем он начал сверлить большую дырку в стене. Странно, тебе кажется, что ты научился произносить множество красивых и общеупотребительных слов на испанском языке, но, когда заходит речь о чем-то конкретном, все слова куда-то исчезают. Виктория предложила молодому человеку вина, сигареты, она суежилась вокруг него до тех пор, пока дырка не была готова. А потом он ушел. Чуть позднее он явился снова, так же красиво улыбнулся и преподнес ей громадный букет, просто куст мимозы. Виктория была ошеломлена. Мимоза, которую покупают только маленькими-премаленькими веточками кому-нибудь на день рождения... Словно бы чужая страна признала ее, невероятно, надо будет рассказать об этом Элисабет.

Теперь он заливал дырку цементом. Он убрал за собой, посмотрел на Викторию и засмеялся.

— Очень красивая работа, — застенчиво сказала Виктория. — Очень, очень красиво!

Когда на следующий день в ворота постучали, Виктория решила, что пришел тот же молодой человек, быть может, продолжить возню со стеной, но за воротами стояла рыжеволосая женщина, говорившая

по-английски и пожелавшая увидиться с Элисабет. С ней были четыре маленькие собачки.

— Ах как мило! — воскликнула Виктория. — Входите, ради бога! Сколько собачек! Садитесь! К сожалению, Элисабет нет дома: бедная девочка вынуждена была уехать, ее мама заболела... Я — крестная мать Элисабет, Виктория Юханссон. Не могу ли я пригласить вас на чашку чаю?

— Жозефина О'Салливан, — представилась гостя Виктории. — Спасибо, быть может, обойдемся без чаю, никаких ненужных хлопот... Хотя у Элисабет обычно стоит в кухонном шкафу немного вина.

Виктория поискала в шкафу и нашла полбутылки виски.

Собачки улеглись у самого стула, на котором сидела Жозефина, а через некоторое время парочка собачонок прыгнула в ее объятия.

— Ваше здоровье! — провозгласила Виктория, она не любила виски. — Вы давно здесь живете, мисс О'Салливан?

— Всего лишь год. Но большинство людей в колонии живут гораздо дольше.

— В колонии?

— Да, в английской колонии. Тут есть и несколько американцев. Жить здесь дешево.

— И красиво, — добавила Виктория. — Так спокойно, настоящий рай!

Жозефина засмеялась, ее маленькое личико сморщилось и стало гораздо старше.

Прогнав собачек с коленей, она осушила свой стакан.

— Они, кажется, очень преданы вам, — сказала Виктория. — Можно налить еще?

— Да, спасибо.

— Сигареты?

— Спасибо, у меня есть. — Жозефина долгое время молчала, она закурила свою сигарету, сделала несколько затяжек и резко бросила недокуренную сигарету в пепельницу. — Вы говорите — рай! Но здесь тоже есть свои змеи! Бродить тут уже небезопасно. И нет никого, кто бы навел хоть мало-мальский порядок.

— Но испанцы... — начала было Виктория.

Жозефина нетерпеливо прервала ее:

— Вы не понимаете. Но, ради бога, не беспокойтесь об этом.

Одна из собачек снова прыгнула к ней на колени, остальные забились под стул. Виктория сказала:

— Какая жалость, что Элисабет не дома. Могу я чем-нибудь помочь?

— Нет. Вы не понимаете.

Несколько мотоциклов проехало мимо, и снова воцарилась тишина.

— Никому нет до этого дела! Никому! — с внезапной горячностью воскликнула Жозефина.

Самая маленькая собачонка вскочила и залаяла.

— На место! — крикнула ее хозяйка. — На место! А вы, вы с вашим раем! Если бы кто-нибудь поклялся отнять у вас жизнь, как бы вы назвали это тогда?

Тут залаяли все собачки. Виктория сказала:

— Мне кажется, им нужно выйти?

Когда она вывела собак в патио и вернулась обратно, ее гостья стояла у окна, повернувшись спиной к комнате. Виктория ждала.

— Смит — фамилия этой женщины, — снова начала Жозефина. — Подумаешь! — Теперь она говорила спокойно, сжав зубы: — Смит, представьте себе. Ходит по всему селению, размахивает ножом и говорит, что убьет меня. А я живу с ней по соседству. За стеной. Она ненавидит собак и стереомузыку, она подсовывает письма с угрозами под дверь и строит гримасы моей уборщице, а на прошлой неделе срезала мою мимозу! Я пошла в полицию, но они сказали: пока что-нибудь не случится, ничего нельзя сделать, иными словами, пока мне не перережут горло.

— А мимоза была высокая? — спросила Виктория. Жозефина бросила на нее сердитый взгляд.

— Метр высотой, — отрезала она.

— А как реагируют на это собаки?

— Они, само собой, лают.

— Мисс О'Салливан, не совершайте опрометчивых поступков. «Убить» — слишком громкое слово, нужно не раз подумать, прежде чем осторожно произнести его. Здесь довольно холодно, что, если зажечь огонь? Мне кажется, дрова Элисабет в патио.

В патио лежали большие поленья оливковых деревьев и какие-то мохнатые ветви; Жозефина принялась разжигать огонь, и он разгорелся ярко-голубыми языками.

— Как красиво горит, — сказала Виктория. — Совсем иначе... Совсем не так, как дома.

Виктория вспомнила своих учеников, приходивших к ней рассказать о чем-либо тяжелом или мучительном; и всегда становилось чуточку легче, если разжигали огонь в печке.

Она сказала;

— Мисс О'Салливан, я серьезно подумаю о вашей проблеме и попытаюсь найти способ вам помочь. Но мне придется подумать как следует.

Жозефина повернулась к Виктории, вся ее осанка как-то изменилась, она расслабилась, лицо утратило напряженность, и она прошептала:

— Вы в самом деле хотите мне помочь? Всерьез? Могу я на вас положиться, да?

— Естественно, — ответила Виктория. — Это необходимо уладить. А теперь вы идите домой и попытайтесь подумать о чем-нибудь другом. — Она чуть было не сказала: «Возьмите увлекательный детектив», но вовремя остановилась.

Когда Жозефина ушла со своими собаками, Виктория достала бумагу и ручку, закурила сигарету и расположилась у огня. Она была очень взбудоражена. Сначала она написала: «Дело Жозефины», затем, немного поразмыслив, изменила формулировку: «Женщина с ножом».

1. Женщину с ножом я обозначу X. — это лучше, чем Смит, интересно, кто плавная зачинщица — она или Ж.? Или они обе. (Констатация факта; полиция — out<sup>[75]</sup>, не желает помочь.)

2. Выяснить, разрешено ли в Испании бегать по всей округе и грозить людям ножом. Могли бы, по крайней мере, оштрафовать X. за такое шокирующее поведение, но это, возможно, сделает ее еще более агрессивной. И какое оружие она избрала? Стилет? Кухонный нож? Кажется, это важная деталь, разумеется, психологически. Что я знаю о X.? Ничего.

3. Мотив. Собаки и стереомузыка... Этого недостаточно, должно быть что-нибудь еще, более значительное. Выяснить мотив.

4. Как выяснить? Наладить контакт с Х. Срочное ли это дело? Говорит ли Ж. правду? Не симулирует ли она? Не поговорить ли с Х., но дипломатично.

\* \* \*

Огонь горел, теперь в комнате было очень тепло. Виктория решила, что, поскольку у всех здесь посреди бела дня сиеста<sup>[76]</sup>, она тоже может с чистой совестью принять в этом участие. Замечательная привычка, следовало бы ввести этот обычай в Скандинавии.

Виктория нанесла визит Хосе в его кафе, дала ему свою визитную карточку, а его жене — коробку шоколадных конфет, предназначенных, собственно говоря, для Элисабет. Когда Хосе подал ей кофе, она немного поболтала о погоде, о красоте природы и спросила, поддерживает ли он контакт с иностранцами в этом селении.

Он пожал плечами.

— Все больше заняты сами собой, — сказал он. — Здесь живут пенсионеры. Большею частью женщины, вы понимаете... они живут дольше.

— Чем они занимаются?

— Ходят друг к другу с визитами, — ответил, усмехнувшись, Хосе.

Виктория как бы невзначай упомянула, что слышала об одной из дам, некоей мисс Смит; она, Виктория, быть может, посетит ее на днях.

— В самом деле? — спросил Хосе. — Вот как, значит? — Он повернулся к жене, стоявшей за прилавком и прислушивавшейся к их беседе: — Каталина, слышала последние новости, эта миссис профессор собирается нанести визит мисс Смит!

— Сохрани бог! — сказала Каталина. — Она никогда не войдет к ней в дом.

К дому, в котором Жозефина жила по соседству с Х., вела длинная ужасная лестница. Когда Виктория поднялась наверх, она присела на одну из низеньких каменных стен — подождать и просмотреть список испанских слов. Прошло очень много времени, прежде чем Х.



вышла из своих ворот, заперла их и молча постояла, словно не зная, куда ей идти. Но во всяком случае, в руках у нее была хозяйственная сумка, так что, вероятно, она шла в магазин. Х. была совсем маленького роста и вовсе не казалась опасной. Волосы у нее были седые, и никакого намека на прическу. И никакого ножа. Но вот она сдвинулась с места.

— Извините, — сказала Виктория. — Я так плохо себя чувствую. Где я могла бы выпить стакан воды?

— У колонки на площади, — ответила Х.

Глаза у нее были подозрительные и очень темные.

— Не думаю, что я в состоянии так далеко пройти... Жарко, и я не привыкла...

И таким вот образом Виктория все же вошла в маленький узкий домик, где жила Х. Теперь Виктории в самом деле было нехорошо, так как она не привыкла обманывать.

Х. поставила перед ней на стол стакан воды и пошла обратно к дверям; через некоторое время она спросила, не лучше ли Виктории.

— Не совсем, — откровенно ответила Виктория. — Простите меня, моя милая, но не могли бы вы ненадолго присесть. Надеюсь, это не солнечный удар...

Х. присела на стул возле дверей.

— Я не привыкла к жаре, — продолжала Виктория. — Вы не слышали, не бывало ли солнечного удара у кого-либо в колонии?

— Нет, — презрительно ответила Х. — Но если бы у кого-нибудь он и был, меня это нисколько не удивило бы. Половину своего времени они только и делают, что жарятся на солнце.

— А другую половину?

— Приемы. Сами увидите. Пьют коктейли, и сплетничают, и болтают всякую чушь, ни о чем. И недели не пройдет, как вы с головой окунетесь во все это, вы ведь принадлежите к числу избранных.

— Сохрани меня бог, — сказала Виктория. — Это звучит ужасно.

Х., оставив хозяйственную сумку в сторону, заговорила горячо, но несколько понизив голос:

— Да, это ужасно, они вторгаются в один покинутый дом за другим и приводят их в порядок; внутри — все, насколько это им доступно, модернизируют, но снаружи дом должен оставаться

примитивным и романтическим. Эти люди живут такой легкой жизнью! Они просто срослись со своими автомобилями и собачонками. Тьма египетская! Я живу здесь с самого начала, уже двадцать лет! Чего только я не насмотрелась! Они подрывают все вокруг.

— Как смоковница, — заметила Виктория.

— Что вы имеете в виду?

— Смоковницу! Моя крестница Элисабет рассказывала мне о смоковнице. Ее корни простираются очень широко, они могут подрывать каменные стены и дороги, все что угодно. Они не оставляют места для чего-либо другого.

— Да, — подтвердила Х., — места для чего-либо другого не остается. И неизвестно, что еще будет!

Она поднялась и в ожидании встала у двери.

На обратном пути Виктория пыталась представить себе, что испытывает человек, оказавшийся абсолютно вне общества. Мысль об этом была не нова и уже давно тяготила ее, — мысль об учениках, которые были изолированы от всего, чем занимались их товарищи; они приходили к ней и спрашивали, что же им делать. «Весьма огорчительная ситуация, по-настоящему сложная». Виктория разорвала свои записи о женщине с ножом. Но «Дело Жозефины» никоим образом не было исчерпано, оно только вступило в новую фазу.

На следующее утро к Виктории ворвалась Жозефина со всеми своими собачонками; уже в дверях она закричала:

— Профессор, дорогой профессор Виктория, говорят, вы были у нее! Что она сказала обо мне?

— Ничего.

— Но что-то же она говорила, верно? Виктория, погладив самую маленькую и самую нервную собачонку, сказала:

— Я думаю, эта женщина страшно одинока.

— И это все! — воскликнула Жозефина. — Вы ничего больше не узнали, кроме того, что она одинока? Это я могла бы сказать вам с самого начала... Почему она ненавидит именно меня, хотела бы я знать!

— Дорогая мисс О'Салливан! — сказала Виктория. — Успокойтесь. Я всего лишь в самом начале расследования.

И она подумала, рассердившись на самое себя: «Расследование! Как претенциозно, я просто начиталась детективов...»

Она быстро сказала:

— Вы ведь знаете... Люди могут воспринимать некоторые вещи превратно, по какой-то совершенно незначительной причине, быть может, из-за разочарования, а потом все только растет и растет, как снежный ком, в ненужном направлении, откуда не рухнет...

— Вы защищаете ее? — запальчиво крикнула Жозефина. — Что вы еще можете мне сказать? Одинока, одинока — я-то тут, пожалуй, ни при чем! Вы обещали...

— Да, знаю, я обещала. Но присядьте, не желаете ли стаканчик виски?

— Пожалуй, только совсем маленький, — рассерженно ответила Жозефина. — Мне надо к Уайнрайтам.

— У них прием?

— Да, у них прием.

— Послушайте меня, — сказала Виктория, — я ищу мотив ее поступков, и мне кажется, я его нашла. Она превратила вас в своего рода символ...

Но Жозефина не пожелала прислушиваться к ее словам, теперь она начала болтать о леди Олдфилд, которая хотела бы пригласить профессора Викторину на свой прием в следующий четверг, прием — сугубо интеллектуальный, будет лишь самый узкий круг избранных... Они не имеют ничего против того, чтобы расширить колонию.

Пригласите Х., сердито подумала Виктория, я не желаю иметь ничего общего с их колонией, пусть расширяют ее как им угодно.

Жозефина внезапно замолчала и, уставившись на Викторину, спросила:

— В чем дело, почему у вас такой вид? Вы больше не хотите мне помогать?

— Конечно хочу. Но вы должны попытаться понять, что у фрёкен Смит серьезная проблема...

— Вот как, — прервала ее Жозефина, — вы защищаете ее! Вы должны понять, что она опасна, не верьте ее словам, она ведьма, способна исказить все на свете и превратить белое в черное, я это знаю! Я запрещаю вам встречаться с ней.

Виктория почувствовала, как вспыхнуло ее лицо, она заговорила, но ее снова прервали:

— Да, да, я знаю, что вы хотите сказать, но с ней вообще говорить не стоит. Идите в полицию, если хотите чем-то помочь, идите в сумасшедший дом! Она психопатка, ее надо остановить!

Одна из собак залаяла.

— Мисс О'Салливан, — сказала совершенно изможденная Виктория, — может быть, мы обсудим этот вопрос в другой раз. Простите, мне надо написать важное письмо.

Я была неприветлива, довела до того, что меня оскорбили, это было ненужно. Но кто такая эта Жозефина, она едва ли достигла даже среднего возраста, чтобы распоряжаться мною и запрещать делать то, что я считаю правильным?! Глупости! Я имею право злиться. Я хорошо знаю: молоды вы или стары, разница не так уж велика, как можно было бы подумать. Одна — вне этого общества, другая пытается навязать мне себя, все — худо. Она говорит: психопатка. Психопатка, которую надо остановить. Существует немало способов остановить...

*«Дорогая Хильда!*

*Здесь, в твоём прекрасном доме, предо мной встает столько воспоминаний о наших давних поездках в незапамятные времена в Шотландию и в Ирландию. Помнишь, как мы собирали весенние цветы где-то возле Голуэя? И поставили их потом в консервной банке на подоконник? На днях я нашла первые весенние цветы у обочины, но они...»*

Нет, нехорошо. Сентиментально. И, собственно говоря, насколько серьезно она больна?

*«Дорогая Хильда,*

*Здесь так спокойно и гармонично».*

Нет, чепуха. И образ Хильды снова поплыл в тумане.

Можно было бы поболтать друг с другом. Вообще-то наши путешествия были не очень веселые, но можно было обсудить разные дела и попытаться выяснить, почему все получилось не так, как хотелось: она ли стесняла мою свободу, мое веселое любопытство, или же это я запугала ее, вогнала в визгливую беспомощность? Вообще, все это чрезвычайно интересно. Может, я напишу ей немного позднее.

Выйдя из дома, Виктория постучала в ворота дома, где жила Х., даже не предположив заранее, что она ей скажет. Х., молчаливая, с абсолютно замкнутым лицом, впустила ее...

— Добрый вечер, — сказала Виктория, — у меня, собственно, никаких дел нет, просто появилось желание зайти.

— Стало быть, это визит, — сказала Х. — Насколько я понимаю, своего рода социальная акция. Вы уже приняты в их колонию?

— Нет. Полагаю, мне лучше держаться подальше от нее.

— Садитесь. Хотите что-нибудь выпить?

— Нет, спасибо, не сегодня. Мне ничего не надо.

После долгого молчания Х. высказалась:

— И никакой беседы? Вообще ничего? Ни малейшего утешения несчастной одинокой затворнице?

— Вам эта роль не подходит. Но вы совершенно правы. Во всяком случае, одинокие затворницы меня интересуют. Но они бывают разные.

— Я знаю, что вы имеете в виду, — сказала Х. — Я знаю точно, что вы скажете. Существует разного рода одиночество. Вынужденное и избранное самим человеком.

Виктория тотчас согласилась:

— Вы совершенно нравы. И нет необходимости развивать дальше эту тему. Но если понимать друг друга без слов, остается лишь, собственно говоря, немного поболтать ни о чем, не правда ли? Такое со мной уже случалось, не часто, но иногда. Уютная тишина — это приятно.

Хозяйка зажгла лампу на столе. Что я делаю, подумала Виктория, не значит ли это быть нелояльной по отношению к Жозефине? Но я ведь пытаюсь больше узнать, исследовать, понять, чтобы помочь.

— Скажите мне одну вещь, — спросила Х., — вы человек любопытный?

— Да, может быть. Или, скорее, интересующийся.

— Мной?

— Да. Всем и всеми.

— Вам кажется, что я человек опасный?

— Нет, что вы, нет. — Виктория помедлила немного и сказала, возможно, излишне поспешно: — У меня была скороварка, которую мне кто-то подарил. Чтобы варить, например, кашу. Вот она —

опасна, она взорвалась, давление изнутри было явно слишком сильным.

— Весьма правдоподобно, — сказала Х. — Это доказывает лишь, что не стоит пользоваться приборами, если не знаешь, как они устроены. Что вы с ней сделали?

— А что я должна была сделать? Она сломалась. Жаль, такой прекрасный прибор.

— Ну вот, она снова за свое, — сказала Х. — Опера. Ничего другого у нее нет. Ненавижу оперу. — Музыка из соседней квартиры была на удивление отчетливо слышна. — А вы любите оперу?

— Не особенно, — ответила Виктория, — я больше люблю Новоорлеанский джаз<sup>[77]</sup>. И еще классический. Когда я вышла на пенсию, я получила в подарок от учеников стереофонический проигрыватель. Я очень хорошо с ним справляюсь.

Виктория вытащила свои сигареты и вопросительно посмотрела на Х.

— Пожалуйста, курите, — чуть нетерпеливо произнесла хозяйка дома.

Наступила тишина. Наконец Х. снова заговорила:

— Вы в самом деле не знаете, зачем пришли ко мне?

Виктория не ответила.

— Вы производите впечатление человека откровенного. А ведь так легко пойти на поводу у обстоятельств. Но вы пришли не по адресу, будьте осторожны. Здесь для таких, как вы, — опасно.

— Значит, вы полагаете, — медленно сказала Виктория, — что на меня, вероятно, легко воздействовать?

— Приблизительно так.

— И что я не могу занять определенную позицию, решиться на что-либо?

— Вы очень умны, — сказала Х.

Виктория вздохнула и, не докурив сигарету, поднялась.

— Я подумаю, — сказала она. — У вас ужасные лестницы, когда поднимаешься. Но спуститься вниз никакого труда не составляет.

Настали сумерки. Виктория подошла к низкой каменной стене, окаймлявшей самую высокую вершину селения, и тут снова увидела красивые голубые дымки, поднимавшиеся в тени горного склона

безветренным вечером прямо ввысь. Здешние жители, вероятно, жгли листву и сухие ветви, точь-в-точь как у них дома, весной.

Да, мне нужно остерегаться, нужно знать, чего я хочу, кто они, кого пытаюсь защитить, и от кого?.. Она абсолютно права. Сейчас пойду домой и позанимаюсь испанским. Как сказать: извините, не может ли кто-нибудь помочь мне со стиркой?

Однажды вечером Виктория отправилась совсем в другую сторону, нежели обычно, и побрела куда глаза глядят; проулок вывел ее на тропинку, мало-помалу затерявшуюся среди камней, где росли оливковые деревья; деревья казались неслыханно старыми. Мертвые ветви свисали как попало. Под оливковыми деревьями паслась отара овец, грязно-желтые спины, склоненные головы — все в той же самой смиренной позе жертвы. Виктория споткнулась о какой-то пластиковый мешок и тут же увидела, что случайно оказалась на мусорной свалке одной из тех окраин, которые, само собой разумеется, окружают даже рай, если там живут люди. Нелепо, но она загрустила. И именно в этот момент яркие лучи заходящего солнца прорвались сквозь брешь в горной цепи, и за одну секунду сумрачный пейзаж изменился и раскрылся во всей красе. Оливковые деревья и овцы, которые паслись у подножия, окутались пламенеющей дымкой, и пред глазами Виктории предстала внезапно картина, преисполненная библейской силы и тайны. Виктории показалось, что она никогда не видела ничего столь прекрасного. И ей вспомнился один театральный художник, который однажды заявил: «Моя работа заключается в том, чтобы рисовать лучами света, только и только в этом. Нужными мне лучами и в нужный момент». Прошло совсем немного времени, и солнце скрылось, но прежде, чем краски успели поблекнуть, Виктория повернулась и медленно направилась обратно к своему дому.

*«Дорогая Хильда, передаю тебе всего лишь привет, потому что мне так радостно сегодня вечером. Твой испанский пейзаж — нечто, это гораздо выше моего понимания, и я погружена в мечты гораздо сильнее, чем когда-либо прежде. Не можем ли мы побыть здесь немного вместе, когда ты поправишься? Я не уверена в том, что мы правильно организовывали наши совместные путешествия, и это — прежде всего — моя ошибка. Не нужно спешить, рваться то туда, то сюда, как это делала я, теперь я приобрела большой опыт. Ты*

*понимаешь, можно просто жить, смотреть вокруг, пока в самом деле не увидишь, не увидишь все иначе, можно ведь и говорить об этом, говорить о чем угодно и чувствовать себя свободно друг с другом. Разве не слишком мы торопимся, когда молоды? Что ты об этом думаешь? Обещай мне, что мы сделаем новую попытку увидеть мир, почему бы нам это не сделать?*

*Крепко обнимаю. Виктория».*

Наступило воскресное утро, Виктория проснулась под звон колоколов, далеких манящих церковных колоколов. Надо бы пойти в церковь — неплохая идея и полезная, подумала она. Хотя бы один раз. Но, собираясь надеть туфли, она заметила свои ботинки, предназначенные для дальних странствий, стоявшие в углу, и подумала: какое красивое утро! И в самом деле было бы глупо не выяснить, куда ведет та проселочная дорога, большая проселочная дорога вниз. А когда пасмурно, можно ведь зайти и в церковь. Итак, Виктория надела ботинки для дальних путешествий, а в сумку положила бутылку соку, сигареты и разговорник. Если прогулка окажется утомительной, приятно будет почитать, лежа в траве под апельсиновым деревом.

Теперь и в полдень было еще прохладно и приятно. По обеим сторонам дороги росли большие фруктовые деревья, ветви их клонились к земле под тяжестью апельсинов и лимонов; абсолютно райские сады — но они были огорожены забором. Никто даже не шевелился там, среди деревьев, трава была высокая и совершенно нетронутая. Калитка наверняка заперта. Но можно попытаться, подумала Виктория, пролезть между перекладинами забора под ветки и, словно в зеленом гроте, спрятаться там от всего мира, время от времени срывать апельсин и, естественно, совать кожуру в карман...

По дороге из селения шла женщина, женщина в черном. Это была Х.

— Доброе утро! — закричала Виктория. — Вы идете вниз, в город? Не пойти ли нам вместе?

На какой-то миг Х. остановилась.

— Нет, — ответила она. — Не сегодня.

— Я чуточку поразмышляла... — начала было Виктория, но Х. отвернулась от нее и пошла своей дорогой вниз в долину. Словно черная ворона, озаренная солнцем, пролетела кружась мимо.



Виктория почувствовала себя оскорбленной; во всяком случае, между ними состоялся как бы абсолютно конфиденциальный разговор, в котором Х., без сомнения, одержала верх. Разумеется, она могла бы быть повежливей.

Девочки, подумала Виктория, обременительны, начиная с самого первого класса школы. Мальчики — лучше, всегда знаешь, с кем имеешь дело.

Усевшись у обочины, она выгащила бутылку соку и разговорник и подумала о том, как пойдет обратно, в гору. Снова становилось жарко; все время то страшный холод, то чрезмерная жара.

Но вот из селения выехал автомобиль; он остановился и загудел, дверца хлопнула, и из машины вышла Жозефина со своими собачонками; она шаталась из стороны в сторону и, смеясь, уселась у обочины проселочной дороги.

— Миссис Виктория! — закричал кто-то из машины. — Едемте с нами на фиесту. На карнавал! Скорее! Поспешите, быть может, он уже начался.

Маленькое лицо Жозефины, окаймленное двумя длинными косами, сплетенными из ее удивительных рыжих волос, казалось еще меньше; на голове у нее был бант, вокруг шеи — жемчужные бусы, и, насколько Виктория понимала, она нарядилась индианкой. На поясе у нее — нож. Жозефина воскликнула:

— Я похищаю профессора!

Виктория поднялась и спросила — настоящий ли это карнавал?

— Самый большой в году, — заверила ее Жозефина. — Все делают всё, что душе угодно, и плюют на все запреты, все доступно, понимаете, доступно! Поторопитесь, у нас есть еще время. Мы погудели у ваших ворот, но вас дома не было... Это — Мейбл, это — Эллен, а это — Джекки. Вот, плотните немного, и нам пора на праздник!

Это снова было виски. Машина мчалась вниз с головокружительной скоростью. Одна из подруг Жозефины запела. Виктория со страхом высматривала, не идет ли где-нибудь Х. Нехорошо, если Х. увидит ее, перебежчицу во вражеский лагерь, вместе с Жозефиной... Она вся сжалась, пытаясь сделаться как можно более неприметной, и ожесточенно подумала: что я имею в виду под словом «перебежчица» — перебежчица в какую сторону? Если бы

Жозефина увидела, как я бреду по дороге вместе с Х., что бы она обо мне подумала? А собственно говоря, разве это так важно, что они думают и полагают?..

Они были уже внизу, в селении, и встречала их музыка.

— Еще один маленький поток, Виктория, — сказала одна из колонисток.

— Нет, спасибо, пожалуй, не сейчас.

Выйдя из машины, они медленно продвигались сквозь толпы людей, так и кишевших на тесных улицах. Жозефина держала Викторину за руку и шутливо восклицала:

— Дайте дорогу! Дайте дорогу! Я похитила настоящего профессора!

Это было крайне неловко и неприятно.

Повсюду — толпы людей, воздушные шары, крики, смех. Маленькие дети ехали верхом на плечах у своих пап; тут был и громко поющий херувим в светло-желтом парике, и рогатый крохотный дьявол, и Зорро... и завесы из конфетти, взметающиеся ввысь над площадью.

— Милая мисс О'Салливан! — молила Виктория. — Оставьте меня в покое, мне незачем подходить ближе...

Но ее все-таки проталкивали вперед, вплотную к необычайному шествию, в самую гущу фиесты, в смешение красок и жестов, под дождем оливковых ветвей и цветов. На многих из плясавших были маски — ужасающие маски, выражавшие презрение, восторг, невыносимую боль; движения плясавших казались Виктории хаотичными, их красочные наряды излишне кричащими, — но вот к ним приблизились вплотную тесные молчаливые ряды разодетых ребятишек. Виктория не сводила глаз с маленькой серьезной девчушки, и наконец, вспомнив, с дрожью в голосе она прошептала про себя: «Да это же инфанта Веласкеса<sup>[78]</sup>, это она. Так красива!»

Мимо, под аркой, украшенной цветами мимозы и камнеломки, прошествовали и инквизиторы, в сопровождении Самой Прекрасной из Всех. Виктории показалось, что у Самой Прекрасной из Всех испуганный вид. Вот прошли фигурки-паутинки из Мертвого Леса, затем прогулочным шагом — несколько бутылок из-под виски. Виктория обернулась, чтобы улыбнуться Жозефине, но та уже исчезла.

Надо попытаться описать все это Хильде, напишу ей сегодня же вечером, это подбодрит ее. Смотрите, смотрите, у скольких людей исполняется их мечта. Сколько всего можно вообразить себе и наконец-то стать кем-то другим... Это удивительно... почему у нас не бывает карнавалов, они, право, были бы нам нужны... Вот женщина... она наверняка мечтала стать отважным Робинотом Гудом, взгляните только на эти длинные перья на ее шляпе! Взгляните на этих веселых мужчин... они наверняка, танцуют танец своей мечты — мечты о том, чтобы стать женщинами! Взгляните, какая у них прекрасная грудь!

Музыка не смолкала, Виктория увидела Тореадора и его быка, они яростно сражались друг с другом, люди громко кричали и рвались вперед... Да, это была великолепная фиеста!

Появилась машина с бандитами. Перед ней в пустом пространстве обнажившейся улицы танцевала Х., такая же черная, как машина, которой правят бандиты. Она размахивала длинным блестящим ножом. На самом деле это был кухонный нож. Заиграла музыка. И в следующий миг Виктория увидела, как на середину улицы ринулась Жозефина, в руках у нее тоже был нож.

— Жозефина, — закричала она. — Остановитесь! Вернитесь обратно!

Обе женщины кружились одна вокруг другой перед бандитским автомобилем, делали внезапные выпады, потом отступали назад, публика кричала «браво» и хлопала в ладоши в такт музыке. Виктория снова закричала:

— Остановитесь! Pericoloso!<sup>[79]</sup> Это опасно!

Но никто не обращал на нее внимания, а обе женщины начали притопывать ногами, они все приближались друг к другу, они кружились и снова, танцуя, отходили в сторону, именно сейчас их танец был единственным, что привлекало интерес зрителей. Жозефине было трудно держаться на ногах. Кто-то за спиной Виктории сказал, что они притопывают неверно, что это вовсе не настоящие испанки. Виктория обернулась и прошипела:

— Осел! Замолчите, вам этого не понять! Речь идет о жизни и смерти.

Процессия медленно двинулась дальше, и Виктория последовала за ней, протискиваясь вперед без всяких извинений. Она увидела, что Жозефина пошатнулась и выронила нож. Х. подобрала его, отдала

Жозефине, и они продолжали кружиться одна возле другой, словно кошки на заднем дворе. Собачонки Жозефины бегали туда-сюда перед Х., насколько им хватало храбрости, и лаяли как одержимые, а музыка продолжала греметь. Но вот шествие замедлило ход, а вскоре и вовсе остановилось. Жозефина качнулась к радиатору бандитской машины и крепко уцепилась за него обеими руками.

Х. медленно направилась к ней, и Виктория закричала:

— Нет!

Рука Х. с ножом поднялась, несколько быстрых движений — и Х. отсекла рыжие косы Жозефины, а затем, презрительно бросив их на дорогу, пошла прочь. Люди расступились, пропуская ее, и все это произошло чрезвычайно быстро. Мелодия сменилась на «Never on a Sunday»<sup>[80]</sup>, и внезапно плотная толпа людей преградила дорогу Виктории, а ей хотелось только скорее попасть домой. Мало-помалу ей удалось свернуть с площади на совершенно пустынную улочку, она села возле кафе передохнуть. Какой-то господин подошел к ней и сказал:

— Извините, что мешаю. Я американец. Это вы обозвали меня ослом?

— А вы осел и есть, — устало ответила Виктория. — Если топаешь ногами, ровно ничего не значит, по-испански это или нет: топают ногами от злости. Как по-вашему, где мне найти такси?

— У меня машина за углом, — сказал тот. — Я из Хьюстона, штат Техас.

Всю дорогу к селению он рассказывал ей о своей семье и о своей работе. Они обменялись адресами и обещали присылать друг другу открытки.

Вытянувшись на кровати в прохладной темноте, Виктория пыталась составить верное представление о том, что произошло. Вендетта — очевидна и явно завершена в драматическом ключе. А теперь, подумала Виктория, теперь ничего худого уже не произойдет, кроме того что Жозефине придется поменять прическу, а Х. будут еще больше порицать и она окажется в еще большей изоляции. Она проиграла, она вела себя недостойно. Я должна попытаться быть справедливой. Естественней всего, вероятно, держаться в стороне от происшедшего, но что общего между сочувствием и справедливостью... Ведь я обещала помочь Жозефине. Но сейчас Х.

интересует меня больше — я не объективна. С учениками было столь же трудно, — как они следили за тем, на чью сторону я встала! Они доводили меня до отчаяния, разделяя все на белое и черное... Где, собственно говоря, то, что абсолютно, абсолютно с позиции «либо — либо»; каким-то образом все оказываются правы, и это понятно, и тогда ты становишься нерешительным и скромным и пытаешься относиться терпимо ко всем... Но все те вечера, что я устраивала для учеников, были, во всяком случае, попыткой, предположим, неуклюжей, а быть может, и трусливой, но попыткой без больших потерь вывести ребят из их компаний и всем вместе стать более дружелюбными, научиться слушать других и по возможности чуточку больше их понимать. Мои методы были правильными. Я думаю, надо попытаться еще раз и здесь. Может, устроить праздник для всей колонии? Нет, только для Жозефины и Х.

Телеграмма пришла чуть позднее вечером: «Мама умерла сегодня утром просто заснула но это кажется невероятным не беспокойся скажи Хосе если крыша начнет протекать не беспокойся Элисабет».

В первую минуту Виктория решила, что ей надо срочно вернуться домой, чтобы помочь Элисабет. Но может, все-таки не надо... Она села у стола и стала снова и снова перечитывать телеграмму; что там с этой крышей, почему она должна протекать... так странно... Через некоторое время она вышла на балкон и вылила на крышу несколько ведер воды. Вниз ничего не потекло.

И вдруг, на удивление мучительно, Виктория начала горевать о своей умершей подруге юности Хильде — та никогда не понимала, как легко она становится в тягость другим.

— Выброшу-ка я эту ужасную каракатицу из холодильника! Занесу в дом блюдечко для молока; ведь эти кошки не пьют молоко, во всяком случае, эти испанские кошки — даже кошки здесь не такие, какими должны быть!

В тот вечер Виктория пошла в кафе и заказала стаканчик «Cuba libre»; она спросила Хосе, что пьют дикие кошки, когда хотят пить.

Хосе засмеялся и сказал:

— Они вылизывают росу.

Прежде чем уснуть, Виктория убаюкивала себя приятной мыслью: хорошо бы стать испанской кошкой и найти на восходе

солнца подходящий росник<sup>[81]</sup> (если у них в этой стране вообще есть росник).

Виктория написала приглашения на торжественный ужин, ей нелегко дались официальные формулировки и каллиграфия. Торжественный ужин должен был состояться в ресторане Хосе, в единственном здесь ресторане. Он находился за кафе, на веранде, откуда открывался прекрасный вид на долину, словно выполненный по заказу для проезжающих тут летом туристов.

В ресторане будет хорошо, подумала Виктория и пошла обсудить этот вопрос с Хосе. В кафе было довольно людно. Она поздоровалась с Хосе и Каталиной и спросила, не выпьют ли они с ней по стаканчику: ей, мол, нужен совет по одному чрезвычайно важному личному вопросу. Каталина улыбнулась, поблагодарила и сказала «нет», у нее нет времени, но Хосе принес два стаканчика «Cuba libre» и поставил их на столик возле стеклянных дверей на веранде. Виктория прямо перешла к делу:

— Я предполагаю устроить торжественный ужин и пригласить двоих гостей, ужин этот должен быть отменным. Я полагаюсь на ваш опыт в кулинарии и хотела бы обсудить меню. Не следует ли выбрать основным блюдом телятину?

— Безусловно... — ответил чрезвычайно заинтригованный Хосе. — Я предлагаю еще *cordero con guisantes*<sup>[82]</sup>.

— Звучит хорошо, — одобрила Виктория и задумчиво кивнула со знанием дела. А закуски, следовательно, называются *entremeses*?

— А как насчет *gambas fritas*?<sup>[83]</sup>

Виктория знала, что *gambas* — это креветки, и одним жестом отвергла это предложение... нет, креветки всегда подавали, когда она устраивала торжественные приемы у себя дома. Она спросила:

— Может, что-нибудь более экзотическое?

— *Erizos naturales*<sup>[84]</sup>.

— Ну да, все зависит от... — загадочно добавила Виктория, ей не очень хотелось просить перевести ей название блюда. — И на столе должна быть мимоза, охалка мимозы. Только не цветы миндаля, было бы жалко миндаль. А вино?

— «Privilegio del Rey»<sup>[85]</sup>, — не колеблясь ответил Хосе. — Только «Privilegio del Rey». Не могу ли я попросить вас, миссис

профессор, отведайте это вино? Оно очень знаменито.

— С удовольствием!

Хосе ушел и вернулся с двумя большими стаканами. Виктория попробовала вино. Она милостиво кивнула и осведомилась, какого оно года... Они продолжили свое серьезное обсуждение меню. Местные же жители следили за тем, что происходит, понимая, что речь идет о чем-то важном. Хосе спросил:

— А что предлагаете вы, миссис профессор? Ensalade verde mezclada<sup>[86]</sup> или chalot y remolaches<sup>[87]</sup>?

— Естественно ensalade verde.

— Естественно, — почтительно согласился Хосе.

— И сыр, — сказала Виктория.

— Только сыр? И никакого десерта?

— Мне кажется, один сыр — элегантнее. А потом — кофе.

Хосе поднял руки:

— Дорогая миссис профессор, это невозможно, невысказано! Никакой по-настоящему прекрасный званый вечер невозможен без десерта! Crema de Cafe Dolores vanes, Pastel Infanta, Platanos a la Canaria, Amor frio<sup>[88]</sup>...

— Это так важно? — удивленно спросила Виктория. — Как называется это последнее блюдо?

— Amor frio!

— Не означает ли это, примерно, «холодная любовь»?

— Примерно.

— Тогда подходит, — хихикнув, сказала Виктория. — Затем еще одна важная деталь: на столе должны быть апельсины, большая ваза с апельсинами. И не надо обрывать листья.

Она увидела, что Хосе не одобрил ее идею, и внезапно ей показалось, будто он огорчен. Тогда она вытащила свои приглашения и спросила, не окажется ли он любезность передать их гостям. Более учтиво, если приглашения придут не по почте. Сопровождение закончилось.

На следующий день все уже рассказывали о том, что неприступная миссис профессор дает ужин на широкую ногу в ресторане Хосе. Затея с апельсинами воспринималась как нечто весьма юмористическое. А всеобщей темой для разговоров был список гостей. Насколько известно, отказов на приглашения еще не

последовало. Все понимали, что теперь отношения между Жозефиной и Х. совершенно изменятся и о них придется судить по-новому, разумеется в зависимости от исхода званого ужина Виктории.

Этот важный вечер был красив и нежен. Виктория оделась с особой тщательностью. Жемчуг на шее был предназначен только для гостей, но шиншилла — для того, чтобы произвести впечатление на всю колонию. Кафе было переполнено местными жителями, но на веранде никого не было: колония не удостоила Викторию чести выказать свое любопытство.

Гости явились вовремя, каждая по отдельности, Жозефина на этот раз без собак. Виктория поднялась и приветствовала обеих женщин. Хосе вышел в белом переднике и подал вино.

— Как мило, что вы пришли, — сказала Виктория. — Я хочу провозгласить тост и выпить с вами еще и потому, что считаю вас обеих чрезвычайно энергичными и мужественными дамами. Поднимем наши бокалы за весну, за начало всех начал!

Жозефина побывала в городской парикмахерской, и голова ее была увенчана на удивление огромной копной рыжих волос.

— Очень приятно, — сказала она. — Искренне признаюсь: очень приятно.

Гости Виктории были крайне насторожены, и казалось — явились к преподавателю на экзамен.

Виктория обвела жестом прекрасный пейзаж, горы, цветущую долину и сказала:

— Знаете, в прежние времена, когда я еще преподавала, многие мои ученики мечтали о путешествиях, быть может в такие места, как эти, когда-нибудь, когда у них появятся на это средства. Мы часто говорили о том, куда бы мы хотели поехать, и перед нами простиралась карта всех стран мира. Было так весело!

Обратившись к Х., Виктория спросила, как получилось, что она приехала именно сюда, в этот городок. Х., слегка пожав плечами, ответила:

— Я ухаживала здесь за одной старой родственницей — довольно долго. Когда она умерла, мне достался ее дом.

— Вы тоскуете по своему дому?

— Нет. Но иногда я думаю о зеленых лужайках.



— Разумеется, о зеленых лужайках! — оживленно подхватила Виктория. — О лугах?

— Здесь нельзя погулять по траве, здесь одни лишь апельсиновые деревья. Но можно подняться в горы, там никаких изгородей нет.

— Там одни лишь камни, — сказала Жозефина. — Я пыталась...

Она прервала саму себя, когда Хосе вышел на веранду и стал накрывать на стол. Когда он вышел, она нетерпеливо повторила:

— Одни лишь камни. И в доме темно. Всегда темно.

— Да, это так, — сказала Виктория. — Но ведь нужно лишь выйти за дверь? Не правда ли?

Гости не ответили. Довольно долго стояла тишина. Х. была занята едой, но Жозефина лишь для вида ковыряла в тарелке. Виктория снова взяла слово. Она рассказывала веселые истории о своих учениках, о своей неприспособленности и о том, как ученики помогали ей как могли, так же как Жозефина обогрела своим присутствием дом, где она живет, а мисс Смит позволила отдохнуть в своем доме в тот раз, когда она устала и почувствовала себя плохо.

— И вовсе вам не было плохо, — прервала ее Х. и заговорила теперь со спокойной уверенностью: — Вы чувствовали себя прекрасно, вы просто гуляли и шпионили в ее пользу.

Виктория ответила с облегчением:

— Совершенно верно, мисс Смит. Я тогда вела себя плохо. Но откровенность за откровенность: хорошо ли грозиться убить человека и строить гримасы его прислуге?

Жозефина засмеялась и наконец-то принялась за еду.

— А у вас, Жозефина О'Салливан, — продолжала справедливости ради Виктория, — неужели у вас и вправду никакой другой музыки, кроме оперной, нет?

— Нет, — сердито ответила Жозефина.

Хосе снова появился на веранде, он сновал вокруг них, спрашивая, все ли в порядке.

— Спасибо, все замечательно, — отвечала Виктория, — не принесете ли еще одну бутылку вашего великолепного вина?

Он поклонился и ушел. Вскоре на столе появилось вино.

Взглянув на долину, Виктория сказала:

— Как тихо!

— Тишина, — заметила Х., — это нечто такое, к чему питаешь слабость, не правда ли? Когда остается совсем мало тем для разговора, если чувствуешь себя отлично, когда что-то недосказано, или как еще?

Виктория покраснела.

— Высказывание, — утратив свою непринужденность, сказала она, — теряет свой смысл, если его повторяют в искаженном виде.

Жозефина одарила Викторию понимающим взглядом, кисло улыбнулась и пожала плечами. Трапеза продолжалась.

Апельсины были поданы очень красиво, на черенке каждого плода сохранились зеленые листья. Виктория взяла один и сказала, что Хосе в самом деле сделал все, что в его силах.

— Ерунда, — ответила Х. — Он думает, что мы туристы. Ни один местный житель не ест апельсины.

Виктория сказала:

— Это была моя идея, а вовсе не Хосе. Апельсины следует понимать как своего рода символ, как декорацию.

— Какой же символ?

— Быть может, как мечту, как представление о райском дереве. Как нечто недоступное. Я здесь постоянно думаю об апельсинах.

— Я почти понимаю! — воскликнула Жозефина. — Ни в малейшей степени не зазорно, если на столе стоят апельсины! В России на стол ставят яблоки. Я знаю, что имеет в виду Виктория. О, она необыкновенная.

— Какая новость! — чрезвычайно сухо произнесла Х.

На проселочной дороге прямо под верандой остановилось несколько мальчишек, они показывали пальцем на веранду и время от времени выкрикивали какие-то слова по-испански.

— Чего они хотят? — спросила Виктория.

Х. взглянула на Жозефину и с удовольствием объяснила:

— Они говорят, что там сидит тетенька, которая устроила спектакль на карнавале, ну та, что танцевала рядом с бандитским автомобилем...

— Они имеют в виду ее, а не меня! — воскликнула Жозефина. — Это она так вела себя, верно? Виктория, вы же знаете, как все было!

Виктории внезапно захотелось сделать замечание, сказать: «Девочки, девочки!» Но она сдержалась.

Из ресторана вышел Хосе и прогнал мальчишек, вылив на них поток возмущенных слов на испанском языке.

Но вот солнце скрылось за горами, и в тот же миг стало по-вечернему прохладно. Внезапно рассердившись, Виктория сказала:

— Дорогие дамы! Для меня этот карнавал был чем-то совершенно невероятным. И я понимаю, что веселый праздник подобного рода может кого угодно заставить потерять голову и действовать необдуманно. Поверьте мне, я теряла самообладание гораздо чаще, чем мне бы хотелось. Но потом я обычно пытаюсь забыть о случившемся и надеюсь, что другие тоже забудут.

Она подала знак Хосе, он вошел с новой бутылкой, а она сказала:

— Это очень хорошее вино. Его пьют в спокойном и задумчивом настроении. Дорогие дамы, за что мы будем пить?

— За вас, Виктория! — воскликнула Жозефина. — За справедливость! За справедливость, которая все-таки всегда торжествует!

Она наверняка выпила несколько рюмок, прежде чем выйти из дому... на всякий случай.

— А как вам нравится ее новая прическа? — спросила Х., не притрагиваясь к своему вину.

Виктория поправила Х.:

— Как вам нравится новая прическа Жозефины? Я считаю, что она молодит ее.

Тут она почувствовала, что очень устала, и решила переложить всю дальнейшую ответственность за ужин на своих гостей. Извинившись, она встала и, спасая себя, направилась в дамскую комнату. Вид из окошка здесь был так же красив, как и на веранде, но она не обратила на него особого внимания. Собственно говоря, немного жестоко было оставить их наедине друг с другом, с таким же успехом я могла бы не уходить. Теперь они сидят и молчат. Я потерпела неудачу. Мне бы надо научиться оставлять людей в покое, пусть они устраивают свои спектакли сами для себя. А я словно овчарка, которая носится сломя голову, желая собрать все стадо и навести порядок. Эта мысль позабавила Викторию. Она решила заказать коньяк к кофе.

Когда она проходила обратно через кафе, навстречу ей вышел Хосе и шепотом заговорщика спросил:

— Как дела?

— Вероятно, наладятся, — ответила Виктория, — полагаю, все будет хорошо. Еда, вино, интерьер, все великолепно. Я думаю, мы возьмем немного коньяку к кофе.

Ее гости сидели прямые, как свечи. Разговор у них явно был нелегкий.

— Дорогая Виктория, — сказала Жозефина. Чувствовалось, что она напряжена. — Мы тут подумали...

— Во-первых, спасибо, — оборвала ее Х.

— Да, мы хотим поблагодарить вас за вашу неслыханную любезность и великодушие, это был удивительный ужин, такой изысканный, каждая деталь продумана...

— Минутку, — сказала Х., — вам надо собраться с мыслями. Короче говоря, Виктория, вы дали нам шанс. Можно ли представить себе, что Жозефина и я теперь по-прежнему будем плохо относиться друг к другу?

— Невозможно, — ответила Виктория. — От всей души надеюсь. А вот и коньяк! За что мы выпьем на этот раз?

— Ни за что, — ответила Жозефина. — Я слишком много болтала. Думаю, мне пора домой. Собаки весь вечер были одни.

— У них слишком короткие ножки, — заметила Х.

Виктория подняла рюмку и сказала:

— Дорогие дамы, вы занимаетесь ерундой. Полагаю, что после кофе мы посвятим себя исключительно созерцанию сумерек.

Они прошли через кафе, где все беседы тут- же смолкли, и вышли на площадь.

— Холодно, — сказала Жозефина и попыталась застегнуть шиншиллу на шее Виктории.

— Перестаньте! — сказала Х. — Виктория сама знает, мерзнет она или нет. Перестаньте делать вид, будто вы очень заботливы.

Жозефина взорвалась:

— Вы думаете, что всё знаете лучше всех! Вы ничего не знаете о Виктории, вообще ничего! — И она, оставив их, пошла одна по переулку.

— Не обращайтесь внимания, — сказала Виктория. — Пожалуй, утром она все поймет.

— Вы так думаете?

— Да, я так думаю. Утром все может измениться.

Виктория не стала объяснять подробнее, что для нее каждое новое утро — своего рода радостный вызов жизни, то же самое, что новые начинания, неожиданные сюрпризы, пожалуй, даже новое понимание жизни, да просто-напросто все в мире ужасно интересно и увлекательно. Но в этот вечер она и так разглагольствовала более чем достаточно. И теперь она упомянула лишь, что Хосе обещал после девяти часов принести дрова, ей нужно еще подмести патио и попросить его сложить дрова в том углу, где растут бугенвиллеи. Х. улыбнулась:

— Ерунда, моя дорогая Виктория! Вы говорите о незначительных вещах, не так ли? Сколько мелких огорчений и забот! Каждый новый день заполнен то одним, то другим; посмотрите на Жозефину, вот она идет. Полдня выгуливает своих собачонок и слушает оперы, а остальные полдня бегают на никому не нужные приемы. Все это, чтобы почувствовать себя оскорбленной, не сходить ни у кого с языка, крепко держаться за свою маленькую гордость... А вы, вы, которая — подлинная Виктория, вы опускаетесь до того, чтобы продемонстрировать всем доброжелательную терпимость, да, насмотрелась я на вас тогда, в той машине! Подождите, не надо слов, я понимаю, что такой, как вы, трудно произнести «нет», но у вас нет никакой идеи, ни у кого из вас нет всепоглощающей идеи, вы смешиваете ваши напитки и ваши чувства с водой. Разве вы не понимаете, что у вас нет ни одной-единственной яркой, ничем не разбавленной идеи.

Они пошли дальше и наткнулись на Жозефину. Она сидела на ступеньке длинной лестницы, которая вела наверх, к ее дому.

Виктория сказала Х.:

— Идеи бывают разные. Ненавидеть колонию — идея не особо привлекательная. Вообще-то она, как мне кажется, к этому времени уже хорошенько разбавлена. Вы должны создать новую идею, по возможности более пригодную для жизни. Или, разумеется, отказаться вообще.

— Что вы подразумеваете под этими словами — «отказаться вообще»?

— Ну, допустим, найти себя в том, чтобы быть совершенно обыкновенной, полагаю, это достаточно интересно.

— Ха-ха, вот видите, — сказала Жозефина, — совершенно обыкновенной, как Виктория. Это и есть необыкновенно.

Х. помогла ей подняться на ноги и сказала:

— Да-да. Пойдемте же. Спокойной ночи, Виктория.

— Спокойной ночи.

Виктория постояла некоторое время, глядя, как они вместе поднимаются наверх по длинной утомительной лестнице.

Многие видели их в тот вечер...

На следующей неделе Х. была приглашена к Уайнрайтам. И даже к леди Олдфилд, хотя в круг избранных она не вошла, прежде чем колония не убедилась в том, что мисс Смит обладает определенными интересными особенностями характера, которые самым приятным образом могут подстегнуть их светскую жизнь. Но произошло это лишь осенней порой.

## Shopping<sup>[89]</sup>{38}

Время было пять часов утра. По-прежнему стояла пасмурная погода. И ужасная вонь, казалось, становилась все сильнее и сильнее. Эмили шла обычным путем — вниз по улице Робертсгатан к продуктовому магазину Блума, осколки стекла хрустели под подошвами ее башмаков, и она решила, что каждый день будет изнашивать их, чтобы было удобнее ходить. Только бы ей выкроить время для этих вечных закупок. У них был довольно большой запас консервов в кухне, но в такие времена никогда не знаешь, подумала Эмили. Перед магазином Блума, просто на удивление, оставалось еще большое зеркало; Эмили на минутку остановилась и поправила волосы. Собственно говоря, никто теперь не мог бы больше утверждать, что она толстая, скорее полная, пышная, как говаривал Криссе. Плащ на ней сидел гораздо лучше. Он был зеленый, и подходил по цвету ее хозяйственным сумкам. Эмили взобралась на высокую грудку кирпича вперемешку с песком и строительным раствором и шагнула дальше через окно. Тут были протухшие съестные припасы, которые скверно пахли. Она тотчас заметила: они снова побывали здесь, полки были почти пустые. Квашеная капуста не привлекла их внимания, и она набила оставшимися банками обе сумки, забрала последние пачки стеариновых свечей и — мимоходом — новую щетку для мытья посуды и шампунь. Сок закончился, так что теперь Криссе придется сказать, чего он хотел бы от речной воды... Можно было пойти к Лундгрёну и посмотреть в том магазине, но идти туда довольно далеко. В другой раз... Чтобы, во всяком случае, хорошенько использовать утро, Эмили заглянула в «Шестерку», оставила сумки на нижнем этаже и поднялась выше этажом к Эрикссону. Дальше было не пройти. Очень удачно, что Эрикссоны оставили дверь открытой, когда покидали свой дом. Эмили знала, что здесь брать больше нечего; она побывала тут уже давным-давно, но уютно было посидеть и дать отдых ногам на красивом диване в общей комнате. Хотя диван больше не был красив — весь в пятнах и изрезан ножом, это сделали они, другие. Как бы там ни было, Эмили пришла первой. И она испытывала такое великое почтение к красоте этих

спокойных комнат, что ничего не взяла с собой отсюда, кроме еды. Позднее, когда все было уничтожено и изгажено, она спасала то одно, то другое, чтобы украсить кухню у себя дома и порадовать Криссе. На этот раз она взяла с собой настенные часы в стиле рококо, они остановились в пять часов — время ее шопинга. Ничего другого в доме не было, то было хорошее, надежное время.

Эмили отправилась домой, она думала, сможет ли Криссе есть кислую капусту, особенно теперь, когда желудок его стал так чувствителен. Примерно на полпути Эмили поставила на землю тяжелые сумки, взгляд ее витал над изменившимся ландшафтом» в том уменьшившемся пригороде, где она жила, в самом деле почти все изменилось. По другую сторону реки вообще ничего не узнать. Странно, что деревья в парке еще не распустились.

И тут она увидела их, далеко-далеко на улице Робертсгатан — только две точки, но они шевелились, они шевелились совершенно отчетливо, они приближались. Эмили побежала.

Их кухня находилась в подвальном помещении. Они обычно ели за кухонным столом, и их как раз угораздило обедать, когда это произошло. Остальная часть квартиры была загорожена. То, что Криссе повредил себе ногу, было, собственно говоря, совершенно случайно; Эмили полагала, что ему вообще не надо было кидаться на улицу, чтобы половина фасада обрушилась на него. То было не что иное, как обычное мужское любопытство. Он очень хорошо знал, что всем надо делать, их предупредили по радио и сказали;

— Оставайтесь в доме, пока это происшествие не кончится, и так далее...

А теперь он лежал там на матрасе, который Эмили подобрала на улице. Ковриком из лоскутов она завесила продуваемое насквозь, пустое, без стекол, окно и постепенно укрепляла все это, приколачивая доски, взятые из кучи хлама во дворе. Повезло, что ящик с инструментами лежал в кухне. Кто угодно мог забраться к ним через окно. На всякий случай она часами работала, маскируя окно со стороны двора. Кристиан, лежа на матрасе, слышал, как Эмили прибывает доски, и не мог избавиться от ощущения, что ей весело — да, почти весело. Он не пугал ее. Он довольно много спал. Эта история с ногой, казалось, не была опасной, но нога болела — он не смог бы на нее встать. Кристиана больше мучила темнота.



Теперь он проснулся и стал шарить рукой по полу возле матраца в поисках стеариновой свечи и спичек. Он зажег свечу, зажег осторожно, чтобы спичка не погасла. Там лежали книга, взятые в магазине у Эрикссонов, нечитанные книги из мира, который больше не имел никакого отношения к нему. Он вытащил свои часы, он делал это каждое утро. Было немногим больше шести. Она может вернуться в любое время. Спичек у них осталось немного.

«Я желаю, — думал Кристиан, — я желаю серьезно и по делу поговорить о том, что случилось, дать этому название, обсудить. Но я не решаюсь. И не смею пугать ее. Только б это проклятое окно можно было бы открыть».

И вот она пришла. Отперла кухонную дверь; поставила сумки на стол, улыбнулась ему и показала позолоченные часы Эрикссонов... ужасная вещь!

— Как нога? Ты хорошо спал?

— Очень хорошо, — ответил Кристиан. — Ты нашла спички?

— Нет! И сок кончился. Они разрезали кожаный диван Эрикссонов.

— Ты запыхалась, — сказал Кристиан. — Ты бежала! Ты видела их?

Эмили сняла плащ и повесила новую щетку для мытья посуды на старый крючок.

— Мне надо принести побольше воды с реки для мытья посуды, — сказала она.

— Эмили, ты видела их?

— Да! Их было только двое. Издали, далеко... Примерно на углу Эдмундсгатан. Может, люди отправились теперь, когда в магазинах пусто, в город?

— Угол Эдмунде?... Но ты говорила, что этой улицы больше нет. Ничего после взрыва бензоколонки не осталось.

— Да, да, но угол ведь, во всяком случае, уцелел.

Эмили поставила поднос с томатным соком и хрустящими хлебцами на пол.

— Попытайся немного поесть. Ты совсем исхудал.

Она вытащила книгу для записей по хозяйству и вписала банки с квашеной капустой на страницу «Овощи».

Совсем скоро Кристиан вновь заговорит об окне: его, мол, надо открыть, освободить и впустить в кухню дневной свет, он, Кристиан, больше не может оставаться в темноте.

— Но они придут сюда! — воскликнула Эмили. — Они тут же, сразу же найдут и заберут все припасы, что я выходила по магазинам! Криссе, будь же наконец благоразумен! Ты не знаешь, что я видела! Диван Эрикссонов... Масса разбитого фарфора, к тому же еще антиквариата... А кроме того, на улице тоже совсем темно.

— Что ты хочешь сказать?

— Да, становится все темнее. Две недели назад я могла выйти и ходить по магазинам в четыре часа утра, а нынче ничего раньше пяти не увидишь.

Кристиан страшно разволновался.

— Ты уверена?.. В том, что становится темнее? Но сейчас ведь начало июня, темнее стать не может!

— Криссе, дорогой, не принимай это так близко к сердцу. Сейчас все время пасмурно, у нас ни разу, ни единого раза не было солнечного света с тех пор, как... Да, ни единого раза!

Он сел и схватил ее за руку:

— Ты имеешь в виду сумерки или...

— Нет, я имею в виду лишь то, что пасмурно! Облака, понимаешь, облака! Или... Зачем ты заставляешь меня волноваться!

Далеко в городе вновь включили сирену, она выла непрерывно с долгими промежутками — будто беспомощная жалоба, выводившая Эмили из себя. Он попытался утешить ее тем, что, возможно, у них в пожарном депо есть генератор и он каким-то образом отключился, но это не помогло, она только все плакала.

По-прежнему плача, она вскочила и начала вслепую приводить в порядок банки на кухонной полке. Одна банка упала на пол, покатилась дальше и опрокинула свечу, которая погасла.

— Смотри, что ты наделала! — сказал он. — Как по-твоему, сколько спичек у нас осталось?! Что, по-твоему, мы станем делать, когда они кончатся, — сидеть в темноте и ждать конца? Нам необходимо открыть окно!

— Опять ты со своим окном! — вскричала Эмили. — Почему ты не можешь заставить меня радоваться, тебе ведь нравится, когда я радуюсь! Разве нам плохо здесь, дома? Я нашла вчера мыло,

понимаешь, мыло! — Внезапно успокоившись, она продолжила: — Я навожу уют в доме! Я нахожу всякие нужные вещи! Почему ты меня пугаешь, почему представляешь все в таком мрачном свете?

— Как по-твоему, — ответил Кристиан, — какие чувства я испытываю, каково мне лежать здесь, словно падаль, и быть не в силах помочь тебе и взять на себя ответственность за тебя? Чувствуешь себя просто дьявольски!

Эмили ответила:

— Ты гордец, разве не так? Ты никогда не задумывался о том, что мне всю жизнь приходилось охранять тебя, и решать, и заботиться о важных делах? Дай мне продержаться, не отнимай у меня этого! Единственное, что тебе нужно делать, если хочешь помочь мне, — это не позволить мне поддаться испугу.

Она нашла спички и зажгла свечу. А потом добавила:

— Единственное, что заботит меня... только чтоб они не пришли и не забрали наши припасы. И больше ничего!

Однажды Кристиан забыл завести часы. Он не посмел сразу же сказать об этом, сказал лишь вечером. Эмили, стоя у столика для мытья посуды, остолбенела и не произнесла ни слова.

— Я знаю, — сказал Кристиан, — это непростительно! У меня нет других забот, кроме как завести часы, а я так оплошал. Эмили, скажи что-нибудь!

— Они все стоят, — произнесла она, произнесла совсем тихо, — все часы стоят. Теперь мне никогда больше не узнать, когда выходить из дома за покупками.

Он повторил:

— Мне нет прощения!

Больше они об этом не говорили. Но история с часами что-то изменила, упрочила неуверенность, боязнь, тенью пробежала между ними. Эмили не часто выходила с сумками, да и, собственно говоря, зачем: продовольственные магазины были пусты, а у Эрикссонов ей только становилось совсем грустно. Во всяком случае, когда она была там в последний раз, она спасла большую испанскую шелковую шаль, лежавшую на пианино. Шалью можно было завесить забаррикадированное окно. По пути домой Эмили увидела собаку. Она поманила ее, но та убежала восвояси.

Войдя в кухню, она сказала:

— Я видела собаку!

Кристиан горячо заинтересовался:

— Где? Какой она породы?

— Коричнево-белый сеттер. У парка. Я позвала ее, но она испугалась и убежала. Крысы никогда не боятся.

— Куда она убежала?

— О, она побежала своей дорогой. Странно, что никто не съел ее. Интересно, чем могла питаться эта тварь, ума не приложу. Во всяком случае, она довольна откормленная.

Кристиан снова лег.

— Иногда, — сказал он, — иногда ты меня удивляешь! Вообще женщины меня удивляют.

Эмили и Кристиан продолжали жить все так же. С ногой у Кристиана стало немного лучше, иногда он мог сидеть за кухонным столом. Там он раскладывал спички по кучкам — столько-то и столько-то на такое-то и такое-то время. Всякий раз, когда Эмили выходила за водой, он спрашивал ее, не видела ли она «тех других».

Однажды утром она видела их.

— Это были мужчины или женщины?

— Не знаю. Они были далеко, в глубине парка.

— Ты не видела, они были молодые или старые?

— Нет!

— Интересно было бы узнать, — сказал Кристиан, — заметили ли они, что все время становится темнее. О чем они думают, пытаются ли они спорить, говорить друг с другом, строить планы? Или они только боятся. Почему они не ушли отсюда, как все остальные? И считают ли они, что здесь они совершенно одиноки, что здесь не осталось больше ни одного человека, ни одного-единственного...

— Криссе, дорогой, я не знаю, я пытаюсь не думать о них.

— Но нам приходится думать о них! — воскликнул Кристиан. — Тут, может, остались только мы да они. Мы можем встретиться...

— Ты не думаешь, что говоришь!

— Нет, я думаю серьезно! Мы могли бы поговорить с ними! Выяснить, что можно было бы сделать вместе. Поделиться...

— Не едой! — вскричала Эмили.

— Держись за свои банки! — презрительно сказал Кристиан. — Мы могли бы поделиться тем, что произошло, тем, о чем ты вообще не

хочешь говорить. Что произошло, почему это произошло, чего можно ждать в случае, если вообще что-то будет дальше.

— Мне нужно вынести помой, — сказала Эмили.

— Тебе это вовсе не нужно, ты должна выслушать меня. Это важно!..

И Кристиан продолжал говорить, он пытался рассказать ей все, о чем размышлял в течение этих дней и недель, проведенных во мраке и изоляции. Он сказал, что уважает ее мнение, и в ответ ожидал доверия и беспристрастности, которые, он полагал, следовало выказать его женщине. Собственно говоря, он объяснился ей в любви, но она этого не поняла; без единого слова она вышла, чтобы не слышать его.

Когда Эмили ушла, чувство ужасного гнева охватило Кристиана. Он пробрался к окну и сорвал ее испанскую шаль, затем оторвал одну доску, потом еще одну, он сражался с окном с ненавистью и разочарованием до тех пор, пока нога у него не подвернулась и он не упал на колени. Через маленькое отверстие в кухню пробился дневной свет.

Эмили вернулась, она остановилась на пороге и воскликнула:

— Ты разорвал мою испанскую шаль!

— Да! Я разорвал твою шаль. Мир рушится, и шаль маленькой Эмили разорвалась. Это ужасно! Дай мне топор, быстро!

Кристиан ринулся на баррикаду. Раз за разом он оседал, роняя топор, и пытался встать снова.

— Дай мне! — шепнула Эмили.

— Нет! Тебе тут нечего делать!

Тогда она подошла и толкнула его, так что он не смог продолжать... Когда окно было освобождено, она принялась убирать весь хлам, который он набросал. Кристиан ждал, но его женщина не произнесла ни слова. В сером свете, проникавшем в окно снаружи, их кухня казалась совершенно чужой... Выставленное напоказ помещение, неудобное и неряшливое, полное ненужных предметов.

Эмили сказала:

— Они — по дороге сюда. — Не глядя на него, она продолжала:

— Кажется, нога тебя не очень беспокоит. Такой неуживчивый, как теперь, ты мне не под силу. Мы выйдем из дома.

Она распахнула кухонную дверь.

— Ты веришь мне? — спросил Кристиан. — Ты можешь на меня положиться?

Она ответила:

— Не говори глупостей! Конечно, я верю тебе. Тебе надо надеть пальто, стало холодно.

Она помогла ему надеть пальто и взяла его за руку.

Вечерело. Стало смеркаться. «Те другие» приближались. Очень медленно Кристиан и Эмили шли им навстречу.

В то время одни лишь коровьи тропы тянулись через лес, и был он так велик, что люди, собиравшие ягоды, легко сбивались с пути и много дней не могли найти свой дом.

Мы не осмеливались заходить далеко в лес, а, постояв там минутку, прислушавшись к тишине, бежали обратно. Больше всех боялся Матти, но ему ведь не исполнилось еще и шести лет. Под горой был крутой обрыв, и мама без конца говорила нам об этой горе, прежде чем попрощаться перед отъездом.

Мама работала в городе, — работала, чтобы мы могли провести лето в домике, который она сняла по объявлению. Была нанята также Анна — готовить нам еду. Но она только хотела, чтобы ее оставили в покое. «Идите играть!» — говорила она.

Матти следовал за мной по пятам, куда бы я ни шла, и говорил: «Подожди меня», а потом спрашивал: «Во что мы будем играть?» — но он был слишком мал, чтобы брать его с собой, да и во что можно играть с младшим братцем? Дни стали ужасно длинными.

А позднее, в очень важный для нас день, мама прислала нам бандероль, а в бандероли лежала книга, которая все изменила, — она называлась «Тарзан, сын обезьяны».

Матти еще не умел читать, и я иногда читала ему вслух. Но большей частью я брала «Тарзана» с собой, когда залезала на верхушку дерева; Матти стоял внизу и непрерывно ныл:

— Ну а что дальше? Он спасется?

Мама прислала нам еще две книги: «Дикие друзья Тарзана» и «Сын Тарзана»<sup>[90]</sup>. Анна сказала:

— Уж больно добрая у вас мама. Жаль, что вам пришлось расстаться с вашим несчастным папой.

— Где-нибудь он ведь есть, — сказал Матти. — Он большой и сильный и ничего не боится, так что тебе лучше вообще помалкивать!

Чуть позднее Матти заявил, что он — сын Тарзана.

Лето совершенно изменилось, и важнейшее изменение состояло в том, что мы ходили в лес далеко-далеко. И обнаружили, что лес этот — джунгли, которые никто, кроме нас, не видел, но теперь мы не

боялись заходить все дальше и дальше, в самую чашу, где деревья стояли плотной стеной в вечном мраке. Пришлось научиться ступать бесшумно, как Тарзан, — так, чтобы не сломать даже самую маленькую веточку, научиться прислушиваться совсем по-новому. Я объяснила брату, что нам нельзя ходить по коровьим тропам: ведь по этим тропам хищники идут на водопой. Нам надо быть чуточку поосторожней с нашими дикими друзьями, хотя бы пока.

— Хорошо, Тарзан, — согласился Матти.

Я научила его ориентироваться по солнцу, чтобы отыскивать дорогу обратно, научила, как не сбиться с пути и в пасмурную погоду.

Мой сын становился все более дерзким и умелым, но так никогда и не смог преодолеть по-настоящему свой страх перед смертельно опасными муравьями.

Иногда мы ложились на спину, там, где мшистый покров казался более надежным, и смотрели ввысь, в гигантский зеленый мир, где редко можно было увидеть клочок неба, — хотя лес нёс небо на своей зеленой крыше. Было совершенно тихо, но мы слышали, как ветер ступает по верхушкам деревьев. Никакая опасность нам не грозила, джунгли прятали и защищали нас.

Однажды мы подошли к ручью. Сын Тарзана знал, что ручей так и кишит пираньями, но он все равно перешел его вброд — очень проворно. Я начала гордиться им. И быть может, больше всего в тот раз, когда он осмелился проплыть несколько метров там, где было очень глубоко, причем совершенно один. Я стояла, спрятавшись за камнем, со спасательной веревкой в руках, но он об этом не знал.

Я мастерила для нас луки со стрелами, но мы стреляли лишь в гиен, которые предположительно не принадлежали к числу наших диких друзей, а однажды выстрелили в удава, ему мы попали прямо в пасть, и он мигом сдох.

Когда мы возвращались домой, чтобы поесть, Анна спрашивала, во что мы играли, и мой сын отвечал: мол, мы слишком стары, чтобы играть, мы просто изучали джунгли.

— Хорошо, — говорила Анна, — продолжайте в том же духе, но старайтесь вовремя приходить к обеду.

Мы взошли на новую ступень самостоятельности и следовали лишь Закону джунглей, который неоспорим, строг и справедлив. И джунгли распахнулись перед нами и приняли нас. Каждый день



охватывало нас пьянящее ощущение риска, крайней напряженности и желания быть сильнее — таких ощущений мы прежде за собой не знали. Но мы не убивали никого, кто был бы меньше нас. Наступил август, а с ним и его черные-пречерные ночи. Когда солнце садилось, отсвечивая красным между деревьями, мы бежали домой, так как не желали видеть наступление темноты.

Анна гасила лампу и запирала кухонную дверь, а мы лежали и прислушивались: кто-то выл вдалеке, а вот рев раздался совсем рядом с нашим домиком.

— Это Тарзан! — прошептал Матти. — Ты слышала?

— Спи, — отвечала я. — Никто не сможет войти сюда, поверь мне, сын мой!

Но однажды, совершенно неожиданно, я с жуткой отчетливостью поняла, что мои дикие друзья — уже больше не друзья. Я почувствовала едкий запах хищников, вот мохнатые шкуры прижимаются к стенам лачуги... Это я выманила их из леса, и одна лишь я могла отогнать их отсюда, пока еще не слишком поздно.

— Папа! — закричал Матти. — Они входят в дом!

— Не глупи! — сказала я. — Это всего-навсего несколько старых сов и лисиц, которые ухают и лают, а теперь спи. История с джунглями всего лишь выдумка, это — неправда.

Я произнесла эти слова очень громко, чтобы те — за стенами домика — услышали меня.

— Нет, правда! — закричал Матти. — Ты обманываешь меня, все это — правда!

Он был совершенно вне себя.

На следующее лето Матти захотел снова пойти со мной в джунгли. Но ведь на самом деле это означало — обмануть его.

## Смерть учителя гимнастики<sup>{40}</sup>

Однажды весной, как раз когда во всей окрестности возле Камбре<sup>[91]</sup> начали зеленеть деревья, случилось нечто странное и трагическое, надолго взволновавшее Южно-Латинскую школу для мальчиков: их учитель гимнастики повесился во время уик-энда в гимнастическом зале. Привратник обнаружил его в субботу вечером. Временно уроки гимнастики в младших классах заменили рисованием, а интеллектуально-литературные занятия для мальчиков, почти для всех без исключения, приобрели крайне болезненный характер.

В день похорон школа была закрыта. По мнению ректора, это печальное событие было связано с неудачным зачетом, зачетом, необходимым для того, чтобы стать директором школы гимнастики, но многие думали совершенно иначе. Это касалось маленького лесочка, расположенного на расстоянии километра к западу от школы и предназначенного для вырубki. Лесок был маленький, он занимал едва ли полгектара. Туда учитель гимнастики водил по воскресеньям своих учеников. И полагали, будто известно, что именно учитель гимнастики разрезал колючую проволоку, которой фирма «Высокий дом и К°» окружила лесок, чтобы люди не бесчинствовали там прежде, чем его срубят. Общепринятое же мнение было таково, что трагедия эта, мягко говоря, сильно преувеличена и выглядит абсолютно нелепой.

В день похорон Анри Пиво вместе со своей женой Флоренс, которую все звали Фло, выехали из города: они были приглашены на обед к компаньону Анри из строительной компании — Мишелю. Вереница автомобилей двигалась очень медленно и подолгу останавливалась. Им предстояло два часа езды.

Когда Фло бывала в дурном настроении, лицо ее делалось совсем худым, а уголки выразительных глаз заметно опускались, отчего глаза казались больше, чем обычно; Анри имел обыкновение шутить по поводу изменчивых глаз Фло — красиво причесанные густые волосы сочетались с этой мозаикой, но очкам не было места в этой картине. Сам Анри был наделен тем, что принято называть приятной

мужественной внешностью, надежной и несколько неопределенной, она не очень запечатлялась в памяти.

— Так-так, — сказала Фло, — мы снова крепко застряли. Ненавижу сидеть в пробке, в известном смысле это унижительно, чувствуешь себя несвободной. Живи я в другом городе, у меня не хватило бы наглости приглашать гостей на обед. Вместо этого мы могли бы пойти на похороны.

Он сказал:

— Но ты ведь думала, что это незачем.

— Незачем... незачем, сколько разговоров! И почему Мишель и его жена не пригласили вместе с нами мальчиков, во всяком случае они бы пообедали, неужели она забыла, что у нас есть дети?!

— Но им ведь надо было куда-то пойти поиграть в футбол. Да и какое им дело до приглашения Николь?!

— Анри, ты ведь знаешь, как поступают: один приглашает другого, чтобы тот мог поблагодарить и отказаться, а потом все довольны.

Вереница машин тронулась. Через некоторое время он сказал:

— Тебе она не нравится.

— Мы встречались всего один раз. В семье Шатен. Мне никто и ничто не нравится.

Ландшафт вокруг был плоский и пустынный, с одинаковыми кварталами покосившихся высоких домов, бензоколонок, все обычное, как бесконечная беседа в салонах, без конца повторяющаяся и безликая.

— Анри! — сказала она.

— Да, любимая!

— Я думаю только об этом.

— Знаю. Мальчики говорили что-нибудь, они спрашивали?

— Нет!

— Но, во всяком случае, они знают?

— Анри, милый, это знает вся школа. Какой здесь ужасный вид. Где же их дома?

— Они еще не начали строить, это лесная вырубка.

— Лесная вырубка?

— Здесь вырубали лес, это вырубка.

Он тотчас понял, что его реплика была неудачной, и терпеливо ждал, когда она скажет что-нибудь о деревьях и как он сам объяснит ей: что будет, когда здесь начнут строить дома и так далее, что люди важнее деревьев, что их стало слишком много и им надо где-то жить.

Но Фло молчала. Она протерла свои очки краем юбки и лишь через несколько миль вернулась к тому, что им в любом случае следовало бы пойти на похороны.

Он возразил:

— Мы никого не знаем. Ни одному человеку не было бы дела до того, приехали мы на похороны или нет.

— Анри! Мне нехорошо!

— Но мы не можем остановиться именно здесь. Действительно нехорошо? Ведь обычно ты прекрасно переносишь автомобиль?

— У тебя есть коньяк?

— В сумке.

За окном по-прежнему мелькал пустынный ландшафт.

— Знаешь что? — спросила Фло. — Это приглашение на обед совершенно бесполезное.

Собрав все свое терпение, он ответил:

— Ошибаешься. Оно вовсе не бесполезное. Если я работаю вместе с Мишелем и они с женой приглашают нас на обед, то вовсе не бесполезно приехать к ним. И ты это знаешь!

— Да, я знаю, прости... прости. Вы просто строите ваши дома...

— Фло, прошу тебя! Попытайся быть любезной вечером. Это важно для меня.

— Разумеется! Я попытаюсь.

— Тебе лучше?

— Пожалуй, немного.

— Любимая моя Фло, не думай об этой истории с ним, с этим учителем. Такое случается время от времени, к сожалению. Люди слишком слабы, они не справляются, они сдаются. Но все повторяется снова. Ты понимаешь, жизнь продолжается, точь-в-точь такая же. А через пару недель у детей будет новый учитель гимнастики.

Она резко повернулась к мужу, посмотрела на его спокойный профиль и воскликнула:

— Ничего не будет таким же! И он не был слабым, совершенно не был, он был таким сильным, что не выдержал все это! А мы ему не

помогли!

Наконец они оказались за городом среди красивых частных коттеджей и вышли из машины. Анри взял цветы, плащ Фло и сказал:

— Теперь мы сделаем все, что в наших силах. Хорошо? А потом снова поедem домой, и ты будешь спать завтра утром сколько захочешь.

Дом Николь и Мишеля выглядел настоящим шедевром архитектуры, где все было продумано и ничто ничему не мешало. Фло пришла на ум мысль о вернисаже, откуда нельзя улизнуть, пока тот, кто выставляет картины, может увидеть, что ты уходишь. Николь была похожа на свой дом: высокая, красивая и почти недостижимая.

— Флоренс, — сказала она, — дружок, я так рада, что Анри привез вас сюда. Мишель, к сожалению, придет немного позже. Он обещал позвонить. Опять эти ужасные конференции. Все время, все время!

— Я знаю, — ответил Анри. — Я понимаю. Business first<sup>[92]</sup>! Как мило вы накрыли на стол, Николь! Просто великолепно!

В конце трапезы Анри поднял свой бокал и с любезной, само собой понимающей улыбкой, что столь легко ему давалась, поблагодарил хозяйку, сравнив ее с драгоценным камнем в совершенной оправе. Элегантно и весело вернул он в свой тост рассказ о рыбалке с Мишелем в прежние времена, а также абсолютно новый анекдот, имеющий отношение к строительной отрасли, и закончил поэтической цитатой в связи с наступающей весной.

— Спасибо, дорогие друзья, — поблагодарила Николь, — спасибо... Спасибо! Могу только сказать, как приятно, что вы у нас есть. А теперь, пожалуй, выпьем по чашечке кофе с коньяком в гостиную. Мне очень интересно, что скажет Флоренс об ее отделке и интерьере. Подождите немного, всего один миг, я включу прожектор.

— Анри, — шепнула Фло. — Все идет хорошо? Не слишком ли я молчалива?

— Хорошо. Все идет отлично! Любимая, не забывай, что это важно для меня!

Она уклонилась от протянутой им руки и сказала:

— Я знаю, знаю, ужасно важно! Вы строите большие дома.

Николь вернулась обратно, она объяснила, что сад должен освещаться снаружи еще больше, но он недостаточно хорошо

благоустроен.

— Вы не должны обращать внимание на то, что свет попадает в комнату.

Фло переспросила:

— Что попадает в комнату? Когда он попадает...

— Как уютно, в самом деле уютно, — сказал Анри. — Здесь многое изменилось за последнее время!

Сквозь стеклянную стену они увидели прямоугольную травянистую лужайку, освещенную бенгальскими огнями и огороженную стеной.

— Анри, — прошептала Фло. — Они у тебя в кармане...

Он дал ей темные очки.

Николь болтала о месье Дешампе, о его оригинальном и вместе с тем современно-сдержанном искусстве интерьера. Дорогостоящий господин, но великолепен. Ничего, что могло бы помешать, все чисто, просторно и на своем месте. Взгляните на фиолетовые и буро-зеленые цвета сирени! Они вписываются в общий фон. Как искусно, не правда ли? Особенно засохшие цветы.

Фло стало внезапно трудно остановить на чем-то свой взгляд, следить за слишком быстрой манерой хозяйки говорить, она осторожно спросила:

— Но зачем вы ставите мертвые цветы? И что вписывается в общий фон?

Николь засмеялась своим звучным ясным смехом:

— Мертвые цветы? Но, дружок, тогда, разумеется, бросается в глаза, что все остальное — живое! Вы выпьете коньяку?

— Нет, спасибо! Я за рулем!

— Ну а Флоренс? Малюсенькую-премалюсенькую рюмку!

— Да, спасибо! И не обязательно малюсенькую. — Фло медленно добавила: — Если б я только могла понять...

Анри прервал ее:

— Как жаль, что Мишель не смог быть дома.

— Да, не правда ли! Но он обещал приехать. Боже, как я устала от его конференций! Все время — конференции, конференции...

— Разумеется, Николь! Мне это знакомо. Но Мишель — человек ответственный.

Фло повторила:

— Если б я только могла понять почему. Почему он это сделал...

— Фло, — прервал ее Анри, но она горячо продолжала:

— Почему? Ведь не идут и не вешаются из-за пустяков!

Она опорожнила свой бокал и посмотрела прямо на Николь.

Николь слегка приподняла плечи, но, быстро взглянув в сторону Анри, отвернулась.

— Простите, но позвольте мне поговорить об этом, нам необходимо попытаться понять, что же с ним произошло, не так ли? Что он имел в виду тогда, в тот раз, когда мы не слушали его, Анри? Мы не прислушивались, а это было важно!

Николь, глубоко вздохнув, произнесла:

— Ведь речь идет об учителе гимнастики из школы, так ведь? Я слышала об этом. В самом деле печальная история. Но вы же почти не знали его?

Фло не слушала. Опустив лицо, обрамленное тяжелыми прядями, она пыталась вспомнить...

— Было нечто важное в том, что проходит мимо тебя, потому как не... Нет, подожди немного. Он полагал, что все время, пока живешь, нужно... Неужели теперь слишком поздно? Что было так важно?

Обернувшись к Николь, Анри быстро объяснил:

— Он составил какой-то письменный протест, ну вы понимаете. И хотел, чтобы родители учеников подписали его.

— Вот как!

Фло выпрямилась и воскликнула:

— А мы не подписали!

— Флоренс, мой дорогой друг, этого всегда следует остерегаться. Никогда ничего не знаешь заранее. Они всегда имеют в виду совсем другое, а не то, что говорят, а потом ты увяз, Мишель и я понимаем это лучше, чем многие другие. Это может быть связано с политикой.

— Нет, речь шла о лесе.

— Фло, любимая, это не имеет ничего общего с тем делом!

Зазвонил телефон, и Николь быстро поднялась. Пока она отсутствовала, Фло спросила:

— Думаешь, он повесился?

— Милая Фло, оставь это. Не теперь! Хозяйка вернулась.

— Неправильно набран номер. Я думала, это Мишель. Вы не выпили ваш кофе? Позвольте, я добавлю немного горячего.

— Кофе! — воскликнул Анри. — Почему теперь не пользуются термосом! Я вспоминаю, как уютно бывало в те времена, когда мы с Мишелем выезжали рыбачить...

Но Фло повторила свой вопрос:

— Что ты имеешь в виду, говоря, что это не имеет ничего общего с тем делом?

— Ничего. Поверь мне, ничего. Это совершенно не имеет никакого отношения к лесу.

Николь отворила стеклянные двери, ведущие в сад. Моросил мелкий дождик, совсем слабо. Она ненадолго задержалась на пороге, вдыхая мягкий влажный ночной воздух. Ей хотелось, чтобы Мишель наконец вернулся домой, чтобы помочь ей, она хотела, чтобы у его компаньонов-бизнесменов не было бы жен. Красивая, высокая Николь горячо желала: пусть ту жизнь, что она создала из покоя и удовольствий, жизнь, насколько это возможно, не нарушаемую всем уродливым и непонятным, что вторгается извне, оставят в покое. Почему бы им не поговорить о чем-нибудь приятном, ведь это так легко?

— Леса, — сказала она, отодвигая незаметно графин с коньяком чуть подальше, — я всегда была очарована лесами. Однажды у нас с Мишелем выдалась совершенно свободная неделя в Дании. Эти неправдоподобные буковые леса! Тогда тоже была весна. Просто сказочно! Анри, не попробуете ли сигару?

— Да это же наша с Мишелем старая любимая марка!

Они улыбнулись друг другу.

— Знаете что, — сказала Фло, — я люблю запах сигар. Ощущение, словно никто никуда не торопится.

— Это так верно! — благодарно воскликнула Николь. — Не то что сигареты! Немного «Виши»?

— Нет, спасибо!

Фло рассматривала красивую хозяйку дома, та внезапно показалась ей такой дружелюбной и простой, она почти застенчиво взяла ее за руку и доверилась ей:

— Николь, возможно, вы поймете меня, я все время думаю об этом. Ощущение такое, что ему причинили зло, не подписав этот листок.



Телефон зазвонил снова, и снова номер оказался неправильным. Вернувшись, Николь пылала благородным негодованием.

— Флоренс, милая, — сказала она, — какая была бы разница, если бы подписали? Возможно, совесть ваша стала бы чище. Вообще-то, приходило ли вам когда-нибудь в голову, что испытывать угрызения совести чрезвычайно претенциозно. Где-то я читала, что, когда люди умирают, ты испытываешь угрызения совести, независимо от того, был ли ты дружелюбен или недружелюбен; все равно тебя мучает совесть, это просто свойственно людям, и нечего принимать это всерьез. Мучает ли ваших мальчиков нечистая совесть? Нет! Они наверняка гоняют мяч или что-то в этом роде.

Наступила абсолютная тишина.

— Минутку, — сказал Анри. — Послушайте теперь меня. Вы обе! Его ученики, в том числе наши мальчики, побывали там и разрезали колючую проволоку во многих местах.

— Они сделали это! — воскликнула Фло. — Как прекрасно!

— Но как им это удалось? Думаю, это могло бы вас утешить! — сказала Николь.

Фло рассмеялась:

— Видите ли, моя дорогая Николь, они приняли это всерьез! Это ли не доказательство их благородства, не так ли? Они не пожимали плечами и не отмахивались от всего этого как от скучной истории!

Николь медленно краснела.

— Говорили о каком-то зачете. Возможно ли, что они в самом деле сдают зачет? Обыкновенному учителю гимнастики? А он не справился с этим, и случилось так, что пошел и... о боже! Что оставалось делать?

Анри ответил весьма кратко:

— Влезть в петлю. Чтобы стать штатным преподавателем школы гимнастики.

— А он не мог этого сделать?

— Нет. Он пытался ежегодно...

— Он пошел и повесился. На веревке? Он был старый? Или слишком толстый?

Фло поднялась из-за стола:

— Он был единственным человеком, который что-то попытался сделать. И он хотел этого так сильно, что смог умереть за это. И никто

ему не помог!

Николь была уже по-настоящему взволнована, она выдавила из себя:

— Ему, вероятно, пришлось карабкаться наверх самому!

— Николь, — предупредил ее Анри. Некоторое время было тихо, слышался лишь шум автомобилей, проезжавших за стенами дома.

— Флоренс, — сказала Николь, — я понимаю, вы пережили неприятные минуты, я понимаю вас прекрасно, абсолютно! Но неужели его так утешило бы теперь, если бы вы написали свое имя на его листе? Вы только подумайте!

— Не знаю. Возможно, в утешении нуждаюсь я... Но я не слушала его. Он что-то говорил о том, что мы несчастны и даже не знаем об этом, стало быть, ничего лучше уже быть не могло... Неужели все так просто, Анри? Так просто? Это имело отношение к природе?

— Фло, не пора ли нам собираться домой?

— С выступлениями этих зеленых давным-давно покончено... — начала было Николь, но ее резко прервали.

— Этих зеленых, говорите вы, зеленых! Вы не понимаете! Вообще-то здесь нет ни единого цвета, который можно было бы назвать зеленым, даже трава по-настоящему не зеленая, здесь одни только ужасные искусственные цвета — совершенно ужасные! Нет, не говори ни слова, я знаю, что веду себя плохо! Где мои очки, я имею в виду другие, те, что были на мне, когда мы приехали!

Анри протянул ей очки и сказал:

— Николь, я в самом деле думаю, что пора домой!

— Правда, пора? А я подумывала о маленьких бутербродиках на ночь...

— В другой раз. Кроме того, нас дома ждут мальчики.

— Конечно, естественно. Как они поживают?

— Чудесно! Просто чудесно!

— Николь, — сказала Фло, — я знаю, я вела себя ужасно. Это непростительно. Но вы бы все поняли, если бы увидели его. Он был таким наивным. И любознательным, и интересовался всем, и готов был рисковать. А теперь скажите мне — как любой из нас сможет хоть с чем-то справиться, если даже такой человек, как он...

— Дорогая Флоренс, естественно, вы взволнованы; право же, легко напугать и сбить всех с толку, играть в лесу в Тарзана и говорить, что все могло бы быть так просто и замечательно, а потом пойти и повеситься. Думаю, это значит обмануться. И стать несчастным, не зная об этом. Какая мысль! Если не знаешь об этом, то, наверное, ты не несчастен!

— Конечно!.. — воскликнула Фло. — Он никого не обманывал, это мы его обманули!

Она потянулась за коньяком и наполнила свой стакан:

— Мне бы хотелось, чтобы хоть что-нибудь было для меня так же важно, я могла бы умереть за это!

После этих слов она вышла через стеклянные двери.

Зазвонил телефон. Анри ждал, он очень устал. Но вот Николь вернулась. Звонил Мишель, просил передать большой привет и сказал, что вернется, как только сможет.

— Вы ведь останетесь еще немного? Может, бутерброды напоследок? Мишель будет так разочарован!

Они оба посмотрели в сад. Фло не было видно. Анри сказал:

— Подождем немного?

— Думаю, дождя так и не будет, — заметила Николь. — Мы собирались поставить в саду небольшую скульптуру — фавна или мальчика, который держит рыбу.

— Думаю, надо мальчика и рыбу.

— Думаете? Он будет стоять посередине. Мы уберем эти кусты, у них такой неряшливый вид, нельзя ведь жить в джунглях, не правда ли?

— Нет, — сказал Анри.

— Тут за стеной как раз стоит дерево, но оно затеняет всю площадку, где пьют кофе.

— Естественно, — ответил Анри. — Может, выйдем и немного подышим?

Фло было совсем худо. Что-то случилось с ее очками, и стены вокруг поросшей травой прямоугольной лужайки казались совершенно нереальными — они подступали все ближе со всех сторон. Она уронила свой стакан на пол из терракотовых плиток возле садового гриля.

— Николь! Какая ужасная, ужасная стена!

Фло подошла вплотную к Николь и продолжила:

— Что бы вы сказали о ком-то, я говорю, о ком-то, кто могучим скачком перепрыгнул бы через вашу стену, просто перепрыгнул, о том, кто в сто раз умнее и нежнее нас, кто просто явился, легкий как перышко и свободный, и стоял бы там, и смотрел сквозь стену, и знал!..

Николь ответила, очень тихо и безжалостно:

— Предположительно с помощью лианы? Или, может, веревки? Не так-то легко улавливать ваши хрупкие мысли, милая Флоренс, уж не Тарзана ли вы имеете в виду, или своего рода Иисуса, или, возможно, вашего несравненного учителя гимнастики?

— Всех! — закричала Фло. — Всех! Но если бы он явился, вы никогда не узнали бы его и никогда не приняли бы! Я знаю это.

Она растянулась на траве, подперев лицо руками. Анри сказал:

— Николь, мне очень жаль!

— Не огорчайтесь. Я так легко все забываю. Не хотите остаться на ночь в комнате для гостей? Это не причинит никакого беспокойства!

— Спасибо, спасибо, но мы, пожалуй, поедem домой. Через некоторое время.

— Но она ведь не может лежать на земле, трава совсем мокрая...

— Пусть поспит.

Он бережно обнял Николь за плечи и сказал:

— Вы самая лучшая жена, какая только могла быть у Мишеля. Вы подходите друг другу! Фло и я тоже подходим друг другу. Не можем ли мы немного посидеть здесь молча? Нет, ни слова! Пусть будет совсем тихо.

Они присели на стулья возле садового гриля. Ночь была необычайно теплая для такой весны. Они слышали только шум проезжавших мимо машин. Николь откинулась на спинку стула и закрыла глаза.

— Анри, знаете... мне становится немного жутко, когда ночью совсем тихо.

— В самом деле?

— Да, немного неприятно. Даже страшно! Здесь ведь постоянно толпится народ, у Мишеля столько знакомых, но когда они уезжают, а он засыпает, слышишь только шум машин, что почти всю ночь

проезжают мимо. Но есть такое время, когда даже машины не проезжают. Понимаете, тогда стоит абсолютная тишина.

Анри зажег одну из сигар Мишеля. Она продолжала:

— А это дерево за стеной, что отбрасывает тень...

— Да, это дерево?

— Один мальчик как-то влез на него. Соседи послали его сюда спросить, не засорился ли и у нас сток. И вместо того чтобы позвонить, он перебрался через стену с помощью веревки.

Анри сказал:

— Возможно, он играл в Тарзана... — и резко оборвал самого себя. — Он выбрался обратно так же?

— Я не следила за ним.

Фло села в траве и спросила:

— Когда у вас засорился сток? Не засорился? Николь, вечер был очень приятный. Я прощаю вас. Мы все прощены.

Она поднялась и вошла в дом.

— Николь... — сказал Анри.

Он искал нужные слова, и она тотчас пришла ему на помощь:

— Благодарить не за что! Я была рада принять вас у себя. Вы должны как-нибудь прийти, когда Мишель будет дома. Вы всё взяли? Ничего не забыли?

Ее большие синие глаза были так же красивы, как всегда, в них не читалось и тени недовольства. Она добавила:

— Вы знаете, дорогой друг, все забывается так легко.

В машине Фло заснула. Проснувшись через час, она спросила:

— Надо мне написать ей письмо?

— Нет, не думаю. Не надо тревожить людей, которые легко забывают.

— Почему ты не злишься? Ты больше никогда не сможешь взять меня с собой туда.

— Конечно, смогу. Лучше как можно скорее!

Она немного посмотрела на него, а потом по-прежнему стала глядеть прямо перед собой. Накрапывающий дождь придал блеск асфальту. Через полуоткрытое окошко автомобиля к ним доносился аромат мокрой травы.

Через некоторое время Анри рассказал о дереве, на которое он забрался, когда был малышом. А потом не осмелился спуститься

обратно вниз и просидел там весь день напролет.

— Я жутко боялся, — сказал он. — А еще страшнее казалось то, что все будут смеяться надо мной.

— Кто-то пришел и спас тебя?

— Нет. Я слез вниз сам. Я плакал от испуга. А потом снова вскарабкался вверх, в тот же миг.

— Да, — сказала Фло. — Понимаю.

Не много машин было на шоссе той ночью. Анри представил себе Николь, которая лежала и прислушивалась к шуму автомобилей, они проезжали по одному, и ее одиночество становилось еще больше. «Великолепная женщина, — думал он. — По-видимому, жить с ней легко. У меня — женщина с трудным характером. Все хорошо!»

Когда они подъезжали к своему дому, он почти мимоходом спросил:

— Что это значит: быть несчастным и знать об этом?

— Возможно, это не так опасно, — ответила Фло. — Думаю, это не так опасно. Думаю, если знаешь об этом, это не опасно.

Мальчики уже легли спать. Анри завел будильник и собрал бумаги, которые ему нужны были для работы назавтра. Платье Фло было покрыто пятнами от земли и травы, он замочил его в ванной.

Он снова открыл сумки и чемоданы, уже в третий раз.

— Но, Арне, любимый, — сказала Эльса, — мы никогда не тронемся в путь, если ты не надеешься на наши записи. Мы ведь составляли их целую вечность!

— Знаю, знаю, не шуми, мне нужно проверить всего лишь несколько мелочей...

Его худое лицо сморщилось от страха, а руки снова начали дрожать.

«Ему постепенно станет лучше», — подумала она.

«Ему постепенно станет лучше, — так сказал врач, — месяц полного покоя, и ничего больше. Он переутомился, и виновата в этом школа...»

— Эльса? Который час? Как по-твоему, уже слишком поздно звонить ректору<sup>[93]</sup>? Только чтобы объяснить ему, объяснить до конца, я имею в виду, чтоб ему все стало понятно.

— Нет. Не звони опять, не нужно. Не думай об этом.

\* \* \*

Но ведь он думает об этом, думает все время. Они давным-давно поняли, что это его прошение об отставке никто не примет всерьез; они всё понимают, они хотят, чтоб он вернулся обратно, когда выздоровеет...

Повернувшись к жене, Арне сказал настойчиво-устало — он повторял это уже сотни раз:

— Проклятая школа! Проклятая малышня!

Она ответила:

— Тебе бы учеников постарше. Твои слишком малы, они плохо схватывают. Но надо понимать...

— Вот как? Их надо понимать? Да они маленькие чертенята, способные на все — я говорю тебе, на все, — только чтобы уничтожить мою работу и превратить мою жизнь в ад...

— Арне, перестань! Успокойся!

— Вот именно: успокойся. Великолепно! Скажу тебе, что больше всего на свете меня беспокоит, когда меня пытаются успокоить!

Эльса начала хохотать, ее напряжение разрядилось сильным смехом — смехом, внезапно сделавшим ее лицо прекрасным.

Он закричал:

— Идиотка! Ненормальная!

Он яростно опрокинул чемодан на пол и, повернувшись к ней спиной, закрыл лицо руками. Эльса очень тихо сказала:

— Извини... Иди-ка сюда!

Он подошел к стулу, на котором она сидела, и, опустив голову ей на руки, сказал:

— Расскажи еще раз, как все будет!

— Мы подплываем все ближе и ближе к берегу. Папина лодка очень маленькая, но сработана надежно. Это наше свадебное путешествие. Ты сидишь на носу, ты никогда прежде не был в шхерах. Увидев каждую новую шхеру, ты думаешь: это та, что нам нужна, но нет, нам надо в самую дальнюю глубь моря, к островку, который кажется лишь тенью на горизонте. А когда мы высадимся на берег, это больше уже не папин остров, это наш собственный, на много-много недель; и город, и все люди исчезают все дальше и дальше, а под конец их вообще не видно, и у нас нет с ними ничего общего. Лишь одно сплошное спокойствие. Сейчас, весной, дни и ночи бывают безветренны, беззвучны, можно сказать, прозрачны... Ни единая лодка не проходит мимо, дол го-дол го...

Она замолчала, а он спросил:

— Ну а потом?

— Нам не надо будет работать. Никаких переводов. Ни почты, ни телефона. Ничего, что нам было раньше необходимо. Мы почти не открываем привезенные с собой книги. Мы не рыбачим, не садовничаем. Мы только ждем, когда нам чего-нибудь захочется, а если не захочется, то, значит, это вообще не важно.

— Ну а если нам чего-нибудь захочется? — задал он свой вечный вопрос, и она ответила:

— Тогда мы сыграем. Сыграем в какую-нибудь совершенно ненужную игру.

— А с кем ты обычно играешь на острове?



Засмеявшись, она ответила:

— С птицами.

Он сел и посмотрел на нее.

— Да, с птицами, с морскими птицами. Я всю зиму собираю и сушу для них хлеб. А когда приплываю на шхеру весной, мне стоит только свистнуть — и они узнают меня, и тогда повсюду хлопают белые крылья, птицы клюют на лету хлеб из моих рук. Это прекраснейшая из игр, какую только можно себе представить!

Они оба встали, Эльса подняла руки и показала, как к ней подлетает большая чайка, и рассказала, какое испытываешь ощущение, когда крыло слегка задевает твою щеку, так мягко! И когда плоские холодные лапки чаек находят опору на твоей руке, так доверительно... Она рассказывала больше уже не для него, а для самой себя, она говорила о своей собственной чайке, той, которая возвращалась каждую весну обратно на шхеру и стучала клювом в оконное стекло, — она называла ее Казимирой.

— Какое имя! — сказал Арне.

— Да, не правда ли интересное?! — Обвив его руками, Эльса заглянула ему в лицо: — Как по-твоему, может, нам сейчас лечь спать?

— Конечно, но ты ведь знаешь: нынче я сплю немного беспокойно, я боюсь разбудить тебя. Принести тебе сок или воду?

— Воду, — ответила Эльса.

\* \* \*

Они отправились в путь только под вечер. Теплые лучи заходящего солнца еще покоились, медля, над морем, и небо было совершенно спокойно и неописуемо прекрасно. Крупные острова остались уже позади, и теперь им встречались лишь невысокие шхеры, подчеркивавшие невидимую линию горизонта. Арне сидел на носу, иногда он оборачивался, и они улыбались друг другу. Она обратила его внимание на длинную вереницу перелетных птиц, державших путь над их головами к северу; она показала ему нескольких морянок, что пролетели мимо, прямо над своими

отражениями в воде, мелькая с быстротой молнии стремительными крыльями. Она закричала:

— Комитет по приему гостей!

Но шум мотора не позволил ему расслышать ее слова.

И вот они у цели. Облако кричащих, белых как мел морских птиц поднялось в вечернее небо — казалось, несколько сотен птиц парят над их головами. Арне стоял с канатом в руках, глядя, как они кружат в воздухе.

— Они успокоятся, — сказала Эльса. — Но ты пойми, именно сейчас они кладут яйца. Единственное, что нам необходимо, — это быть поосторожнее с теми гнездами, что совсем близко от нашей лачуги.

Они пришвартовались и вынесли из лодки багаж; она дала ему ключ отпереть лачугу, состоящую из одной-единственной низенькой комнаты с четырьмя окнами. В комнате молчаливо застыла сырая прохлада. Из каждого окна видно было бескрайнее море.

— Абсолютно нереально, — сказал Арне, — это все равно что очутиться на горной вершине или, быть может, внутри воздушного шара. Думаю, ночью я буду спать. Как по-твоему, пожалуй, распакуем вещи утром? И нам вовсе незачем зажигать свечи.

— Нет, нам вообще ничего не надо делать, — ответила Эльса. — Все хорошо.

\* \* \*

Перед восходом солнца птицы подняли такой яростный крик, словно тысячи обезумевших крылатых обитателей шхер подстрекали самих себя к нападению на людей; их лапки топтали железную крышу, казалось, тысячи птиц окружали лачугу со всех сторон, они были повсюду.

Разбудив Эльсу, Арне спросил:

— Что это с ними?

— По утрам всегда так, — ответила она. — Одна птица закричит, и тогда начинают кричать другие, но через какое-то время они смолкают. Поспим еще?

Взяв его руку в свою, она тут же заснула. Птицы продолжали кричать. Он попытался не обращать на их крики внимания, но почувствовал, как его старый страх подползает все ближе и ближе, его ужасный страх перед звуками, перед всем, что не получается... И тогда он нашел спасение лишь в воспоминании о прошедшей ночи и снова захотел обрести защиту, а птицы уже ничего не значили для него.

Когда солнце взошло, всю комнату затопили яркие лучи — розовые и оранжевые, а вокруг лачуги все смолкло, было совершенно тихо.

«Я учусь спокойствию, — думал он, — я научусь...»

\* \* \*

Они пили утренний кофе.

Внезапно раздался стук в окно. Эльса вскочила и закричала:

— Это Казимира! Она вернулась!

К стеклу вплотную прижалась огромная чайка, весь ее вид, казалось, выражал нетерпение. Арне спросил:

— Есть еще кофе?

— Сейчас подогрею... Подожди немного...

Она быстро смочила сухой хлеб, разрежала корку сыра для чайки на мелкие кусочки. Все было вынесено тут же на крыльцо. Эльса издала птичий посвист и подняла своими красивыми округлыми руками мисочку повыше. Казимира, подлетев, уселась ей на руку и стала клевать.

— Видишь! — закричала Эльса. — Она помнит меня!

Арне спросил:

— Сколько лет живут птицы?

— До сорока, в лучшем случае.

— И они всегда возвращаются?..

— Всегда.

\* \* \*

Гагу первым увидел Арне. Она сидела на яйцах под кустом близ крыльца, едва различимая на фоне серо-бурой весенней земли.

— Это доброе предзнаменование, — серьезно сказала Эльса. — Подумать только, она не улетела, хотя мы и приплыли сюда... Теперь она останется у нас до тех пор, пока не вылупятся птенцы. Разве не мило?!

Арне, очарованный, рассматривал гагу, длинный профиль птицы, казалось, выражал терпение и глубокомыслие. Гага лежала совершенно спокойно.

Он сказал:

Я никогда раньше не видел гагу. Посижу немножко на крыльце.

Посиди, любимый. А я распакую вещи.

Арне долго сидел — сидел, глядя на эту неподвижную птицу, на эту умную птицу, понимавшую, что бояться ей нечего.

Потом чрезвычайно медленно прошел мимо нее и направился дальше по острову... Они приблизились к берегу озера, эти неистовые рои орущих птиц, они то и дело пикировали у него над головой. Они подлетали целеустремленно и злобно... И он стал кричать им в ответ, панически размахивая руками. Он чувствовал, как их крылья, подобно молнии, ударяются о его голову; внезапно кто-то злобно клюнул его. Он сел на корточки, закрыл лицо руками и позвал:

— Эльса! Эльса?

Она подбежала и тоже закричала:

— Здесь же их гнезда! На этой стороне острова масса птичьих гнезд, мне надо было предупредить тебя...

Они спустились вниз к лачуге, он бросился на кровать и устался в стену.

— Я так огорчена, — сказала она. — Они очень агрессивны в это время года, их стало слишком много... И если их отгонять, они становятся еще хуже...

— Знаю. В каждом классе слишком много детей, в каждом чертовом классе. И если их выгонять, они становятся еще хуже. Ничего больше не говори. Я хочу спать.

\* \* \*

Под вечер он вышел взглянуть на гагу. Вблизи на холме парочка чаек, быстро и коротко вскрикивая, исполняла диковинный танец; неистово хлопая крыльями, петушок осаждал свою курочку.

Арне снова вошел в дом.

— Скотские страсти, — сказал он. — Отвратительно!

— Ты так считаешь? А я считаю, это красиво. Сварить сегодня овощной суп или, пожалуй, лучше курицу?

— Свари что хочешь, мне все равно.

\* \* \*

Эльса лежала без сна, слушая, как кричат морянки. Раньше она радовалась, что расскажет ему о морянках, этих таинственных морских птицах, попросит его послушать их призывные клики, далеко-далеко в море, но после этой истории с чайками она уже не осмеливалась заговаривать о птицах. Его руки снова начали дрожать, и уже много дней он не выходил из дому. Он добирался только до крыльца, где сидел, глядя на гагу, а однажды сказал:

— Она производит впечатление всем довольного существа, не правда ли?

И еще спросил, когда вылупятся птенцы.

Эльсе пришлось отваживать Казимиру от дома. Чтобы она перестала стучать в стекло, Эльса убрала ящик, на который обычно садилась птица, спрятала и ее мисочку для еды. Но куда бы ни шла Эльса, большая птица летела следом за ней, и она слышала ее жалобный, вкрадчивый писк. Арне смотрел на все это, словно бы иронически комментировал происходящее; в конце концов она тоже перестала выходить из домика; только когда муж читал или спал, она быстро делала все, что нужно по хозяйству вне дома, швыряла Казимире еду на холм и поскорее убегала в дом. Эльса и Арне стали преувеличенно осторожны друг с другом и говорили лишь о совершенно безобидных будничных мелочах.

Однажды ночью ветер переменился и задул с северо-востока. От этого Эльса, как обычно, проснулась и подошла к окну — посмотреть, надежно ли пришвартована лодка.

— Арне, — сказала она, — лодка пришвартована ненадежно, канаты дергаются.

Внизу, на берегу, она поостереглась объяснить, что ему нужно сделать, но времени у него было достаточно, и он весьма сносно укрепил канаты. Птицы держались спокойно.

Утром Арне показался ей гораздо веселее, таким она его давным-давно не видела. Слава богу, наконец-то он хоть чуточку повеселел. Как всегда, он пошел посмотреть на гагу. Она спала под кустом роз.

— Она спит, — прошептал он. — Скоро появятся листья, и тогда ей будет еще спокойнее. Ты тоже так считаешь?

— Конечно, — ответила Эльса. — Тогда ей будет совсем хорошо. Пройдемся немного вдоль берега, поищем каких-нибудь дровишек. У нас нет больше неколотых дров, а чурбаки в очаге не горят.

— Все устроится, — сказал Арне. — Пойду и наколю дров. Для меня это пустяк и много времени не отнимет.

Она отпустила его, забыв о чайке, которая каждую весну сидела в гнезде возле поленницы, и только через некоторое время, вспомнив об этом, выскочила из лачуги и стала звать его домой. Но было уже поздно, он сам вошел с топором, повисшим у него в руке, бросился на кровать и сказал:

— Там было три яйца.

— Что ты говоришь?

— Три яйца. Это три птицы. Я бросил их в море. Гнездо тоже. — Немного помолчав, он добавил: — Гнездо уплыло прочь. Но яйца пошли ко дну, как камни... канули прямо вниз.

Эльса смотрела на его источавшую неприступную недоброжелательность спину, и у нее внезапно пропало всякое желание сказать ему, что, если разорить гнездо морской птицы, она соорудит новое и будет класть яйца точь-в-точь на том же самом месте. Она спустилась вниз к поленнице, нашла «место преступления» и заложила его целиком камнями, а потом стала ждать за навесом, когда чайка вернется обратно... Птица осмотрела камни, попыталась сесть на них, затем снова поднялась, обошла камни кругом, снова тихонько посидела на них некоторое время, затем набрала в клюв сухой травы и неуклюже стала запихивать ее между камнями.

— Идиотство, — прошептала Эльса. — Проклятая, глупая...

Сдерживая рыдания, она внезапно почувствовала, что бесконечно устала от Арне, от всех его надуманных страхов, от его претенциозной чувствительности... Она побежала в дом и, усевшись на край кровати, точно и со всеми страшными подробностями рассказала о чайке, искавшей яйца, которые она высиживала. Он молча слушал, но в конце концов перевернулся на спину и только пристально посмотрел на нее. Затем, улыбнувшись, спросил:

А во что будем играть теперь? Будем пугать друг друга? Искать яйца чайки? Ты ведь сказала, что мы придумаем какую-нибудь веселую игру, которая никому совершенно не нужна.

Эльса поднялась; она подошла к столику, на котором мыла посуду, и стала энергично собирать корм в мисочку Казимиры, затем открыла дверь и свистнула.

Арне закричал:

— Ты мешаешь гаге! Ты не можешь кормить это чаечье отродье хотя бы подальше от дома?

Чайка прилетела. Все с тем же упорным пронзительным криком, с теми же сильными мягкими крыльями, гладившими лицо Эльсы... Но вот чайка села ей на руку, Эльса громко захохотала, уронила мисочку и, несмотря на могучее сопротивление крыльев, обхватила чайку обеими руками... Все было так, как представляла себе Эльса, абсолютно так, гладкая как шелк, и крепкая, невероятно живучая сила, плененная ее руками! Внезапно, с быстротою секунды, пронзило ее редкостное и неистово-яростное ощущение радости объятия. Но это ликующее ощущение покинуло ее, как только огромная птица, резко высвободившись, взлетела, плавно заскользила над берегом и исчезла. Было необычайно тихо. Эльса по-прежнему стояла не оборачиваясь.

Арне сказал:

— Я видел вас вместе.

Его глухой голос был отдаленно-чужим.

В тот день была мягкая пасмурная погода, располагавшая к задумчивости, погода, когда кажется — все застывает. На кусте роз уже появились мелкие светло-зеленые листочки. Арне не смотрел на гагу, но он все время знал, что она там, на своем месте, что она — подруга, которая не изменит.

Надо было, во всяком случае, взять с собой радиоприемник, но они ведь решили пожить наконец в долгой, благословенной тишине, да, такой у них был план. К вечеру с моря поднялся густой туман и принес с собой еще более глубокую тишину. Остров внезапно стал нереальным, он уменьшился в размерах, а четыре окна их домика словно облепило толстым белым шерстяным покрывалом. Все птицы, казалось, исчезли. Но это была как раз такая погода, в которой нуждалась гага, чтобы отвести своих птенцов вниз, к морю.

Эльса приготовила вечерний чай. Они пили чай, каждый читая свою книгу. После чая Арне вышел на крыльцо. Он вышел вовремя: он увидел, как его гага медленно спускается с холма, а за ней, выстроившись в один ряд, движутся птенцы. Это было невероятное, фантастическое, столь замечательное зрелище, что он окликнул Эльсу — пусть она тоже посмотрит, — и в тот же миг послышалось хлопанье могучих крыльев, и огромная белая птица, ринувшись на одного из птенцов, схватила его, и прямо на глазах охваченного ужасом пред своей беспомощностью Арне гагачонок постепенно исчезал в разверстом клюве птицы. Арне громко закричал и кинулся, чтобы защитить птенца. Он поднял камень и бросил его в чайку. Арне никогда не мог попасть в цель, но на этот раз ему удалось метко кинуть камень, — раскинув крылья, птица лежала на склоне холма, словно распустившийся цветок, она была белее тумана, а ножка гагачонка по-прежнему торчала у нее из клюва.

— Эльса, я убийца! — закричал он.

Она, стоя рядом с ним, легко коснулась его руки и сказала:

— Смотри, они идут дальше.

Гага и птенцы продолжали спускаться вниз, к воде, теперь они двигались в тумане. Он повернулся к ней:

— Ты не понимаешь, что произошло! Я убил Казимиру, я случайно попал в нее, в твою Казимиру!

Арне был страшно взволнован; подняв мертвую птицу за одно крыло, он пошел на берег — бросить ее в море. Эльса смотрела ему вслед, решив промолчать о том, что убил он другую, серебристую чайку с желтым клювом и серыми ножками. И что Казимира, естественно, никогда больше не вернется сюда.



## Оранжерея {42}

Когда мой дядя окончательно состарился, он стал интересоваться ботаникой. Свою собственную семью он так и не завел, но у него были многочисленные сердобольные родственники, которые о нем заботились; они купили ему дорогие, прекрасно иллюстрированные книги по ботанике. Дядя похвалил книги и отложил их в сторону.

Но когда родственники отправлялись на работу, в школу или еще куда-нибудь, каждый по своим делам, он выходил из дому, садился в трамвай и ехал в Ботанический сад. Ехать туда было далеко и неудобно, почти всю дорогу приходилось мерзнуть, но все неудобства этой поездки окупались ожиданием момента, когда он распахнет ворота оранжереи и в лицо ему ударит теплый воздух, напоенный сильным и вечным запахом цветов. Не менее приятно было погрузиться в тишину. Посетителей здесь почти никогда не бывало.

Дядя неизменно направлялся к пруду с кувшинками. Но сначала он бродил по узким аллеям меж тропических растений, джунгли подступали к нему вплотную, но он никогда не притрагивался к растениям и не читал их названия на табличках. Подчас им овладевало нелепое желание войти в гущу этого роскошного цветения и с чувством безграничного обожания не только созерцать, но и ощущать все это великолепие. Это опасное желание становилось еще сильнее возле пруда с кувшинками, с лотосами, в мелком бассейне с прозрачной, постоянно булькающей проточной водой. Снять ботинки, засучить брюки и побродить босиком между цветами и широкими листьями, чтобы они раздвигались и снова смыкались, будто ничего не случилось. Какое это было бы блаженство! И испытать его в одиночестве, в теплой и безлюдной оранжерее!

Возле бассейна стояла небольшая железная фигурная скамейка, выкрашенная в белый цвет. На ней дядя имел обыкновение отдыхать, погружаясь в созерцание и размышление, свободные от треволнений внешнего мира.

Над бассейном высился большой стеклянный купол, сооруженный давным-давно. Купол обрамляла очень красивая галерея с легкими ажурными металлическими перилами и

арабесками в стиле модерн, воздушными, словно бабочки. Ведущая на галерею винтовая лестница отличалась такой же игривой, манящей элегантностью. Время от времени люди карабкались по винтовой лестнице, проходили по галерейке, спускались вниз и исчезали. Они всегда спешили и почти не обращали внимания на пруд с кувшинками.

«Ослы! — думал про них дядя. — Ноги у них сильные, а ума мало».

Смотритель оранжереи сидел за большим пушистым кустом; он обычно читал или вязал. Дяде не раз хотелось спросить, что это он вяжет, но он не решался: он хотел сохранить между ними необходимую дистанцию и тишину в зале. Они лишь обменивались кивками.

Случалось, что смотритель покидал свое место за кустом и по какому-нибудь делу проходил мимо пруда с кувшинками, а один раз, когда дядя уходил из оранжереи, он поспешил открыть ему тяжелые ворота.

Дома дядя запретил родственникам распахивать перед ним дверь, но в данном случае это была дань уважения, которую можно было принять; он был Grand Old Man<sup>[94]</sup> оранжереи, один-единственный, кто понимал ее значение.

Однажды, явившись в оранжерею, дядя понял, что скамейка принадлежит не одному ему: на ней сидел старый господин с висячими усами и в бархатном воротнике. Дядя пошел дальше, он побродил по зеленым аллеям, а когда устал, вернулся к скамье, но она была по-прежнему занята. Скамейка была маленькая, на ней едва хватало места для двоих. Дядя подождал немного и поехал домой.

А в другой раз произошел еще более досадный случай. Когда дядя собрался идти домой, этот старикан в тот же самый момент поднялся со скамьи, место освободилось, но слишком поздно. Дядя попытался выйти первым, но старикашка оказался проворнее, чем можно было от него ожидать, и оба господина оказались у выходной двери одновременно. Старикашка отворил дверь, потому что дядя стоял и ждал! Оба замерли, не говоря ни слова. Ситуация была невыносимо унижительная. Дядя решил не говорить нахалу ни слова.

Положение спас смотритель. Это был умный человек; поскольку цветы ему немного поднадоели, он иногда наблюдал за посетителями.

Быстро подскочив к двери, он привычным жестом распахнул другую ее створку, отвесил поклон, и оба посетителя бок о бок прошествовали из оранжереи, чтобы тут же разойтись в разные стороны. Чтобы попасть к трамвайной остановке, дяде пришлось сделать большой крюк. А на следующий день этот чертов старикан опять сидел с книгой на самой середине скамейки.

Ситуация со скамейкой стала для дяди просто навязчивой идеей, он стал смотреть на старикана как на своего личного врага. По ночам дядя лежал и пытался угадать, сколько ему лет, моложе он или старше его самого, есть ли у него родственники и ухаживают ли они за ним, интересуют ли его хоть сколько-нибудь цветы, или его привлекает лишь тепло оранжереи, что за книги он все время читает, можно ли назвать вызывающими его огромные усы...

И наконец в один погожий зимний день скамейка оказалась пустой. Дядя быстренько уселся и стал созерцать пруд с кувшинками, чего не делал давно. Однако мысль о нахале не давала ему покоя. И вот дверь отворилась, и тот вошел. Стуча тростью об пол в такт шагам, он подошел к дяде и сказал:

— Вы сидите на моей скамейке.

Смешно было отвечать: «Это моя скамейка», нужно было сказать что-нибудь невраждебное и уклончивое. Дядя отчаянно старался придумать нужный ответ и выпалил:

— Я абсолютно глухой, милостивый государь.

Его недруг вздохнул, — казалось, это был вздох облегчения; он сел рядом с дядей и открыл книгу, по-видимому библиотечную.

Тишину в оранжерее нарушало лишь журчание воды. Смотритель постоял, поглядел на них и вернулся к своему кусту. Потом он не раз имел возможность видеть двух стариков, молча сидевших рядом. Тот, кто приходил первым из них, садился на край скамейки, а когда являлся другой, они неизменно обменивались сдержанными поклонами.

Когда дядя понял, что с разговорами к нему не будут приставать, чувство вражды в нем уступило место невольному уважению. Он обнаружил, что библиотечная книга была сочинением Спинозы, и чувство уважения усилилось. Дядя решил тоже брать с собой книгу, чтобы произвести впечатление, и на следующий день раскрыл тяжеленный ботанический словарь, подаренный ему родственниками.

Здоровенная книга сползала с колен, а шрифт был слишком мелкий. У старикана, сидевшего рядом с дядей, была привычка время от времени повторять вполголоса то, что его поразило или взволновало в книге, или просто-напросто бурчать себе что-нибудь под нос, например: «Здесь слишком жарко» — или: «Неужели нельзя найти себе другую скамейку?» А однажды он презрительно сказал: «Да этот тип ничего не знает о цветах, только делает вид».

Оскорбленный до глубины души, дядя забыл про осторожность и воскликнул:

— Это вы ровно ничего не понимаете в цветах! Вы даже и не смотрите на них! Сидели бы себе дома со своими идиотскими книжками!

— Удивительно! — произнес его сосед, он снял очки и стал не без интереса разглядывать дядю. — Если я не ошибаюсь, вы, как и я, любите тишину. Моя фамилия Юсефсон.

— Вестерберг, — со злостью сказал дядя, он поднял свою книгу с земли, с шумом захлопнул ее и снова опустился на скамейку.

— А теперь, — продолжал Юсефсон, — мы, быть может, оставим друг друга в покое или, скорее, даже будем вместе наслаждаться покоем.

Тогда-то и началась их своеобразная дружба, суровая и молчаливая.

Постепенно выяснилось, что Юсефсон жил в шумном доме под названием «Тихая пристань», где было полно назойливых болтливых стариков. Юсефсон сообщил это как бы между прочим, без лишних подробностей. Дядя не стал больше брать с собой ботанический словарь. Как ни странно, он наслаждался теперь тишиной и покоем оранжереи еще с большим удовольствием, чем в то время, когда сидел на скамейке один.

И вдруг Юсефсон пропал, его не было в оранжерее целую неделю. Дядя спросил о нем смотрителя, но тот ответил, что ничего не знает о Юсефсоне.

«Быть может, он заболел, — подумал дядя. — Нужно выяснить, в чем дело».

Смотритель помог дяде найти в каталоге номер его телефона. Дозвониться до Юсефсона было очень трудно — дядя все время попадал куда-то не туда. Под конец кто-то из кухонного персонала

сообщил, это Юсефсон взбесился и не желает никого видеть. Дядя решил, что ответившая ему особа сама взбесилась.

«Тихая пристань» показалась ему кошмарным местом, он и представить себе не мог, как это можно собрать в одном доме столько жалкого старичья. У дяди в доме, где все были намного моложе его, он, разумеется, был на особом положении, его считали почти уникальным экспонатом, а здесь он почувствовал, будто его окунули в безликую массу, он вдруг стал незначительной частицей того, что уставшая жизнь выбросила на берег и забыла. Кто-то показал ему, где живет Юсефсон. Это была крошечная комнатка, казавшаяся почему-то странно пустой. Юсефсон лежал на кровати, натянув одеяло до подбородка.

— Вот как, — сказал он, — это вы, Вестерберг, спасибо, что не притащили мне каких-нибудь цветов.

— Между прочим, я вовсе не болен, просто мне все надоело. Садитесь. Ну, как поживаете, любитель лотосов?

— Смотритель просил передать вам привет, — ответил дядя. — Мы начали беспокоиться о вас.

Он огляделся, не зная, на что ему сесть: оба стула были завалены книгами.

— Положите их на пол, — нетерпеливо сказал Юсефсон. — Мне они надоели. Все это одни слова. Слова, слова и слова. Они не помогают. Этого недостаточно. — Немного помолчав, он продолжал: — Вы, Вестерберг, слишком избалованы. Вы не можете понять, как много вам дарит судьба. Смотрите себе и дальше на свои благословенные цветы лотоса, любуйтесь, пока есть время любоваться, и скажите спасибо, что вам никогда не приходилось драться за идею — я имею в виду то, во что стоит верить и что стоит отстаивать.

— Однажды я отстаивал луг, — начал дядя, но Юсефсон его не слушал, он встал с постели и пошел в умывальную комнату.

«Мой луг, — подумал дядя, — луг, который я отстоял... Однако, может, не стоит говорить об этом сейчас».

Юсефсон вернулся с двумя стаканами для чистки зубов и бутылкой коньяку, сел на край кровати и сказал:

— Ты можешь разбавить его водой из-под крана, а я буду пить чистый.

— Ты придешь в оранжерею? — спросил дядя. — Хороший коньяк.

— Ясное дело, хороший. Я пью коньяк только этой марки или вовсе никакой.

За дверью прозвенел звонок.

— Зовут есть! — презрительно сказал Юсефсон. — Чем ты занимался это время?

— Ничем особенно. А почему тебе надоели книги?

— Понимаешь, Вестерберг, они просто отчаянно раздирают идею на отдельные мелкие мыслишки, которые ни к чему не приводят. По крайней мере меня. Они не прибавляют мне знаний, дающих возможность понять все целиком. Поэтому они мне надоели.

— А может быть, — осторожно сказал дядя, — может быть, тебе следует повременить немного и попытаться подойти к ним иначе?

— Что ты хочешь этим сказать? Как это — иначе?

Дядя взглянул на своего друга и сделал неопределенный жест, который мог означать все что угодно, главным образом беспомощную заинтересованность.

— В этом доме, — произнес Юсефсон, — время просто исчезает, оно не живет, так же как и книги. Я хочу получить ясное представление о том, чего человек желает, к чему стремится, что из всего этого выходит и что остается сделать. Это важно. Постичь нечто поистине важное — стало быть, получить ответ. Окончательное и бесповоротное заключение, понимаешь?

— Не совсем... — ответил дядя. — Но так ли необходимо тебе это окончательное и бесповоротное заключение? Если оно доставляет тебе столько огорчений. И к чему спешить, почему оно тебе нужно так срочно?

Юсефсон засмеялся и сказал:

— Знаешь, Вестерберг, в тебе есть что-то располагающее. Хотя ты и большой осел, не правда ли?

— Разумеется, — ответил дядя, — так ты будешь ходить в оранжерею?

— Да, да, приду, когда надумаю. А сейчас я не скажу более ни слова, ни единого разумного слова.

Возвращаясь домой в трамвае, дядя думал главным образом не об этом, несомненно очень важном и не совсем понятном, разговоре, а о

самом Юсефсоне и о своем луге. Образ луга подступал к нему ближе, — луга, который он защитил.

«Я расскажу ему когда-нибудь про луг», — решил он.

\* \* \*

За год до того, как дядя встретил Юсефсона, родственники сняли на лето дачу на прибрежной шхере. Берега шхеры были довольно крутые, дяде подниматься было бы очень трудно, и родственники обсуждали, что лучше: взять его с собой или оставить дома. Дядя был вовсе не такой уж и глухой, каким прикидывался, и подслушан почти все их разговоры. Под конец он решил разложить пасьянс, что делал, когда нужно было принять важное и трудное решение. Если пасьянс получится, он останется, если нет — поедет. Вообще-то этот пасьянс у него почти никогда не получался.

Шхеру с востока на запад разрезало ущелье. Рыбак, сдававший шхеру внаем, построил через нее мост из бревен, чтобы по пути от пристани к дому не надо было снова спускаться на берег. Мост был довольно хилый, но все же он экономил уйму времени.

Когда дядя в первый раз ступил на островок, то замер как вкопанный. Его спутники решили, что он боится идти по мосту, но они ошибались. Он увидел прибрежный луг во всем великолепии пышного короткого июльского цветения, пестрые цветы и травы колыхались легко и воздушно. Дядя понял, что ничья нога не ступала по нему, он был нетронут и свеж, как первое утро рая! Этот луг показался ему еще прекраснее оранжереи. Он решил, что никто не будет ходить по нему, им можно только любоваться.

Каждое утро на восходе солнца дядя сползал вниз со склона и усаживался возле своего луга. Красивее всего луг был, когда солнце выкатывалось над горизонтом, тогда все краски загорались и сияли каким-то неземным светом, но это длилось лишь краткий миг. Под нежным июльским ветром цветочный ковер колыхался, словно в танце. Что это было за зрелище! Любовь дяди к оранжерее была неизменной, но постоянно меняющееся всегда прекраснее статичного, а луг был поистине живой. Иногда дядю охватывало то же самое опасное желание, что и в оранжерее: по праву восхищающегося войти

и почувствовать, как луг обступает тебя со всех сторон, желание обнимать его. Но дядя этого не делал.

А в один прекрасный день родственники раздобыли переносную сауну. Разумеется, при каждом, даже самом маленьком финском доме должна быть сауна. Переносной сауне нужна ровная площадка, а найти ее здесь можно было только на дядином лугу.

Наступили трудные дни с долгими спорами и мрачными паузами. Но, как часто бывает в семьях, все нашли компромисс: баню решено было поставить под мостом, в укромном месте, где она не особенно помешает лугу.

Когда они поставили под мостом свою баню, дядя пошел поглядеть на нее. Это было квадратное чудище с жестяной трубой, неуклюжее инородное тело. Дядя подошел ближе и открыл дверь. Внутри царил полумрак. Деревянные скамьи из широких досок, печь из черных камней, железный котел, ушат для воды и штормовой фонарь. Подходящее место для уединения. Дядя уселся на нижнюю скамью. Теперь его луг являл собой картину в обрамлении дверного проема, очень светлую картину на фоне полумрака сауны. Ему показалось, будто он сам нарисовал эту картину.

Никто не удивился, когда дядя заявил, что будет спать в бане. Они оборудовали там для него спальню, принесли все, что могло бы ему понадобиться. Слыша, как они топают по мосту, дядя вспомнил, как случайные посетители оранжереи поднимались по винтовой лестнице, проходили по галерейке, спускались вниз и уходили.

Было приятно жить под мостом между мощными бревенчатыми опорами. Бревна все еще пахли дегтем, из них торчали старые гвозди, и никто не удосужился вытащить их. Дядя повесил на гвозди шляпу, трость, полотенце и еще кое-что. Это напоминало ему шалаш, в котором он играл ребенком.

Однажды ночью в конце июля поднялся шторм, вода, хлынув в ущелье, затопила луг и потихоньку добралась до дядиной сауны. Он проснулся оттого, что матрац его промок, и не мог понять, где находится. Брезентовые стены сауны трепетали и хлопали, было тепло и влажно, как в оранжерее. В бассейне с кувшинками поднялся шторм... По воде плавала масса каких-то предметов. Дядя отогнал их в сторону и вышел, шлепая по воде, в мокрую ночь. Снаружи было светлее, он мог различить стеклянный купол над темными волнами,



бегущими по ущелью. Купол был намного выше обычного, ему просто-напросто не было конца, а винтовая лестница исчезла. Дядя снял трость с гвоздя и замер неподвижно, слушая ветер. Потом он пошел по лугу, колыхавшемуся и льнувшему к нему, наконец-то ему было позволено обнять луг, войти в пруд с лотосами, ощутить под босыми ногами влажную мягкую землю, почувствовать нежное прикосновение кувшинок, понять, как борются невинные цветы с внезапно хлынувшим на них морем... И ни каких посетителей, он один владел этой красотой. Покой и никаких волнений.

Постепенно дядя добрался до дома и уснул. Он не увидел, как палаточная сауна уплыла на рассвете, упорхнула прочь, словно трепещущая летучая мышь, не увидел, как сильные ноги моста не устояли, накренились и треснули, как волны швыряли обломки, как разъяренное море унесло их прочь.

Когда снесло последнюю опору моста, ущелье превратилось в темный бушующий поток.

Несколько бревен застряло в расселине на другой стороне шхеры, где их разбило в щепки, остальная часть моста поплыла в море; должно быть, ее прибило к какому-нибудь берегу, где ее отыскали и употребили на сваи или на сооружение лодочной пристани — все нашло то или иное применение.

Родственники оплатили постройку нового моста через ущелье, но дядя новый мост категорически не одобрил. Это был не настоящий мост, он походил на железнодорожный виадук, покрытые лаком мостки для стирки белья. Старый мост был седой от солнца и соленой воды, одного цвета с камнями, он вписывался в пейзаж и составлял одно целое со шхерой. Но дядя не сказал ничего, ведь все остальные так гордились новым мостом.

Луг не мог оправиться после страшной штормовой ночи, но дядя знал, что к следующему июлю он будет таким же прекрасным, как прежде. И они вместе боролись с морем.

Однажды дядя обнаружил, что приготовленные для печки дрова — серые и утыканные гвоздями, он узнал в них обломки бревен старого моста. Он взял подходящие поленья, подобрал нужный инструмент и медленно, старательно стал делать точную копию старого моста.

Когда дядя снова пришел в оранжерею, Юсефсон отложил книгу и сказал:

— А, это ты, Вестерберг, старый гедонист, хорошо, что ты вернулся. Как видишь, я продолжаю искать хоть какую-нибудь логику, которую можно употребить с пользой. Однако, как и прежде, ничего найти не могу.

Он подвинулся, освобождая место для дяди, и продолжал читать. Дядя уселся в свой уголок, слева; приятно было вернуться домой. Он захватил с собой модель моста, но не решался показать его Юсефсону. «Может, стоит подождать, не рассказывать ему сейчас про луг и шторм», — думал он. Дядя сидел и смотрел на прекрасный пруд с кувшинками, который, как ему казалось, выглядел теперь иначе. Он закрыл глаза и попробовал взглядеться куда-то вдаль; и снова очутился в объятиях темного противостояния воды и мягких колышущихся луговых трав.

Они оба продолжали приходить в оранжерею, хотя и не так часто, как прежде. Смотритель, карауливший за пушистым кустом с вязанием, ушел на пенсию. Новый, незнакомый им смотритель сидел за столом у ворот. Время от времени он ходил вокруг пруда с кувшинками, заложив руки за спину, топая безо всякого уважения мимо их скамейки.

Юсефсона вполне устраивало сидеть молча, лишь изредка обмениваясь словом с приятелем, вытягивать ноги, время от времени комментировать какую-нибудь строчку в книге. Каждый раз молчаливые паузы становились все длиннее, что причиняло дяде беспокойство и досаду, каждый день он приносил с собой модель моста, но показать его и рассказать про ночной шторм становилось все труднее. Ночь, когда он обнимал луг, все больше отдалялась от него, и Юсефсон ничем не мог ему помочь.

А однажды, когда они, как обычно, сидели в оранжерее, над городом разразилась сильная гроза. Дневной свет померк, по стеклянному куполу забарабанил дождь; сверкала молния, гремел гром, а Юсефсон держал книгу близко к носу, с трудом различая буквы. Сильный порыв ветра распахнул двери оранжереи, стекла

задрезжали, а по пруду с кувшинками заходили волны, хоть и маленькие, но все же волны. Дядя поднялся, пошел прямо к бассейну и вошел в него. Он побрел по воде, расталкивая листья и цветы, нимало не смущаясь. Потом он вдруг обернулся и крикнул:

— Юсефсон! Видишь, что я делаю?

— Прекрасно, — ответил Юсефсон и отложил книгу. — Продолжай в том же духе. Это весьма взбадривает.

Потом они сидели на скамье до самого закрытия, непогода утихла, и зритель успокоился. Дядя рассказал про луг, и рассказ удался превосходно. Юсефсон умел слушать лучше, чем можно было от него ожидать. Дядя показал ему модель моста. Юсефсон взглянул на нее и сказал:

— Да, да, я понимаю идею луга. Созерцать, восхищаться, ощущать и тому подобное. И идею моста. Построить мост, который никуда не ведет.

— Никакой идеи здесь нет, — сердито ответил дядя. — Мост — он и есть мост. Ты опять пытаешься вложить какой-то особый смысл в самую очевидную вещь. Вовсе не важно, где он начинается и куда ведет, по нему ходят, и в этом все дело.

Зритель подошел и спросил дядю, не пора ли ему идти домой, если он не хочет простудиться.

— Мы беседуем, — ответил дядя. — Скажи, Юсефсон, ты пришел к какому-нибудь выводу, нашел что-то важное в этих книгах?

— Кое-что нашел, — ответил Юсефсон и улыбнулся. — На это нужно время, но это я знал с самого начала. Похоже, мы не сможем убедить друг друга. Но нужно ли это, собственно говоря?

— Нет, — ответил дядя. — Хочется лишь, чтобы кто-то знал что-либо и понял это.

— Могу себе представить, — изрек Юсефсон. — Мне понравилось то, что ты рассказал про луг.

— Да, — согласился дядя, — мне кажется, я описал это довольно красочно.

Они поднялись одновременно и вышли, распахнув ветру двери оранжереи. Коротко распрощавшись, они отправились каждый к себе домой.

---

**comments**

# Комментарии

**1**

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде



**4**

Перевод Л. Брауде

Перевод Н. Беляковой

Перевод Н. Беляковой

Перевод Н. Беляковой

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде



Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде



Перевод Л. Горлиной

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Горлиной

Перевод Л. Горлиной

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Горлиной

Перевод Л. Горлиной



Перевод Л. Горлиной

Перевод Н. Беляковой

Перевод Л. Брауде

Перевод Н. Беляковой

Перевод Л. Брауде

Перевод Н. Беляковой

Перевод Н. Беляковой

Перевод Л. Брауде



Перевод Н. Беляковой

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

Перевод Л. Брауде

**42**

Перевод Н. Беляковой

---

**notes**

# Примечания



# 1

Финляндия, как уже говорилось, — страна с двумя государственными языками — финским и шведским. Поэтому писателей, которые создают свои книги на шведском языке, неправильно называть финскими. Они — писатели Финляндии, финляндские.

Книжка-картинки Янссон.

Книжка-картинки Янссон.

Книжка-картинки Янссон.

В издательстве «Амфора» также готовится к публикации книга «Честная игра», в которую войдут сборники «Честная игра» (1989), «Письма Клары» (1991) и «Послания» (1998).

Слова из романтической поэмы замечательного шведского поэта Эсайаса Тегнера (1782–1846) «Сага о Фритьофе» (1819–1825, опубл. 1841) (пер. со швед. Я. Грота). — Здесь и далее примечания переводчиков.

Восковник, мирт болотный (бот.) — вечнозеленый кустарник с красивыми белыми душистыми цветами.

Фрёкен (швед.) — барышня, мадемуазель.



9

Венера Прекраснозая (греч.).

**10**

Прекраснейшая (итал.).

# 11

Имеется в виду наказание в старое время, когда осужденного прогоняли сквозь строй, подвергая его ударам палок по спине.

Особая комната в шведских домах (помимо гостиной).

Если угодно (англ.).

**14**

Очень хорошо (англ.).

Пожалуйста (англ.). Здесь: «Не выпьете ли еще?»

Дикий (англ.).



Видите! Японский! (англ.)

Возможно, аллюзия на библейский рассказ о царе вавилонском Навуходоносоре, видевшем во сне громадного металлического истукана на глиняных ногах — символ своего царства, коему суждено разрушиться.

Вероятно, речь идет о Мировой горе, которая выступает как наиболее распространенный вариант трансформации мирового дерева.

**20**

Грипп.

Волокуша — буксир, род рыболовной сети.

Фалинь (голл.) — канат, которым привязывается судно к пристани или шлюпка к кораблю.

Кошка — небольшой якорь с двумя или тремя лапами.

Вага (нем.) — длинный шест, рычаг для поднятия тяжестей.



Ciao — привет, пока (итоги).

Херес, крепкое испанское вино (англ.).

Деревянная инкрустация.

Пентти Эйстола вместе с Туве Янссон и ее подругой Тууликке Пиетилэ принимал участие в создании модели Дома муми-троллей, которая хранится в музее Т. Янссон в Тампере.

Город и порт на севере Марокко.

**30**

Название кинотеатра в Хельсингфорсе.

Американская фирма, производящая ручные  
электроинструменты.

Площадь Согласия (в Париже) (франц.).



Город на западе штата Аляска, на полуострове Сьюард у входа в Берингов пролив. Самый западный населенный пункт в континентальной части США.

Лицо (лат.).

То же что берлинская лазурь — краска светло-синего цвета.

Уильям Тернер (1775–1851) — английский живописец и график. Его романтические, смелые по колористичности и свето-воздушным исканиям пейзажи отличаются красочной фантасмагорией и пристрастием к необычным эффектам. Здесь имеется в виду «Дождь, пар и скорость» (1844).

Город в Лапландии, на берегу реки Кеми.

Остров (англ.).

Вот это да! (англ.)

Раковина Южных морей (англ.).



Рисунки с продолжением, комиксы. Блуб-бю — герой комиксов, завоевавший популярность, какой долгие годы пользовался Мумитроль.

В переводе с греч. «климакс» дословно означает «лестница».

Убрать (англ.).

Небрежно (франц.).

Вероятно, имеется в виду Французская Ривьера (Лазурный берег), побережье Средиземного моря на юго-востоке Франции, у южных подножий Приморских Альп (курорты — Ницца, Канн).

Белая дама (англ.).

Важная старая дама (англ.).

Никогда (англ.).



«Ирландский кофе» (англ.) — напиток из смеси ирландского виски и кофе с сахаром и сливками.

Шутки ради (англ.).

Здесь: полюбуйтесь! (англ.)

Теперь займемся джином! (англ.)

Цветок (швед.).

Птичья песнь (швед.).

Туути (уменьшительное имя) — многолетняя подруга Туве Янссон Тууликке Ида Хельми Пиетилэ (род. 1917), известная художница, график. С Туве Янссон и Пентти Эйстола участвовала в создании модели Дома муми-троллей, которая хранится в музее Т. Янссон в Тампере. Она также автор иллюстраций (тушью и акватинтами — смытой краской) к последней книге Янссон «Заметки с острова» (1996). Вместе с братом Туве Янссон Пером Улофом Янссоном выпустила книгу воспоминаний друзей писательницы «Путешествие с Туве» (2002). Туути — прототип Туу-тикки в сказочных повестях Т. Янссон о муми-троллях.

Поэт эпохи Тан, один из «десяти гениев» периода правления императора Дайцуна (766–779).



Большая церковь (швед.).

Колодезный парк (швед.).

Извините (англ.).

Могу я помочь вам? (англ.)

**61**

Укороченный плащ шинельного покроя (англ.).

Вечерний блюз (англ.).

Героиня известной одноименной сказки финляндского писателя Сакариаса Топелиуса (1818–1898).

Со сливочным маслом (ит.).



Пармезан — сорт сыра (ит.).

В Финляндии и странах Скандинавии принято выделять часть жилой комнаты, столовой или гостиной под такой угол или нишу, где размещено кухонное оборудование.

«Черное и белое» — название виски (англ).

«Свободная Куба» — название коктейля (исп.).

За вас (АНГЛ.).

Внутренний дворик (исп.).

«Я знаю край, где цветут лимоны...» (нем.) — первая строка из стихотворения И.-В. Гёте. Имеется в виду Италия.

Накидка, горжетка (англ.). Здесь: палантин.



Приемы (англ.).

Эрл Стенли Гарднер (1889–1970) — американский мастер детектива, автор огромного количества романов (в 1933 году положил начало сериалу из 72 книг), переведенных на 37 языков мира. В 1988 году его имя вошло в Книгу рекордов Гиннеса.

Здесь: вышла из игры (англ.).

Полуденный отдых, послеобеденный сон (исп.).

Раннее направление джаза в Америке, берущее начало в Новом Орлеане.

Великий испанский художник Родригес де Сильва Веласкес (1599–1660) неоднократно запечатлел инфанту Маргариту на своих полотнах.

Это опасно! (исп.)

Только не в воскресенье (англ.).



Луговая трава с зеленоватыми цветами — манжетка.

Барашек с горошком (исп.).

Жареные креветки (исп.).

Морские ежи (исп.).

«Привилегия короля» (исп.).

Зеленый салат (исп.).

Лук и свекла (исп.).

Кофейный крем «Долорес», пирожные «Инфанта», бананы по-канарски, десерт «Холодная любовь» (исп.).



Покупки, хождение по магазинам (англ.).

Эти книги принадлежат перу популярного американского писателя Эдгара Райса Берроуза (1875–1950) — автора 23 романов о Тарзане. Одна из любимых книг Т. Янссон, которой она посвятила специальную статью. Образ Тарзана использован писательницей в произведениях о муми-троллях.

Город в Южной Франции.

Бизнес прежде всего (англ.).

Директор учебных заведений, в том числе школ и гимназий, в Швеции.

Великий старик (англ.).